

Точка повести рассказы опоры



Точка
повести
рассказы
опоры



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
МОЛОДЫХ ЛЕНИНГРАДСКИХ
ПРОЗАИКОВ

В Ы П У С К В Т О Р О Й

Точка
о**п**оры

Л Е Н И З Д А Т 1 9 7 3

В 1971 г. на страницах сборника «Точка опоры» читатели познакомились с творчеством группы молодых ленинградских прозаиков.

Издательство решило продолжить начатое дело. Авторами второго выпуска «Точки опоры» выступает еще одна группа начинающих прозаиков.

В. Круговов, Н. Кузьмин, М. Чулаки, А. Конгро, Н. Шумаков и другие пишут о жизни и труде рабочих, изыскателей, ученых, моряков, спортсменов.

Молодых писателей привлекают сильные характеры, острые, конфликтные ситуации.

СТАРШИЙ МАСТЕР

Повесть

...И тогда шутники отлили из бетона постамент, а в понедельник наблюдали, как мастер шагал к любимой точке в центре двора. Не сбавляя хода и не раздумывая, он шагнул на постамент и вложил руки в карманы куртки.

Шутники сделали вид, что ничего не произошло, а те, кто был посерьезнее, улыбались. Мастер привычно расставил бригады по объектам, выслушал заказы на инструмент и материалы, напомнил о сроках.

Потом его повысили в должности. Он стал старшим мастером. Но, как раньше, в любую погоду он вставал на постамент, назначал бригадам сроки работ, объявлял выговора и благодарности, смело признавался в своих ошибках. Он не болел, не уезжал в командировки, не опаздывал на работу, не пропадал на конференциях. И вдруг не вышел на утренний развод...

Он, Игорь Осинин, в то утро развесил по стенам подрамники и сел перед ними в кресло начальника цеха. На подрамниках — фасады, разрезы, планы производственного корпуса, который он предложил построить..

Услышав шаги, он пригладил указательным пальцем брови, встал и с улыбкой встретил начальника цеха.

Базанов снял пальто из тяжелого драпа, стряхнул с полей шляпы снег. Неторопливо сел и, заметив проект на стенах, закурил. Понял, что должен говорить, и сказал:

— О белом халате мечтаешь?

Бас раздвинул стены, оглушил Игоря. Он взглянул на проект. Показалось, что подрамники стали меньше, а краски на небе и фасадах выгорели. Он положил на стол Базанова пояснительную записку и попросил прочесть ее.

— Не за свое дело взялся, — отодвинув записку, произнес Базанов.

— Я же закончил архитектурно-строительный техникум, — напомнил Игорь. — Предлагаю построить корпус на фундаменте старинного ангара, разрушенного во время войны. Мы постелем на его мощный фундамент бетонную подушку и возведем каркас...

Череп Базанова, с удлинненным затылком, покрылся багровыми пятнами.

— Природа тратит тысячи ягод, чтобы взошел один куст! Если каждая идея станет воплощаться, в мире воцарится хаос. У тебя появился творческий зуд, а мы должны финансировать его?

— Вы же финансируете пристройки и надстройки. Мы распыляем средства на них, портим генеральный план и архитектуру завода.

— Прямая обязанность ремонтно-строительного цеха — штопать и латать. Строительство новых корпусов — дело строительных трестов.

— Корпус обойдется дешево. Фундамент есть. Осталось возвести бетонный каркас. Завод получит около четырех тысяч квадратных метров. Я берусь построить. В конце концов мы отвечаем за облик завода...

Заметив, что Базанов не слушает, Игорь умолк. «Неужели я не прав?» — подумал он и отправился к начальнику конструкторского бюро.

Яков Стефанович умел смущать вниманием. Он встретил Игоря так, будто к нему вошел министр. Яков Стефанович встал из-за стола, усадил гостя в кресло, посочувствовал:

— Отдохни. Не сладко день-деньской бегать по заводу.

Игорь сидел обласканный вниманием, отвечал на вопросы, соглашался: «Действительно, лютая зима. В столовой был хороший борщ. Лиза? Лиза становится хорошим секретарем». — И никак не мог приступить к деловому разговору. Наконец прервал пустословие:

— Яков Стефанович, произошел конфуз.

Носик Якова Стефановича, выпирающий из пухлых щек, заострился. Игорь улыбнулся:

— Я спроектировал трехэтажный элегантный корпус и дарю проект заводу.

Яков Стефанович подумал и спросил:

— Дома, при лампе настольной творил?

Игорь кивнул.

— Девушки у тебя нет. Угадал? — Яков Стефанович оживился. — Не красней. Все были когда-то безгрешными. Понять тебя не трудно. Энергия требует выхода.

— Нужна ваша помощь. Помогите рассчитать конструкции и сделать смету.

— Помогу, — быстро согласился Яков Стефанович, — только позже. Обязательно помогу. Всегда любопытно, кто чем дышит. И проект посмотрю, только не сегодня. Дел текущих невпроворот. Не обижайся. Понимаю, хочешь, чтобы все бросил и занялся с тобой, но дела не отпускают. — Он развел руками.

— Я подожду, — сказал Игорь.

Шли дни. Игорь, бегая с объекта на объект, готовился к спорам, находил все новые и новые доказательства своей правоты, но вот беда — с ним никто не спорил и доказательств не требовал. Проект висел на стенах и покрывался пылью. Завод выполнял напряженный план по ремонту кораблей. Если бы корпус вырос вдруг, без хлопот, в нем установили бы оборудование, заселили рабочими и поставили на баланс. Но «вдруг» ничего не делается.

Игорь умел проектировать, за год работы научился строить, поверил в свои силы и постепенно пришел к убеждению, что ремонтно-строительный цех должен создавать стилевое единство интерьеров и экстерьеров завода. Каким будет стиль, он не представлял отчетливо, но знал, что в корпусе будет его начало.

После пятого напоминания Яков Стефанович познакомился с проектом и одобрил его.

— Мне нравится. Хорошо начертил. И фасад оригинальный. А? Хочешь, поговорю с архитектором? Он возьмет тебя в свою мастерскую. Любишь это дело?

Игорь кивнул и сказал:

— Не хочу в мастерскую. В нашем деле самое идеальное проектировать и строить самому.

— Не место тебе здесь. Талант распылишь. Уходи-ка лучше. — Заметив уныние на лице Игоря, Яков Стефанович произнес задумчиво: — Правильная идея — на фундаменте ангара строить. И каркас несложно рассчитать. Только мощности в вашем цехе маловато.

— Пригласим строительное училище на практику. Я веду переговоры.

— Быстрый ты, нетерпеливый. Ну, ладно. Понесли твой проект ко мне! — решительно произнес Яков Стефанович и снял подрамники.

В конструкторском бюро он поставил подрамники лицом к стене и пообещал выкроить время на расчеты.

Главный механик Вагов Аким Иванович пришел к Базанову. Сел. Базанов приготовился слушать. Начальство просто не приходит.

— Темно у вас, — сказал Вагов.

— Полуподвал. О ремонте некогда подумать, — ответил Базанов.

Вагов оттянул пальцем белоснежный ворот рубашки. Лениво спросил:

— Как дела?

Базанов пожал плечами. Два часа назад он о делах докладывал на совещании.

— А этот где? — Вагов кивнул на стол старшего мастера.

— В отделе снабжения. Алебастр не везут.

— Не нравится он мне, плохо стал работать. Азарт пропал.

— Зарабатывает хорошо, а деньги отвлекают. Да и время такое, — размах строительства, — Базанов закурил. — Неинтересно ему у нас. Вот посмотрите, убежит.

— Работал неплохо. Старшим назначили.

— После армии надо было одеться и оглядеться. Да и энергия была...

— А сейчас нет?

Казалось, Вагов был больше недоволен воротом рубахи, чем старшим мастером. Он то поднимал подбородок, то водил им из стороны в сторону. «Сом при галстук», — подумал Базанов о шефе, и сравнение это понравилось ему. Он знал: Вагов не любит раскрываться. И вопросы задает не без причины.

— Кто мы? Шестнадцатая рота. Поднять, бросить, сломать, построить. Средний возраст в нашем цехе срок восемь лет, — доложил Базанов.

— Кровлю починили?

Вагов встал. Базанов понял, что разговор окончен. Два часа назад он докладывал о кровле.

У растворного узла Вагов остановился. Спросил Сироткина:

— Кому раствор?

— Д-должны взять на фундамент под станок и не б-берут, — ответил Сироткин.

— Почему?

— С-субординацию нарушаешь, — рассмеялся Сироткин и демонстративно снял задубевший от цементной пыли брезентовый фартук. Бросил его на сундук и облокотился на длинный черенок лопаты. — С-старшего мастера Осинина спроси.

Вагов повернулся к шагающему Якову Стефановичу и спросил без улыбки:

— Куда, доктор, направился?

Тот с наигранным раздражением согласился, показывая толстую папку:

— Именно доктор. Больные вокруг. Вирус размаха. Иному начальнику цеха даешь сорок квадратных метров дополнительной площади, а он требует сто двадцать.

— А ты дай, если просят.

— Откуда я возьму эти квадратные метры! Что вы, Аким Иванович...

Вагов не слушал. Он смотрел, как порталный кран несет пучок труб.

Сироткин поставил лопату к стойке навеса и занялся чисткой растворного ящика.

— Как дела? — перебил Вагов Якова Стефановича.

Тот понял, что надоел жалобами. Стал рассказывать о даче, которую снял.

— Дача в Мельничных Ручьях. До озера не больше километра...

— Осинина пора гнать, — снова перебил Вагов.

«У начальства информация, у подчиненного интуиция, — подумал Яков Стефанович и решил не высказы-

вать своего мнения. Осинин молод. Не понимает, что на работе важнее знать технику безопасности, чем дело. Защиमित, если затронешь кого не следует. В спорах всегда кто-то не прав. А он любит спорить. Не понял, что работа прежде всего обеспечение жизненного уровня. Не мы подбираем себе друг друга, а отдел кадров. Климат в отношениях дороже старательности». — Мгновенно припомнив факты поведения Осинина, Яков Стефанович поздравил себя. Он давно предсказал, что Осинин не удержится. Обреченных не спасти. Удивляет другое: как Вагов ошибся? Считал толковым парнем.

— Пора или не пора гнать? — Вагов посмотрел на Якова Стефановича в упор.

— Любим хвалить и хаять. А человек-то посередине. Парню двадцать три. В таком возрасте любовь на первом месте, а работа на втором. Женится — все перевернется.

Вагов остановил бригадира плотников Ярцева. Спросил, чем заняты.

— Делаем опалубку под зуборезные станки, — ответил Ярцев. — Три человека валят перегородку в конторе третьего цеха.

Когда Ярцев отошел, Вагов сказал Якову Стефановичу:

— Крутишься, как на шампуре.

«В производственном коллективе люди сцеплены друг с другом, как шестеренки в часовом механизме. При замене одной неизвестно, как будет работать остальные. Особенно ближним». — Яков Стефанович прикинул уход Осинина так и сяк. С одной стороны, было удобно. Осинин не требовал детальных чертежей. Строительные конструкции знал хорошо и даже пытался придать пристройкам архитектурный облик. Если придет перестраховщик, потребует детальные чертежи. Станет некогда вздохнуть и подхалтурить.

Узнав, что Осинин поднялся на чердак, Яков Стефанович пошел туда. С чердака направился к пристройке. Из пристройки в контору. Но и в конторе Игоря не оказалось. Базанов читал «Войну и мир».

«Чего я хлопочу? — неожиданно подумал Яков Стефанович. — Не меня гонят? Парню хочется показать себя, фантазирует. Для него к лучшему, если выгонят. Устроится в проектный институт. А здесь, в ремонтно-строительном, останутся те, кто любит работать тихо, спокойно». Такой вывод утешил. В стройной системе взглядов на жизнь выходило, что каждый человек достоин того коллектива, в котором работает. Кто уважает тишину, тот ее находит, кто хочет драки — идет к драчунам.

Осинину хотелось спать. Лица, добрые и злые, умные и глупые, веселые и жесткие, энергичные и вялые, смотрели на него и ждали указаний. Сироткин с Паклиным спорили о замесе. Сверху обрушивались снежные пряди.

Плавучие краны торчали, как гребни расчески с обломанными зубьями. Хлопали по щекам клапаны шапок-ушанок. Все было заморожено, кроме губ и глаз.

Осинин привычно вел утренний инструктаж. Напоминал правила техники безопасности. Трапы оледенели. Это не мешало ему думать о своем. Сонливость выдуло метелью. Кто-то смеялся унесенной ветром шутке. Ярцев, как всегда, не сводил насмешливых глаз, чуть склонив голову в сторону. «Догадался, что хочу бежать? Прямолинейно. Оптимисты имеют право на уныние, как унылые на оптимизм. Шутка продолжается. Я еще не сошел с постамента. Маховые кисти будут на той неделе. Краски тоже».

С палубы корабля пролился огненный ручей расплавленного металла от электросварок. Оборудование

в корпусах включилось, и к вою метели добавился глухой гул моторов. Бригады, получив задание, ушли.

Поднимаясь на третий этаж к Якову Стефановичу, Игорь возмущался: «Женщины не умеют жить без чувств. В любое дело прежде всего замешивают не разум, а чувства. Стоит обратиться к ним с просьбой, как начинаются отношения». Дело в том, что Лиза, секретарь Вагова, напечатав ориентировочную смету корпуса, которую Игорь составил сам, выдала свои чувства. Она так восторженно смотрела на него, что он почувствовал себя неловко и чем-то обязанным. «Влюбленные навязчивы. Делать их помощниками опасно. Решено: это была последняя просьба к ней». Он вошел в конструкторское бюро и поздоровался с Владимиром.

— А где Яков Стефанович?

— На совещании.

— Тепло у вас. Не дует?

— Почему должно дуть? Окна оклеены.

— Ну, мало ли. Иногда с потолка дует или из стены.

Владимир положил карандаш на стол. Посмотрел на Осинина.

Игорь улыбнулся, вспомнив слова Базанова: «Владимира институт законсервировал в такую банку, что ни один нож не вскрыет». Спросил:

— До моего проекта, конечно, руки не дошли?

— Вы думаете, нам нечего делать?

— Хотелось бы знать, чем вы заняты? Лоскуты пришиваете к голому телу суровыми нитками. Было бы гуманнее приклеивать.

Владимир усмехнулся. Поправил модный галстук.

— Вот смету без вашей помощи состряпал. — Игорь помахал листами. — Без вашей помощи конструкцию придется обсчитывать. А когда корпус построим, вы к кассе пойдете, за премией. Жизнь — любопытное явление. Согласны?

— Я мыслю несколько иначе.

— Послушайте, Владимир, а не сообразить ли нам конструкцию на двоих?

— У меня есть шеф.

— У меня тоже. Однако я сделал проект. Можете считать меня человеком с инициативой. А как у вас на счет нее?

Владимир усмехнулся, взял импортную сигарету, плавно поднес к ней пламя газовой зажигалки. Пустил струю дыма и ответил:

— Дело в том, что после работы мой мозг занят другим.

— Но вы же специалист. Конструктор!

— А разве специалист и личность тождественны?

— Должны! Поработаем недельку, и вы обогатитесь еще на один импортный галстук. Правда, гарантии не даю, из личных сбережений не плачу. Их нет.

Предчувствие бесплодных переговоров заставило Игоря говорить несерьезно. Но он надеялся.

— Деньги — это еще не все, — сказал Владимир.

— Все, уверяю вас.

— Значит, ради них стараетесь?

— Конечно. И вам советую.

— Благодарю за совет.

— У меня призвание тратить деньги.

— Интересно, на что вы их тратите?

Владимир внимательно, как оценщик в комиссионном магазине, осмотрел дешевенький, изрядно поношенный костюм Осинина.

— На корпуса трачу. Это в несколько раз больше, чем получаю.

— Обанкротитесь.

Игорь перестал ходить. Остановился перед Владимиром и серьезно спросил:

— Согласны сделать расчеты?

— Нет.

— Запомните дату. Двадцать восьмое января. Обведите ее черной рамкой.

Игорь взял подрамники. Быстро, почти бегом, отнес в свою контору и развесил их на стенах. Пусть смотрят все, кто придет. Пусть привыкают к мысли о корпусе.

Зазвонил телефон.

— Ты, Игорь? Это я, Яков Стефанович. Обиделся?

— Да.

— Напрасно. Зайди, поговорим.

Игорь зашел и стал слушать.

— Знаю, как не терпится автору. Но текучка! Тебе тоже нелегко. Снег, мороз, того и гляди возникнет пожар или несчастный случай подвернется...

Игорь слушал, не отрывая взгляда от лежащих крест-накрест волос на лысине Якова Стефановича. — Я много думал, — продолжал Яков Стефанович. — Ты автор, и тебе трудно быть объективным... Кстати, подметил: неженатый человек все новое несет на производство, а женатый — домой. — Он хохотнул. — Но это так, для разгона...

— Владимир тоже неженат, — заметил Игорь.

— Он увешан женщинами. Такой парень — мед для них. Когда-то я испытал это на себе, не в такой мере, конечно, как Володя... Но ближе к делу. — Яков Стефанович, будто салфеткой, стер игривое настроение. — Мой жизненный опыт подсказывает, что кроме больной головы мы с этим корпусом ничего не поймеем. Допустим, Вагов одобрит, а директор утвердит проект. Тебе спустят такой план, что сразу же станет ясно — старший мастер Осинин с окладом сто тридцать рублей и прогрессивками не умеет работать. Фронт работ! Хорошо звучит, но нет фронта без жертв. Рабочий сломал ногу, кто в ответе? А если погиб? Я говорю об этом, чтобы

ты не обижался на меня в будущем. Сегодня ты наладил работу, живешь более или менее спокойно. Я могу подхалтурить в рабочее время. Чем плохо? Зачем лезть в петлю?—Яков Стефанович искренне удивился. Нагнулся и, перевалившись грудью через кругленький живот, открыл ящик стола. Вытащил пару женских туфель. Поставил перед Игорем. Признался с обезоруживающей откровенностью: —Ремонтировал. Не брезгую. Мне выгоднее иметь частные заказы. С них не отчисляется двадцать пять процентов на алименты.

— Яков Стефанович, —Игорь откинулся на спинку кресла, улыбнулся. —У меня такое предчувствие, что корпус построим. Не вижу, как вы открутитесь от этого. Поверьте, корпусом пахнет.

Яков Стефанович погладил голову, не нарушая креста на лысине. Потянулся через стол к Игорю и бросил последний козырь:

— Структуры не видишь. Нас курирует проектный институт. Что он предложит, то и делать будем. А он предложит с документацией.

— Значит, мы — пустое место? Пристройки строим, а корпус на готовом фундаменте не решаемся. Хозяева мы или нет на своем заводе?

Игорь знал о существовании института. Он знал также, что институту не до мелких корпусов. Стране требуются новые заводы, и, пока их не построят, вряд ли институт займется реконструкцией старых.

— Почему пустое? Мы ремонтная служба, — спокойно ответил Яков Стефанович, раскачивая туфель.

Вагов нажал кнопку, вделанную в крышку стола, и сразу же вошла Лиза с папкой.

— Что там? — спросил он.

— Документы, — ответила Лиза.

— А что-нибудь интереснее не могла принести?

— А что я могу? — растерялась Лиза.

— Шоколадку или интересное письмо.

Вагов так многозначительно посмотрел в лицо Лизы, что она испугалась: не узнал ли раньше времени о смете, которую печатала Осинину. У Вагова необыкновенный нюх. Если он не знает, то догадывается.

— Что краснеешь?

Он заглянул в папку.

— Я могу идти? — спросила Лиза, смешно нахмутив светлые густые брови.

— Позови Якова Стефановича.

Вагов взял шариковую ручку и, быстро читая документ за документом, стал ставить округлые размашистые подписи.

Работа с бумагами отнимает у него каждый день не меньше двух часов. Около трех уходит на совещания, распоряжения, контроль за выполнением работ. Час, иногда больше, тратит на решение горячих вопросов. Остальное время он говорит по телефону, беседует с представителями подрядчиков, гостями, приехавшими обменяться опытом, сотрудниками. Но текучка, даже хорошо поставленная, есть текучка. За год, что Вагов проработал на заводе в должности главного механика, он успел навести порядок в административных и производственных службах, научил уважать план и сроки. Отвечая за исправность всех механизмов на заводе, состояние производственных и административных помещений, бесперебойное энергоснабжение, он знал, что не сможет обойтись без хороших помощников. И он нашел их. Ему нужен час свободного от текучки времени. Он был глубоко убежден: как ни совершенствуй административный и производственный аппарат, они неизбежно придут к разладу, если их не загрузить перспек-

тивной, требующей напряжения работой. Если уж его, Вагова, путь — административная работа, то он обязан показать свой стиль.

Последнее время он чего-то ждал. Опыт подсказывал, что после того, как налажено производство, начинают поступать предложения.

— Можно?

В кабинет вошел Яков Стефанович. Он здесь частый гость. Поэтому садится без приглашения. Закинув ногу на ногу, спокойненько ждет.

— Что нового? — спросил Вагов, работая с бумагами.

— Ничего.

Яков Стефанович, за долгую службу на производстве, усвоил крепко одно: чтобы не иметь неприятностей, порученное дело все же надо делать. И начальство и подчиненные связаны одной веревочкой. Разница только в окладах, а зависимость одна.

— Значит, ничего?

Вагов поднял голову, откинулся на спинку кресла.

— А что может быть?

— Чего-то тихо у нас, благополучно.

— За что боролись, к тому и пришли, — пожал плечами Яков Стефанович. — Помните, как вначале было, когда мы с вами на завод пришли. Шум, треск, крики, жалобы, вызовы на партком и выговоры. Конечно, вы перегнули, надо сказать, с Локшиным. Он дело знал, в что не умел организовать, так это грех распространенный.

— Весна в разгаре, — распахнув полы пиджака, сказал Вагов.

— Где же в разгаре? Февраль начинается.

— Я на квартал вперед живу.

— Понятно. А я с опережением на неделю. Планировку делаю для малярного цеха.

— Послушай, о каком проекте упоминал Базанов? Говорит, Осинин на стенах развесил. Рекламу создает.

— А, так вот о чем речь? Нарисовал, нарисовал. Не серьезно все это. Сами понимаете: что может предложить техник? Учиться надо парню. Я ему так и сказал. Человеку без высшего образования в наше время доверия нет. Высшее образование дает широту взглядов, мировоззрение...

— А ты принеси его картинки.

— Сюда? Зачем?

— Давай нагоняй. Конкретным делом надо заниматься.

Яков Стефанович попросил по телефону Володю принести подрамники с проектом и, удобно усевшись в кресло против Вагова, примирительно заметил:

— Парень старался. Не надо его ругать-то...

— А твой Володя что собой представляет?

— Ироничный специалист. Сами знаете, в институте их не готовят к прозе жизни.

Володя расставил подрамники на стулья и встал у дверей, тонко улыбаясь.

— А что ты скажешь? — спросил его Вагов.

— Скажу, что автор просил меня рассчитать конструкции и за это предлагал дружбу.

— А ты что?

— Не здесь рассуждать о дружбе.

— Иди, — коротко бросил Вагов.

Он долго, без видимого интереса изучал проект, усмехался наивным предложениям по внутренним планировкам. Осинин отдавал все три этажа ремонтно-строительной службе завода, когда у директора шел разговор о расширении трубогибочного участка.

— Вот и я ему говорил — не по зубам для нашей службы такой объем работ, — заявил из кресла Яков Стефанович. — Но инициативу одобрил.

Вагов вернулся к столу. Встал, положив кулаки на папку, в упор посмотрел на Якова Стефановича.

Полная нога Якова Стефановича в зеленой брючине соскользнула с другой ноги. Он поерзал в кресле и улыбнулся очень неуверенно.

Вагов заговорил миролюбиво, даже ласково:

— Мы знаем друг друга давно. Было время — работали. Мой тебе совет: поищи место. Я не гоню. В твоём распоряжении месяц, два, три, но постарайся уйти быстрее по собственному желанию.

— Ты что, Аким?

Яков Стефанович будто катапультировался со стула. Он был поражен. Вернее, сделал вид, что поражен. На самом деле в глубине сознания он оправдывал Вагова. Работы становилось больше. Вагову, если говорить спортивным языком, нужны игроки высокого класса. Он хочет доказать, что умеет работать.

Но ведь можно оставаться в запасных! Ради этого Яков Стефанович разыграл непонимание, возмущение, смирение. Намекнул, что мог бы не мешать, не путаться в ногах.

Вагов молчал.

Мать приготовила яичницу. Поставила сковородку перед Игорем, налила в пол-литровый фарфоровый бокал крепкого чаю. Она смирилась. Видно, сыновья пошли в отца. Работают ночью. Когда делал проект, обещал: «Кончу, заживем нормально». Теперь живописью занялся.

— Вот, посмотри, — сказал Игорь и протянул ей лист ватмана с рисунками и текстом. — Ночь потратил.

Она прочла:

«Однополчане! Точите зубы! «Европа» примет вас 23 февраля. Форма одежды — парадная.

Примечание:

1. Для евнухов будет спец. стол.
2. Встреча у ресторана «Европа» ровно в 19.30.
3. Приезжать только на такси.

Оргкомитет просит сдавать деньги до 10 февраля, 10 рублей без скидок на чин и пол».

— С кем же пойдешь? — спросила мать.

— Сяду за стол евнухов.

— Будешь так работать, останешься бобылем.

— Останусь! Мне дело надо делать!

— Отец тоже работал по шестнадцать часов, и это не мешало ему любить меня и иметь двух сыновей. Война надвигалась. Нашей армии были нужны топографические карты. Вот он и спешил. Работал ночами, а тебе можно жить спокойно.

— В мирное время тоже есть победители и побежденные. Нельзя медлить, трусить, чего-то не знать.

Он промыл кисти, закрыл тушь. Спать не хотелось. Он решил отвезти проект пригласительного билета Михаилу. Тот должен сфотографировать его и разослать по адресам.

— У тебя есть деньги? — спросила мать.

— Сколько угодно! — Он полез в карман пиджака и вытащил десять рублей. — Хватит? Еще где-то есть.

— Хватит! Хватит! Купила себе халат. Хочешь покажу?

Увидев, как у нее загорелись глаза, Игорь потребовал халат, осмотрел его, заставил надеть и включил приемник на полную громкость.

Мать демонстрировала обновку, смущаясь и оправдываясь.

— Всего девять тридцать стоит.

— При чем тут цена, мама?

— Как при чем? Я деньги коплю на свадьбу.

Он решил идти к Михаилу пешком, но, когда восемнадцатый номер трамвая, будто по заказу, подошел к остановке и распахнул двери, он вошел в вагон, сел у окна с процарапанными на толстом слое льда человечками и, утопив лицо в воротник пальто, закрыл глаза.

Трамвай громыхал на стыках рельсов, с треском распахивал двери, выпуская накопившееся тепло, скрипел колесами на поворотах и выл, набирая скорость. Неожиданно в шуме появилась какая-то мелодия. Игорь не удивился. Он часто слышал мелодии. Но пение становилось отчетливым и неуправляемым. Когда же раздался смех, он понял, что кто-то решил его развлечь, и плотнее закрыл глаза.

— Взгляни на меня! — попросил женский голос.

Он открыл глаза и увидел за длинным ворсом лисьего меха лукавые глаза.

— Почему не звонил?

Это была Ия! Он думал позвонить ей, но убедил себя, что за три года она успела позабыть его.

— А я жду не дождусь. У вас бывает вакуум и тогда, хотите вы этого или не хотите, но звоните. Женат?

— Холост, не привлекался...

— Прекрасно!

Она увидела, что восклицание не произвело на Игоря впечатления. Однако для нее самой оно было неожиданным и многозначительным. Она поняла, что три года ждала этой встречи. Без напряжения и душевных мук ждала. А все, что было и есть, считала временным и тусклым по сравнению с тем, что будет, когда встретятся.

Она решила брать быка за рога. Вытащила записную книжку, записала адрес Игоря и номер его рабочего телефона. Пообещала звонить и, решив, что для первой

встречи выдала своих чувств достаточно, попрощалась и вышла на незнакомой остановке. Увидев огромный дом с рядом толстых колонн и рустованными стенами, она вдруг поняла, что сбежала. Отметила: «Такое со мной случилось впервые».

— Может ли меня полюбить красивая женщина в шапке из лисьего меха? — спросил Игорь, как только Михаил открыл ему дверь. — Я не войду, пока не ответишь.

— Может. Проходи.

Они пошли по длинному коридору коммунальной квартиры. В конце синела заполненная чадом жареного мяса кухня. Михаил двигался чуть ли не спотыкаясь одним носком ноги о другой. В армии этот шаг доставлял много неприятностей. Ему постоянно напоминали: «Носки врозь!» Там, а может быть, раньше, у него выработалась привычка больше стоять, чем двигаться. Только чрезвычайные обстоятельства заставляли его демонстрировать косолапящую походку.

Михаил развернул лист, взглянул на рисунки и текст. Бросил рулон на стол.

Игорь улыбнулся. Теперь Михаил не сделает шага от стола. Он всегда хорошо стоял на посту.

— Значит, пришло? — спросил Михаил.

— Что? — Игорь сделал вид, что не понял.

— То самое. С ней пойдешь на встречу?

— Еще не знаю.

— Приведи. Если лицами похожи друг на друга, значит, сойдетесь. Это моя теория. Теперь о делах. Провисел свой корпус?

Михаил считал себя соавтором. И имел на это право. Он, как никто, интересовался процессом проектирования, спорил с Игорем о функции производственных

помещений, предлагал свои варианты фасадов, беспомощные и наивные, но его интерес помогал Игорю, вселял веру в то, что тратит личное время не впустую. Даже если и не будет построен корпус — а он будет построен! — все равно процесс проектирования научил Игоря многому.

— Корпус начинает пробивать себя сам.

— Как это? — не понял Михаил.

— Дело в том, что он нравится. Красивые фасады, красивые разрезы. Люди смотрят и думают: «А неплохо бы построить и работать в нем». Эти же люди, а они реалисты, будь спокоен, прикинули, раскинули мозгами и вдруг поняли то, что мы с тобой поняли давно, — корпус не фантазия, а реальность. Пригласили на работу вместо Якова Стефановича хорошего конструктора Брусничкина, и тот с радостью объявил, что расчеты — самые правильные, они доказывают — корпус можно строить выше трех этажей. Теперь у них спор не о том, строить или не строить, а о том, сколько этажей рациональнее строить. — Игорь улыбнулся. — Когда я настаиваю на трех, они смотрят на меня как на консервативно мыслящего служащего, но, кажется, согласны.

— Все идет по плану, — успокоился Михаил.

— А у тебя как? — спросил Игорь.

— Конвейер хорош тем, что не мешает думать. Собираешь приемники и думаешь о своем.

— О чем же?

— Два рацпредложения утвердили, готовлю третье. Но ты в моем деле не помощник.

— Брось. Я не корреспондент газеты «Смена». В институт готовишься, чтобы удрать с конвейера?

— Удрать можно и сейчас. Только если не попытаю на собственном опыте работу на конвейере, вряд ли смогу проектировать безлюдный. Дело в том, что мно-

гие операции могут и должны быть механизированы. Не только операции, но и сама сборка должна быть иной. Скоро приемники будут штамповать. Получишь монолит, а из него Осинин говорит. Делится опытом работ.

— Об этом рано мечтать даже.

— Странный ты человек, — возбуждаясь, сказал Михаил. — Прицел нужен. Переход будет постепенным. Главное — знать, к чему приближаешься. Почему у меня приняли рацпредложения? Да потому, что я ими начинаю первые шаги к переводу на безлюдный.

Игорь часто спрашивал себя: что заставляет людей изобретать, творить? И отвечал так: заставляет несоответствие того, что есть, тому, что должно быть. Но ведь нытиков, ощущающих несоответствие, гораздо больше, чем творцов? Дело в том, что творец овладевает приемами работы, и только после этого устраняет несоответствие. А нытик тратит усилия на нытье.

Они вспомнили армию. Поговорили об однополчаных. Все работают, кое-кто женился. Согласились, что пока все они похожи на спортсменов перед стартом.

Владимир стряхнул пепел в урну и сказал:

— А вчера без вас Вагов показывал директору проект.

— Ну и что?

— Этот факт доказывает, что к авторам у нас относятся пренебрежительно.

— У меня эти струны не звучат.

— Они звучат у всех. И у вас тоже. — Владимир ухмыльнулся.

— У меня другие звучат.

«Он думает, посыпал соль на рану. А рань! нет. Ку-старь-психолог...»

— Яков Стефанович просил передать привет, — сказал Владимир, стряхивая пепел в урну.

— Спасибо.

«Он изобрел свои правила поведения и желает, чтобы мы придерживались их. Якова Стефановича уволил корпус...»

— Ну, и что вам грезится в итоге? — спросил Владимир.

— Полная урна пепла.

«Наверно, он вообразил меня эдаким карьеристом, шагающим по костям...»

— Увиливаете?

— На очереди Брусничкин, — зловеще прошептал Игорь. — Хочу выжать из него сок. А вот и он.

Брусничкин шел по коридору в резиновых сапогах. Высокие голенища мешали сгибать ноги в коленях, и он шагал, будто на протезах. Игорь поздоровался и пошел рядом, тоже в резиновых сапогах и тоже не сгибая колен.

Они преодолели глубокий снег и подошли к разрушенному ангару. Сгребли снег со стены и замерили ее. Метр десять.

— Фундамент должен быть мощным, — сказал Игорь.

Брусничкин отгребал снег сапогом от цоколя.

— Сделай шурфы в четырех углах! — крикнул Игорю.

— Хорошо.

— Стены крепкие. Намучаешься, разбивая. Осколки от бомб отскакивали.

Игорь посмотрел в сторону залива. Линия горизонта слилась с небом. Казалось, залив изогнулся и повис над заводом козырьком.

— Рой шурфы. Мы должны знать глубину заложения точно.

Игорю нравилась решительность нового конструктора. Он не искал поводов к отступлению, и ему хотелось работать. Брусничкин взобрался по зазубренной стене на двухметровую высоту и оттуда стал смотреть на залив. Крикнул:

— Место хорошее. На самом подоконнике.

— О чем ты? — не понял Игорь.

— Об окне, что в Европу, — объяснил Брусничкин и рассмеялся.

В конце рабочего дня было совещание у Вагова. Он сказал коротко:

— корпус решено строить. Всем службам продумать свои вопросы. Осинину вырыть шурфы, Брусничкину уточнить расчеты на фундаментную плиту, сделать планировку первого этажа. Заявки на материалы для строительства жду завтра.

— Можно вопрос?

Вагов тяжело посмотрел на главного энергетика и кивнул.

— На какие материалы делать заявки, если не знаем, что будет. Сначала нужно увидеть планировку трех этажей. У меня все.

— Планировка будет позже. На первом этаже разместим трубогибочный цех. Что надо для него, ты должен знать.

— Хорошо, сегодня вечером погадаю на кофейной гуще.

— Гадай, — разрешил Вагов, — но без ошибок. Проектирование и внедрение проекта будет идти одновременно. Увидим, кто как знает свое дело. Вопросы есть?

— Есть. — Осинин встал. — Нашему цеху какие делать заявки?

— Умные. Разделим работу на три этапа: фундаментные работы, каркасные и отделочные. Ремонтно-строительный цех дает заявки на первый этап.

Вагоб говорил и смотрел на Осинина. Многие недоумевали, почему на такое ответственное совещание не вызван Базанов, начальник цеха.

Каменщики с трудом выдернули вмороженную в землю проволоку. Новенький экскаватор опустил ковш на утопанный снег и скребнул мерзлоту. Сироткин махнул рукой и, когда ковш поднялся вверх и отошел в сторону, стал долбить землю ломом. Нужна борозда, чтобы зубья смогли зацепиться.

То ломом, то ковшом ломается мерзлота.

Под ней парной материк из кембрийской глины. Но вдруг ковш зацепился за что-то, мотор напряженно загудел, задние домкраты приподнялись. В траншее раздался треск, и в отвал полетели пропитанные грунтовыми водами доски. Сироткин поднял щепку, попробовал ее сломать, но не смог. Сказал обступившим рабочим:

— От петровской канализации. Раньше канализацию делали из деревянных коробов. — Заглянув в траншею, он закричал: — Вода! — Быстро установил лестницу и полез вниз пощупать дно ногами, осмотреть кладку фундамента.

Бутовые камни были уложены четкими, с перевязкой рядами. Он счистил с них землю и посмотрел вверх. Над ним стоял Осинин.

— Умели строить, — Сироткин почему-то засмеялся.

— Позовите Брусничкина! — крикнул Осинин Ярецу, и тот быстро ушел.

К траншее подошла Лиза. Она наклонилась и восхищенно произнесла:

— Значит, будете строить, Игорь Александрович?

— Посмотрим, что получится.

— У вас обязательно получится!

Машина выехала на площадь Искусств за десять минут до назначенного срока. Таксер оглянулся.

— Как договорились, — сказал Игорь. — У ресторана должны быть ровно в половине восьмого. Делайте круги.

Водитель кивнул и стал гонять машину.

— Так закружится голова раньше времени, — сказала Ия, посмотрела назад и засмеялась. За ними пристроились три машины. За две минуты до финиша машины уже кружились по площади вереницей.

Игорь наблюдал за Ией и не мог отделаться от мысли, что рядом незнакомый человек.

Короткую улицу Бродского запрудили такси. Раздавались возгласы: «Привет!», «Как стоишь!», «Слушай мою команду!». Слабый ветер нес редкие, но крупные снежинки.

При входе в ресторан стояли члены оргкомитета. Они пожимали руки входящим, вручали эмблему артиллеристов — два скрещенных ствола и напоминали, чтобы ее приколоты к лацканам пиджаков.

Игорь усадил Ию за длинный стол и пошел потолкаться среди друзей. Он отвечал на вопросы, задавал их сам, не переставая удивляться, как отделились когда-то близкие товарищи. За год каждый успел обрасти своими заботами, и это накладывало отпечаток не только на лица, но и на жесты. За каждым ответом чувствовалась недосказанность. Оставалось радоваться встрече, обстановке и верить, что у всех дела идут как надо. Печатников улыбается до ушей, говорит о химии и старается убедить собеседников в своих способностях. Михаил, кокетливо склонив голову, слушает и понимающе улыбается. Сотников, бывший комсорг батареи, в заботах. Однополчане не только собрались, они должны интересно отдохнуть и как можно больше посмеяться. Для этого надо было продумать, кого с кем

посадить, за кем присмотреть и, если понадобится, вовремя отправить домой.

Ии за столом не оказалось. Игорь испугался. Не обиделась ли? Услышав громкий смех «евнухов», обернулся и увидел ее. Она что-то рассказывала, и ребята слушали ее, готовые рассмеяться.

Игорь сел, почувствовав от пустого кресла колодок. Сотников пытался произнести тост, но, видно, без взрывпакета ему не угомонить разговорившихся друзей. Тогда он сделал глубокий вдох и крикнул неестественно визгливым голосом. В образовавшуюся паузу успел бросить:

— Ура!

— Ура! — гаркнуло сорок шесть мужских глоток, и наступило относительное затишье. Застучали ножи и вилки.

Игорь не танцевал. Зато Ия не знала отдыха. Она была одна на всех «евнухов». Ее не смущала их лесть и не утомляли приглашения к танцу. Она поощряла к юмору робких и охлаждала иронией смелых. Танцевать она любила и многие фразы, что ей говорили, уже слышала раньше. Поэтому за словом в карман не лезла. Ответы были давно готовы.

Игорь, пересаживаясь с места на место, провозглашал тосты, слушал тосты друзей и пил. «В конце концов, — думал он, — я так мало знаю ее, что ничего не потеряю. Так и живи! Стбит перед ней выложить себя, как станешь зависимым».

К концу вечера он стал плохо различать границы предметов и лица. Но слух по-прежнему работал четко. Он слышал тосты, узнавал голоса, мелодии, которые проигрывал оркестр, звон бокалов. Когда Ия предложила идти домой, он услышал ее и покорился. В гардеробе ему помогли надеть пальто, нахлобучили папаху, которую он давно ненавидел...

...Они куда-то шли. Нет, не шли. Игорь парил, взяв Ию за руку. Ночной город был для него огромным, свернутым в трубу рупором. Ия не мешала. Наоборот, вдохновляла смехом. Он старался быть сам по себе, «Независимость — основа мужчины. Пусть поймет это раз и навсегда. У него, Игоря Александровича, есть дело. Оно не изменит. С ним можно говорить на равных, и чем больше его любишь, тем оно преданней...»

— Известно ли тебе!!! — воскликнул он.

— Кое-что, — ответила она, смеясь.

— Достаточно, — великодушно признал он.

Он понял, что не выразить словами охвативших его чувств. Раздвинув воображением дома, уйдя от них в пространство, он увидел торчащие из синего снега стволы зенитных орудий и ракет, домики, утонувшие по окна в сугробах, всполохи металлургического завода, леса, нагруженные снегом, а потому тихие, сосредоточенные; вспомнил заледеневшие железнодорожные платформы, грохот стыкующихся вагонов, фонари на высоких мачтах, освещающие стальные ветви рельсов; услышал музыку в маленьких клубах, узнал лица. И, конечно, ощутил тепло бань, в которых любил, моясь, громко распевать арии из опер под аккомпанемент тазиков. А после бань был лимонад с пряниками. Услышал песни, которые пели в строю.

Известно ли тебе, хотел спросить он, что мы здесь, а там все по-прежнему. Испытываешь ли ты волнение от соседства с этим необъятным пространством? Или озабочена мелким тщеславием? Стиснута квадратными метрами жилой и рабочей площади?

Ее плащ на меховой подкладке шуршал от соприкосновения с его пальто. Он взглянул на Ию. И сразу увидел ее глаза. Они все время мешали рассмотреть черты лица. Он только догадывался о рисунке ее носа, губ и подбородка.

Дом с пилястрами. Светятся окна. День Советской Армии постепенно становится праздником мужчин. Женщины чествуют их, дарят подарки и напоминают о приближающемся празднике 8 Марта.

— Ты хотел спросить, — догадалась Ия.

— Да, куда мы идем?

— Ко мне, — ответила она.

В прихожей он снял пальто и вошел в комнату.

— Только, чур, не признаваться в любви, — предупредила она, снимая сапожки.

— Тогда для чего я здесь?

Она рассмеялась.

Щелкнув по колпаку торшера, он сказал:

— Я не он, — заглянув в зеркало, — и не оно, — пощупал золоченую раму, — не она и не флаконы. Куда же встать и чем я буду?

Он вышел в центр комнаты. По сержантской привычке отметил чистоту помещения. Правда, в расстановке мебели была какая-то небрежность. Может быть, ей было трудно двигать мебель? Или он видит так потому, что немного пьян?

— Будем считать, что ты свет в окошке, — сказала она, ставя на стол чайник.

— Снова пить? — спросил он.

— Глоток чаю тебе не помешает.

Он не возражал. Тот, кто умеет подчиняться, умеет командовать. Он готов выполнить любой приказ! Торшер, как на картинах импрессионистов, ронял крупинки света на пол. Отлетевшие, они освещали Ию. Стройные ноги, широкие бедра и узкая талия. Каштановые волосы полощутся между лопаток. Темное платье и руки цвета слоновой кости. Вот они разгладили белую простыню, взбили подушку.

— Может быть, мне уйти домой? — спросил он, обиженный тем, что будет спать на узком диване, что она

запретила говорить о любви, которой если нет, то могла бы быть, все ведь зависит от времени, от того, как женщина поведет себя. Да разве он против любви? Наоборот! Если сомневается, он готов доказать. Только не надо так трезво запрещать. Это сбивает с толку.

— Не разжигайся, — предупредила она и, проходя мимо, взяла его лицо в руки, взглянула в глаза и сказала задумчиво: — Не понимаю... Ложись, чудо мое.

Она ушла в ванную. Игорь разделся, положил руку под голову и приготовился ждать ее. Диван покачивался, будто шлюпка на цепи...

Он спал с нахмуренными бровями. Рука выскользнула из-под головы и повисла. Она положила ее на одеяло. Погасила свет и легла на кровать. Ей было спокойно и чуточку грустно. Может быть, от пения, что ниже этажом? Завтра будет хороший день. Они пойдут в кино, может быть, в Русский музей.

Он должен побыть с ней. Пора избавиться от трехлетнего слоя фантазии. Пора узнать его при дневном свете.

— Ложитесь!!

Игорь лег на талый снег. Раздался взрыв. Полежав, приподнял голову, спросил:

— Можно вставать?

— Можно, — буркнул паренек и тоже встал.

— Фамилия?

— Буралкин.

Перескакивая через обломки ангарной стены, бежит мастер ПТУ. Он разъярен. Кричит на Буралкина, грозит выгнать из училища. Чем больше он произносит грозных фраз, тем скучнее становится лицо Буралкина. Видно, что он привык к нагоньям, знает свои права и не волнуется за будущее. Ясный взгляд не замутнен

страхом, наоборот, он выдает внутреннее торжество. Наверно, доволен, что выполнил задуманное. Взрыв был сильным и эффектным. Глыба скованного раствором кирпича отвалилась. Теперь не надо бить ее отбойным молотком. Мастер начинает хрипеть. Так и не проникнув в душу Буралкина, умолкает и устало приказывает покинуть стройку. Буралкин уходит.

— Разве уследишь? — Мастер разводит руками и с досадой на себя признается: — Чувствовал, что готовит взрыв. В стене дырку продолбил для трубы, спичечные коробки часто попадались, пустые, конечно. Думал, прихватчу, — не успел.

— Значит, по плану работал, — произнес Осинин.

— Какой план?!

— По своему плану. Мы по графикам работаем и ваши ученики тоже. К сожалению, наши планы не стыкуются. Ребята молодые, энергичнее нас. Найдите им дело...

— Какое?!

Мастер ПТУ, вероятно, тоже устал от лекций. Он привык к суровому реализму. Разбивать стену надо. Такая работа мало кого вдохновит. Дети другим живут. На экранах разведчики, приключения разные, любовь. Что он может сказать им? Остается одно: заставлять, наказывать, изредка похваливать.

— Попробуйте во время классных занятий сделать макет корпуса. Чертежи дам. Они увидят, ради чего ломают стены, и нам полезно проверить себя еще раз.

— У нас же программа. Утвержденная для всех училищ.

Теперь начал злиться Игорь:

— Программа, программа! Так сделайте макет сверх программы.

Эхо взрыва, а вернее, слух о взрыве дошел до Базанова.

Осинин наблюдал, как ремонтируют компрессор. Механик так старательно дул в медные трубки, что было понятно: он плохо знает причину поломки. Прибежал посыльный: «Срочно просит Базанов».

В коридоре у кабинета Базанова сидели мастер ПТУ и Буралкин.

— Ты что же? — накинулся Базанов на Осинина. — На брюхо ложишься! Жалуешься, народу нет, а тех, кого с трудом достали, разлагаешь!

Базанов медленно расходится. По опыту Игорь знал, что сегодня будет крутой разнос. Не смог удержаться и усмехнулся. Теперь он в роли Буралкина. Заметив усмешку, Базанов закончил вступление и перешел к кульминации. Игорь честно слушал каждую фразу, и если не мог иногда понять кое-что, то из-за баса. Рокот перекрывал слова и тем более союзы. Он завидовал Базанову. Не каждый умеет так разносить. Целый час прыгал чернильный прибор на столе. Игорь попытался сформулировать вывод, итог разноса и растерялся. Итогов было много. Главный из них: сел в сани — умеи управлять лошадьми.

— Зови подрывника, — приказал он Осинину.

Игорь выглянул в коридор и пригласил мастера с Буралкиным.

— Взрывал? — спросил Базанов.

— Да, — ответил Буралкин.

— Зачем?

— Так быстрее.

— Училище скоро кончаешь?

— Не знаю. Ребята осенью.

— Учти, будешь направлен к нам, — заявил Базанов. — Я люблю с таких снимать стружку. А сейчас иди на рабочее место. И не мечтай избавиться от меня!

Базанов встал, прошелся, взглянул на Осинина.

— А ты чего стоишь? Иди.

«Только начали строить корпус, а неприятностей грозди,—расхаживая по трапам, думал Игорь.—Теперь люди заслоняют дело. Их столько, что всех не запомнишь. По всем правилам научной организации ты должен иметь дело только с бригадирами. Но Буралкин... Разница между нами семь лет. Это немного. Еще можно вспомнить, каким был сам в шестнадцать лет, что руководило поступками. А ничего не руководило! Настроение. Влияние всего, что окружало. Но ведь были же и основы, груз, который не давал опрокинуться? Впрочем, и опрокидывался. Со второго курса техникума чуть не выгнали. Спортом увлекся». — Он поймал себя на том, что ищет оправдания своим поступкам.

Уперев в живот рукоятку пневматического отбойного молотка, Буралкин трясся перед стеной со скучным выражением лица, — звук есть, что еще надо?

— Твердая? — спросил Игорь.

Буралкин положил молоток на землю, вежливо стетил:

— Тупая работа. И аппарат слишком сложный и шумливый, как наш мастер.

Ия вздрогнула и подняла от чертежа голову:

— Ты напугал, Григорий.

— Раньше ты чувствовала мое приближение.

— Что делать, притупляюсь.

Григорий сел. Теперь они отгорожены от мастерской кульмановской доской. Толстые линзы очков отражают свет настольной лампы. Только по острым морщинам от глаз можно догадаться, что он разглядывает Ию вприщур.

— Сегодня тоже занята? — спросил он.

— Очень. — Она рассмеялась. Положила на спинку стула руку и приготовилась слушать.

— Ты, конечно, все взвесила? — спросил он, и морщины потянулись к ушам.

— Если б так. Это не взвешивается.

— Понимаю.

— Ты все понимаешь.

— Все, — произнес он с улыбкой.

— Ссориться не имеет смысла, — предупредила она.

— Мы прогадаем оба.

— Почему оба? — удивилась она. — И за это тоже я тебя уважаю, — улыбнулась Ия. — Из любого события выцеживаешь пользу. Знаю, что переживаешь. Сочувствую. Скажи, а не думаешь ли когда-то отомстить мне?

— Нет. Я люблю тебя, — спокойно ответил Григорий.

— Произошла, может быть, самая нужная для меня встреча, Гриша. Понимаю, изливать душу перед тобой бестактно, но ты, как никто, должен это знать.

— Понимаю, — сказал Григорий, разминая пальцами сигарету.

— Как писали в старых романах — роковая любовь, — насмешливо вздохнула она.

— Почему роковая?

— Он не любит меня. Я волную его, но не больше.

— Тебе нужно одно... — произнес Григорий задумчиво.

— Что?

— Время.

— Время работает против меня. Я женщина.

— К тому же он непорочен?..

— Как стекла в твоих очках.

Григорий встал.

— Желаю удачи. Не забудь, я все пойму.

Она уловила что-то зловещее в последней фразе, и когда он ушел, дико посмотрела на приколотый лист ватмана, на узоры из карандашных линий: «Неужели все это вычертила я?» И хотя до конца работы оставалось

лось полчаса, сняла нарукавники, бросила белый халат на стол и, вызывающе нарядная, пошла прогуляться по коридорам института.

Утепленная листками рубероида, под которыми гуляет жаркий пар из протянутых от котельной шлангов, бетонная плита парит, как свежее испеченный пирог размером шестьдесят метров на двадцать. Осинин подставил ладонь навстречу падающим снежинкам. Одна улеглась на узоры кожи, затрепетала и превратилась в чуть заметную каплю. На краю плиты смолкли удары топоров, и он пошел к бригаде плотников. Над головой пересекались натянутые струны проволоки. Они — оси будущих пилонов.

— В чем дело? — спросил Осинин Ярцева.

— Опалубка готова.

Осинин прошел вдоль щитов. Коротко отметил:

— Этот переделать, этот тоже.

— В землю же уйдут, кто их там увидит, — оправдывался Ярцев.

— А что ему, деньги не из своего кармана, — проворчал пожилой плотник.

— Переделать, переделать, переделать, — невозмутимо продолжал Осинин и остановился перед последним щитом. Посмотрел на бригаду. Рваные фуфайки, помятые шапки, многие небриты, и бригадир в том числе. «Их никто не учит культуре труда. Ярцев слишком озабочен собой и женщиной, которую любит. Не понимает, что требует от нас корпус».

Теперь, когда началось строительство, Осинин меньше всех чувствовал себя автором. В работу включились рабочие, конструкторы, механизаторы, снабженцы, экономисты. Автор стал частицей механизма, работающего по графику. Он мог утешать себя

мыслью, что дал толчок, явился искрой, но не мог не признать, что многие вопросы уже решают за него другие. Оставалось понять свою роль. Он пришел к выводу, что в сроках по графику заинтересованы все. Его роль, как автора, следить за качеством работ. Если надо, бороться за качество. И пусть Вагов тычет пальцем в графу и кричит: «Вывезу на тачке за проходную за срыв срока!», пусть протестуют снабженцы, получая заявки на современные, качественные материалы, пусть Брусничкин щелкает челюстью, Осинин не станет согласовывать сечение пилонов больше, чем запроектировал. Ведь в конечном итоге человек строит на земле не постройки, а себя, свое отношение к окружающему миру.

Фундаментная плита из монолитного железобетона, распластавшаяся на цоколе ангара, радовала Игоря и придавала уверенность в том, что рано или поздно он добьется своего. Но впереди работы по каркасу, и вряд ли они пойдут благополучно с нынешним бригадиром плотников. Нужен профессионал. Нужен бригадир со вкусом. Бетон — эластичный материал. Он способен отразить узоры волокна доски, залиться мягкой параболой от пилона к потолку.

В конструкторском бюро Игорь бросил сырые перчатки на батарею, расстегнул ватник. Сказал:

— Хорошо у вас. На холоде мозг сжимается и тархтит, как высохшее зерно ореха в скорлупе.

Владимир положил лист с чертежами пилонов. Игорь взглянул и спросил:

— Хотите цветные сны по ночам смотреть?

— А в чем дело? — Брусничкин подошел к столу, взглянул на чертеж. — Все правильно.

— Баобабы, а не пилоны.

— Брось. У нас высшая математика. Ты следи за работами, а мы будем отвечать за конструкцию.

Игорь оттолкнул от себя лист, взял перчатки и пошел к выходу.

— Не подпишешь, Вагов заставит! — крикнул вслед Брусничкин.

Сироткин нажал на рычаг, и чугунная груша опрокинулась. Из нее вылез серый раствор.

— Иди в контору, без дела очокуришься! — крикнул он старшему мастеру.

Осинину было холодно и тревожно. Он был уверен, что с Ярцевым ничего хорошего не построишь. Время каркасных работ приближается.

— Сироткин, у вас есть среди знакомых знающий плотник?

— Есть. Т-только в нашу шарагу не придет.

— Почему?

— И заработки меньше, чем на настоящих стройках, и р-работа бросовая.

— Как это б-бросовая?! Корпус делаем, и не типовый. Разворачивай способности, как можешь.

— А п-построим — за старое возьмемся.

— Вряд ли, — произнес Осинин и хотел было идти, но голос Сироткина приковал к месту.

— Чего искать на стороне, когда у самих есть. Если храбрый — забери Родионова из столярки. М-мужик деловой, работу знает, но покоя не даст.

— Родионова?

— Б-базанов два года назад снял его с бригадирства и отправил в столярку.

— За что?

— От бригады отделился. В с-совхозе было дело. Б-бригада из одного котла питалась, а б-бригадир из своей к-кастрюльки. Б-базанов как увидел это, сразу п-постановил: из бригады исключить, д-дать верстак в столярке.

— Дело-то знает?

— Дело знает, да въедливый,— засмеялся Сироткин. Игорь забежал к Лизе, взял личное дело Родионова и пошел к себе в контору.

— С сегодняшнего дня заявки на материалы подавай через меня,— сказал Базанов. Он был чем-то расстроен.— Снабженцы жалуются: клянчишь, просишь, требуешь. А кто ты? Кто? У людей фонды, планы. Думаешь, заплакал, разжалобил и привезут. У нас плановое хозяйство.

— Мне ничего не стоит забежать к снабженцам и отдать заявку,— попробовал сопротивляться Игорь.

Он знал, что Базанов не станет хлопотать. Направит заявки и успокоится. А бригады останутся без материалов. Конечно, снабженцам трудно, хозяйство плановое, почти все материалы дефицитные, но разве это значит, что где-то должны бездействовать люди? Только спрос рождает предложение.

— Ты стал много брать на себя!— крикнул Базанов.— Заявки через меня. Понял?

Игорь кивнул. Открыл папку с личным делом Родионова. Однажды на перекуре кто-то рассказал, что когда Родионов вернулся с фронта, то застал жену с любовником. Он прогнал ее и с тех пор живет один. Жена каялась, но ничего не помогло. И сейчас нет-нет да и заявится к нему с повинной. Опрокинет стол или буфет с досады и уйдет ни с чем. Однажды дверь вышибла. Не впускал ее. Рассказчик со смехом объявил, что с тех пор-де Родионов и освоил столярное дело в совершенстве.

Член партии с 1934 года.

Окончил школу мастеров-плотников в 1933 году.

Военная специальность — сапер.

Воинское звание — сержант.

Воевал с 1941 по 1945 год.

Ранений — четыре.

Награды: Орден Красного Знамени, орден Славы;
медали: «За отвагу», «За взятие Берлина».

Холост.

Теперь стало интересно взглянуть на Родионова. Он вернул Лизе личное дело и направился в столярку. Столярков и слесарей Базанов охранял ревниво. Он сам давал им работы, выписывал наряды. Игорь понимал, что разговор с Родионовым насторожит бригадира, а потом и Базанова. Поэтому сделал вид, что заглянул случайно.

Фуговочный станок надрывно выл. Звенела циркулярная пила. Стучал долбежный. Мелкая пыль осела на выступах потолочных балок. Пахло горячим лесом.

Игорь прошел в конец зала и остановился у верстака, за которым должен был работать Родионов. Бригадира в столярке не оказалось, и поэтому он чувствовал себя свободно. Когда Родионов принес в фартуке детали от пеналов и вывалил их на верстак, Игорь поздоровался.

— Здравствуйте, — ответил тот не очень-то приветливо.

У Родионова широкая грудь. Грудь плотника. Пальцы рук толстые, как сардельки. Круглое лицо хорошо выбрито. Над бровью и переносицей глубокие шрамы. Седые волосы коротко острижены.

— Пеналы делаете? — спросил Игорь.

— Пеналы.

— Мелкая работа, — пренебрежительно отбросив дощечку, произнес Игорь.

— Работа как работа.

— Говорят, вы неплохой плотник.

— Говорят еще, что склочник.

— Мало ли чего говорят.

— Болтать у нас любят.

— А где не любят? — спросил Игорь.

- Где дело делают.
- Видели, мы тоже взялись за дело.
- Видел. Руки пообрывать надо за такие дела.
- А головы? — спросил Игорь с улыбкой.
- Головы пусть цветут. Без рук греха не наделают.
- А чем вы недовольны?
- Погодой.

Родионов вытянул кисть из казеинового клея и стал промазывать мелкие шипы.

— Вам не стыдно чепухой заниматься? — спросил Игорь, кивая на груду дощечек.

Родионов взглянул на старшего мастера и ничего не ответил.

«Если бы он сам попросился на стройку, было бы легче уговорить Базанова, — подумал Игорь. — Но кто уйдет из тепла в холод, от верстака к промерзшим штабелям досок? Клеить пеналы — не леса строить».

Игорь не знал еще, что хороший специалист, отстраненный от дела, зорко подмечает промахи других. И чем больше подмечает, тем труднее удержаться от критики. Постепенно окружающим критика надоедает. Они находят оправдания для себя и обвинения для того, кто критикует. И если в нем мало веры и знаний, он сдается.

Родионов пристально наблюдал за действиями старшего мастера. Он видел, что тот с помощью Вагова обходит Базанова, пытается наладить работу так, чтобы люди видели конечный результат работы, учились в процессе ее и радовались. Неумелые же действия Ярцева злили. Бригада портила материал, суетилась под нажимом начальства, металась, не умея заглядывать вперед. Бригадир должен видеть венец крыши, как только брошен первый камень фундамента. Но попробуй скажи об этом. Сразу начнутся улыбочки. Остается одно: доказать. Вот почему, когда Осинин ушел,

Родионов заволновался. Он понимал, что старший мастер прощупывает его, но не смог лебезить. «Умному человеку ничего не помешает быть умным», — решил он и с силой вставил шип в шип.

Игорь вошел в контору задумчивым. Сел за стол. Положил перед собой кипу нарядов. Пододвинул арифмометр. Пришла пора делать зарплату. Без подсчетов было ясно, что в этом месяце, как и в прошлом, плотники получают меньше, чем каменщики, бетонщики и маляры. По вине Ярцева. Родионов не выходил из памяти. Есть в нем неприветливость. Значит, и вся бригада будет такой же.

Вспомнил широкую грудь, крутые плечи. Не может быть такая фигура у лентяя. У Ярцева, например, покатые плечи. Посмотришь сзади и видишь — капитулирует.

Базанов сосредоточенно чертил, снимая и надевая очки. Изредка наклонял голову и тогда походил на озадаченного мальчишку, — рисовал одно, а получилось совсем другое.

Зазвонил телефон.

— Ты почему не направил плотников в подвал? — голос Вагова.

— Хочу закончить...

— Не юли!

— Не могу доверить им опалубку цоколя.

— Делай сам, но графика не срывай.

— Нужен хороший плотник.

— Есть на примете?

— Пока нет.

— Тогда начинай с теми, что есть.

Вагов положил трубку.

— Он? — спросил Базанов.

— Для него неважно что, лишь бы было!.. Как вы думаете, Родионов хороший плотник?

— Пронюхал... — Базанов покачал головой. С грустью подумал: «Так подбирают себе подобные подобных». — Плотник-то не плохой, но безнравственный.

— Мне все равно, лишь бы умел работать, — обрадовался Игорь. — Безнравственной опалубки не бывает. Есть или хорошая или плохая.

— Он же с людьми будет работать. В первый день перелается со всеми, а потом и тебя понесет. Дай ему поблажку, и князем почувствует себя.

— Пусть чувствует. Я когда-то архитектором Захаровым чувствовал себя. Теперь некогда.

— Пока я начальник цеха, он будет сидеть в столярке, — твердо заявил Базанов.

— Не понимаю, почему вы все время пытаетесь помешать делу? — искренне удивился Игорь.

— В столярке план, срывать его не имею права, — упрямо произнес Базанов.

— Давайте обменяемся. Вам Ярцева, а мне Родионова, — предложил Игорь.

— Твой Ярцев халтурщик. Его баба защемила.

— Вот видите, как же мне с ним строить? — Игорь обрадовался, что Базанов признал Ярцева плохим бригадиром.

Базанов не смутился. Видно, давно ждал повода, чтобы внести ясность. За длинную и бурную жизнь он понял, что все люди кем-то ущемлены. Переставлять их с места на место — значит пытаться ущемить еще больше. Было время, он так же, как Осинин, беспощадничал. Теперь пришла покорность перед временем и характерами. Люди ждут помощи. Они готовы учиться всю жизнь, были бы учителя. И если Родионова пришлось снять, то только потому, что, зная дело, он был нетерпим к незнающим. Он унижал их с удовольствием и не понимал, что некоторые после войны потеряли

себя, отдав полю боя силы и здоровье. Выходит, на свалку их?

Базанов высказал все, что давно хотел сказать.

Игорь слушал внимательно, понимал и в то же время не мог согласиться. Он поставил перед собой цель — хорошо построить корпус. Причины делать дело кое-как найдутся: и плохое настроение, и нездоровье, и мысли о неустроенном быте, и раздражение на соседа, да мало ли их, причин-то! Они — трясина. Поэтому, чтобы не болеть, он обливается утром холодной водой, ради бодрости и ясной головы ложится рано, быт не засоряет опрометчивыми знакомствами, в свободное время ходит по городу и рисует, по средам занимается в изостудии. Пусть некоторые говорят, что слишком рациональное построение жизни, но хуже, когда оно отсутствует. Игорь не стал спорить и доказывать свою точку зрения. Базанов давно имеет свою, итоговую. Игорь сказал себе: «Родионов должен работать на стройке», — и пошел к Вагову.

— Не в гостях, проходи, — сказал Вагов, зажимая телефонную трубку.

Игорь сел. Подождал окончания разговора и заявил:

— Нашел плотника.

— Где?

— В столярке. Родионов. Сироткин хвалил.

— Сироткин знает толк в людях. Бери, — просто, не задумываясь, разрешил Вагов.

Игорь улыбнулся:

— На Олимпе не боятся кого-то обидеть.

Вагов понял и набрал номер телефона Базанова. Послушав длинные гудки, пообещал:

— С Базановым улажу. — Положил ладони на стол. — Что-то не нравится мне твоя стройка. Огонька нет. Сонное царство. Согласен?

Игорь хотел промолчать, но Вагов вынудил ответить.

— Оправдываться или возражать — значит давать вам новый повод к упрекам.

— Верно, — ответил Вагов и открыл папку с бумагами. — Почему не подписываешь чертежи Брусничкина?

— Они боятся. Стократный запас прочности дают.

— И я боюсь. Думаешь, рос и мечтал о тюрьме?

— Не стану уродовать архитектуру! — твердо произнес Игорь и встал.

Вагов поднял голову:

— Рабочие не того класса, чтобы верить. Сделают раковину в бетоне, и мы пойдем по этапу. Да и ты не внушаешь доверия. Первый раз строишь. В таком деле первый блин дорого обходится.

«Доверив мне, Вагов рискует должностью, положением в обществе, семьей», — эта мысль поразила Игоря. Он вышел и долго думал: что заставляет главного механика держать неопытного мастера? Почему не найдет опытного строителя? Понятно, идею строить поддержал потому, что захотел показать начальству свою работу. Да так ли это? Вспомнил Вагова до строительства корпуса. Тогда он явно скучал. Сопроения проводил вяло, будто ему надоели вечные разговоры о материалах. Нынче каждое слово налито энергией. Даже острить пытаются.

Шло время. Приходило убеждение — Вагов держит потому, что стройке лучше иметь заинтересованного мастера: и соки выжимать можно, и за качество не надо волноваться. Правда, было и другое, как однажды с иронией заметил Володя. Вагову приятно иметь послушного ученика. Но в конце концов, у каждого человека появляется желание учить кого-то и учиться. Лишь бы было что передать и принять. Вагов умеет руководить незаметно. Он даже бравирует своей кажущейся ленью, медлительностью, за которыми скрывается беспощадность к неорганизованности, безынициативности.

Широкий ветер с залива, наталкиваясь на дома, превращался в нудные сквозняки. Они подтачивали снег во дворах и на газонах, гудели в густых кустах сирени на Марсовом поле.

Ия посмотрела на часы. Игорь опаздывал на десять минут. Представила, как поедет домой, сядет за стол и начнет думать о жизни. Наверно, пришла пора. Усмехнулась. Мужчины, как троллейбусы: искрят, дергаются, но обречены следовать за проводами. Провода — их пристрастия.

Игорь, конечно, прибежит. Ему нужна любовь удобная, как растоптанные башмаки. Чтобы не мешала думать о работе. Не отвлекала внимания. Он эгоистичен и упрям.

Вот он, бежит.

— Извини. Вторая смена задержала....

— Куда пойдём? — весело спросила она.

Он смутился. Пожал плечами.

«Григорий продумывает свидания до минут», — подумала она и, отметив забрызганные цементным раствором брючины Игоря, предложила:

— Пора, наконец, познакомиться с достопримечательностями своего города.

— А ты разве не знакома? — удивился он.

— Если и была знакома, то позабыла.

— Может быть, в кафе посидим? Или в ресторане?

Игорь получил аванс с премией и хотел кутнуть. Пусть видит его щедрость. Как-то получалось, что, имея деньги, он не мог их использовать.

— Нет, пошли погуляем, — сказала она, беря его под руку и еще раз отметив грязные брючины и рубашку не первой свежести.

Они прошли набережной до памятника Петру Первому и остановились. Она смотрела на всадника, на коня, на камень и не могла проникнуться восхищением.

Замечала зеленые разводы окисленной бронзы, трещины на камне. Чувствовала холод металла. К искусству она всегда была равнодушной. Живые люди, выражения на их лицах волновали больше. Например, эта девчонка, у которой красные щеки выпирают из шерстяного платка. Наверное, пытается, наморщив выгоревшие на солнце брови, вспомнить все, что знает о Петре. А знает, видно, мало. Но ничего, для того и экскурсию совершила в северный город, чтобы узнать то, что плохо знает. В кармане путеводители с цветными обложками. Интересно, о чем может думать так серьезно Игорь. Он-то должен знать историю. Спросила.

— Думаю, как трудно ему держать на лице одно выражение.

— Посмотри на себя и поймешь, — сказала она с улыбкой и вдруг почувствовала на себе взгляд. Осмотрелась и, увидев у тротуара «Запорожец» Григория, поняла: он следит, оценивает шансы соперника перед длительной осадой. — Пошли в сад, — заторопилась она.

Купол Исаакиевского собора над сучьями деревьев похож на золотое яйцо, лежащее в хворосте.

На следующий день Ия жестко спросила Григория:

— В тебе проснулся сыщик?

Он снял очки. Вмятины на переносице, припухшие веки глаз, неуверенные движения близорукого человека — все раздражало Ию. Если бы ей напомнили, что Григорий когда-то нравился, она не поверила бы. Не захотела бы. Так уж устроена! Качество мало приятное, но её. Хорошо, что у Григория хватило ума не напоминать. Она хочет быть абсолютно свободной. Прошрое всегда было не таким, как ей хотелось. Она понимала, что Игорю тоже не нравится ее прошрое. Это заставляло стирать его, как тушь с ватманского листа розовой резинкой.

Родионов вышел из раздевалки с ящиком в руке и стал в сторонке. Шла обычная разнарядка на работы, Сироткин ушел с бригадой вязать арматуру для пилонов. Бригада плотников ждала.

— Товарищи, в бригаду включен Родионов Петр Николаевич, — сказал Осинин, внимательно наблюдая за лицами. — Многие из вас знают его. Он будет отвечать за качественную опалубку для пилонов.

Кто-то рассмеялся. Ярцев сказал:

— Только предупреждаю: за объем работ мы отвечать не будем.

— Почему?

Осинин знал ответ, но хотел, чтобы Родионов услышал его и задумался. В конце концов ради хорошего качества можно пожертвовать количеством, но нежелательно.

— Он будет тормозить нас, — ответил Ярцев.

— Один всех? — улыбнулся Осинин.

— Я буду требовать, как надо, — сказал Родионов.

— Знаем его. Он готов отыграться на нас! — крикнул Степанов.

— Если пилоны не будут штукатуриться, значит, мы возьмем деньги за штукатурку и малярку, — объяснил Родионов.

— Ну, как говорил Суворов, с богом, — сказал Осинин и сошел с пьедестала.

У Вагова завелась привычка появляться утром на стройке. Вначале Осинину удавалось избегать встреч, но однажды тот подозвал его и пробубнил:

— Чего, как заяц, удираешь? Обязан встречать начальство и докладывать.

С тех пор Осинин отвечал на вопросы и слушал справедливые и несправедливые замечания. Хвалить или одобрять Вагов не умел или не хотел. Тогда Осинин задался целью вырвать у него хотя бы невольное одобре-

ние. В этом желании он не видел ничего предосудительного потому, что в строительстве заинтересован больше он, чем Вагов.

Ему хотелось, чтобы все, как и он, и Родионов, в рабочее время думали только о деле. Производственные отношения должны отличаться от бытовых отношений. Поэтому на вопросы Вагова, что делал в выходной день, Игорь отвечал односложно и сухо. И Базанов последнее время обвиняет в черствости и отсутствии обаяния. Говорит, что руководитель должен работать не только головой, но и душой.

— Чем недоволен? — спросил Вагов, наблюдая, как плотники сортируют доски.

— Все хорошо!

На самом деле он был недоволен Родионовым. Тот увлекся и отправил обратно в столярку почти всю партию досок. Ему, видите ли, не нравится, как острогали их. А дело будет стоять.

— Куда их собираются везти? — спросил Вагов, кивнув в сторону груженого электрокара.

— Бракованные. Надо пропустить на фуговочном еще раз.

— Это Родионов затеял?

— Да.

— Останови его.

— Нет. Он учит их работать.

— Доучит, что до белых мух под крышу не залезем.

— А если залезем, то под хорошую.

— Сорвешь график, премии лишу. А это что?

— Для раствора ящик.

— Так убери, пока раствора нет. Рассохнется. Новый будешь делать.

Осинин подозвал Сироткина и приказал убрать ящик,

— Весной пахнет, — сказал Вагов, щуря пуговичные глазки.

«На пять пилонов арматура связана. Завтра надо бросить на вязку всех. А послезавтра бригаду Сироткина поставлю в помощь плотникам. Цемент должны завезти сегодня ночью. Надо оставить дежурных для приема. Брусничкин, эта мягкая ягода, задерживается с чертежами на закладные части! Пора заказывать арматурные прутки на перекрытия...»

— Ты чего молчишь?

— О том, что идет весна, я знаю по графику работ, — ответил Осинин.

— Ты скажи Родионову, пусть приоденет бригаду. Оборванцы, а не рабочие.

— Хорошо.

Подбежал мастер водопроводного участка:

— Что делать! Вы же не оставили отверстие для канализационной трубы.

— Его не было на чертеже, — ответил Игорь.

Вагов спокойно сказал:

— Пробивай, если нет.

— Так не я же виноват! Брусничкин забыл вычертить.

— Пробивай сам, если не подсказал.

— Аким Иванович, это несправедливо...

— А справедливо ушами хлопать? Ты должен ночи не спать, а чертежи проверить.

— У нас и отбойных молотков нет...

— А голова зачем?

Вагов отвернулся и посмотрел на залив, по которому были разбросаны игрушечные кораблики.

Так и случилось. Базанов, сочувствуя снабженцам, не часто напоминал о заявках. Если Игорь считал своим долгом каждое утро появляться в отделе снабжения, то Базанов ограничивался телефонными переговорами.

А, как известно, лучше с ними десять раз встретиться лично, чем один раз упрекнуть по телефону. Такова их доля в эпоху бурного развития промышленности. Игорь всегда улыбался, поднимаясь по лестнице. Как ни парадоксально, заявки обслуживались лучше теми, кто не любил его. И, что самое странное, глядя, как им хочется избавиться от его посещений, как они запросто договариваются с Киевом, Псковом, Николаевом, Рязанью, Тбилиси и другими городами, Игорь начинал любить их безответной любовью. Особенно нравился ему Михальченко. Он вел сложные переговоры с людьми, городами, заводами и радовался, принимая грузы с пыльных и грязных, с прицепами и без прицепов, автомашин. Лишенный морального стимула (восхищения Осинина), Михальченко стал срывать одну заявку за другой. Тогда Игорь решился на демонстрацию протеста. Заказал щит, написал на нем крупно:

**СТРОЙКА БЕЗ МАТЕРИАЛОВ!
РАБОЧИМ ГРОЗИТ ПРОСТОЙ.
ВИНА ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ.
НУЖНЫ ЦЕМЕНТ, ДОСКИ, ПЕСОКИ**

и повесил на осветительном столбе перед стройкой.

Слух о плакате распространился по заводу. Появились любопытные, и появилось начальство.

С утра Осинин расставил людей по цехам на срочные ремонтные работы по заявкам. Строительная площадка пустовала. Сам ушел в противоположный конец завода и руководил ремонтом душевых кабин. Это были старые, пропахшие хозяйственным мылом и сыростью кабины. Плитки на стенах отвалились, а оставшиеся прожелтели насквозь. Корпус цеха был построен до революции. Он требовал капитального ремонта, как, впрочем,

многие корпуса завода. Надежд на занятые жилым строительством тресты было мало, и Игорь еще раз убедился, что надо расширять свой участок и постепенно приводить завод в порядок.

Лиза с трудом нашла его и сообщила, что срочно вызывает главный механик.

— Почему приостановил работы? — встретил вопросом Вагов.

— Нет материалов, — постарался как можно спокойнее ответить Игорь.

— Здесь не цирк и трюки не смотрятся, — вскипел Вагов. Шея его побагровела. — Кто тебе мешает писать докладные, для чего я гуляю каждый день на стройке? Чтобы с тобой встретиться, о погоде говорить?! Кто мешает тебе сидеть на снабженцах?

— Никто.

— Так в чем же дело? — Вагов неожиданно успокоился. Краска сошла, он помолчал, глядя в окно, и спокойно сказал: — Садись. — Снова помолчал и объявил: — Думай и пиши о перспективном плане ремонта завода. Кончится стройка, но дела останутся. Думай.

«Не могу думать о двух делах сразу. Это все равно что любить двоих. И почему я? — Игорь знал: Вагов спросит перспективный план, но не спросит, когда его делал. В рабочее время невозможно, значит, придется сидеть дома. Вспомнил об Ие. — Она терпеть не станет долго. И правильно сделает. Яков Стефанович был правкое в чем».

Под электролампочкой висел плоский слой табачного дыма. Лысина Базанова над дымом — как вершина горы над перистым облаком. Гудел голос:

— ...Двадцатого июня двадцать шестого года мы отравились на отремонтированной царской яхте в залив.

Мария была красивой женщиной. Величавая, властная, она любила море и неплохо управлялась с парусами. Приятель, тоже с красивой замужней женщиной, сервировал стол. Небо было чистое, ветерок полоскал парус. Он словно отталкивал нас от города. Все было готово: на столе икра, шампанское, коньяк, ром и прочие деликатесы. Вдруг яхта будто в сливочное масло вошла. Села на мель! Предпринимать что-либо не хотелось. Впереди были вечер, ночь, воскресенье. Мы сели за стол и, будь уверен, обмыли ремонт яхты как подobaет, — Базанов усмехнулся. — Помню. Ночь была цвета топленого молока. Вода парная и невинная. Это нынче в заливе развелись цветные пятна нефти. Раньше их не было.

Под утро мы спали сном праведников и, проснувшись около часа, задумались. Пока думали, пришел вечер. Женщины, естественно, вспомнили о мужьях. Они всегда вспоминают о них, когда садятся с любовниками на мель. Делать нечего. Я взял весла, сел на двухместную лодчонку и поплыл к начальнику порта с повинной. В понедельник, часов около десяти, время не засекал, буксир подтянул яхту к причалу. Встречали нас разъяренные мужья. Можешь представить обстановку. Любви, о которой мы так красиво говорили сутки назад, как не было. Женщины перед народом на причале разыграли такую комедию, что с тех пор не хожу в театр. Они объявили, что мы их похитили с тротуара. Моя служебная биография надломилась. Я стал плавать по странам иностранным, воевал, но женщинам снова и снова верил. Они благодарны тем, кто прощает им. Впрочем, сколько нас, столько и мнений о женщинах.

Базанов умолк. Наступила тишина. Мужчина, сидящий на углу, погасил папиросу, надел шапку и тихо вышел. Наверно, на любом заводе есть такие незаметные, непонятно чем занятые мужчины. Они ходят из конторы

в контору, всех слушают, поддакивают и уходят, чтобы через месяц, когда у рассказчиков «наболеет», вернуться снова.

Слушая, Игорь возмущался: «Черт побери, старость ведь не синоним беззаботности! Стройка стоит, а он спокоен».

С приходом Родионова действия плотников приобрели целенаправленность. Даже звуки ножевок стали ритмичнее. Родионов быстро становился хозяином дела. Ярцев тускнел и забывался. Он выполнял задания, не возражал, когда его упрекали. Он сдавался без боя. Это настораживало. Все чаще он убегал в столярку и там что-то строгал.

Осинин догадывался, что Ярцев хочет доказать себе, будто за халтуру получит больше, чем за бригадирство. По рассказу Базанова, выходило, что его надо жалеть. Он любит какую-то женщину, которая то приходит к нему, то уходит. «Это частное дело,— думал Осинин.— А общее должно идти своим чередом».

— Ну, говори, — произнес Базанов.

— Разрешите издать распоряжение по цеху о назначении Родионова бригадиром? — сказал Осинин.

— Ярцева в шлак, значит?

— Останется в бригаде.

— Ты замечаешь, когда творишь зло? — с интересом спросил Базанов.

— Пришел к выводу, что оно неизбежно. Весь вопрос в процентном отношении добра и зла, которые творю. Если хотите, возьму обязательство повышать процент добра.

— Не веселись. Дойдет очередь и до тебя.

— Так разрешаете?

— Делайте с Ваговым, что хотите. Только предупреждаю: вы, со своими процентами, недолго протянете.

Осинин вышел из конторы и медленно побрел между красочными щитами с наглядной агитацией. Пестрят огромные цифры. Длинные строчки социалистических обязательств завода на пятилетку. Проценты выполнения по ремонту кораблей. Экономические показатели. Основные показатели завода — спущенные на воду корабли. Построенный же корпус по стоимости и значению — капля в океане плановых цифр, маленький служебный отсек в огромном корабле. Стоит ли на него тратить столько нервов, которые, говорят, не восстанавливаются? Еще раз он пожалел, что не занялся живописью. Там инструменты — кисти, материалы — холст и краски. Не надо брать на себя ответственность за судьбу других людей. Можно довести процент добра до тысячи и больше.

Стройка, обросшая лесами и торчащей опалубкой, похожа на старинную гравюру. Тычинками выползают из досок прутья арматуры. Увидев сарайчик на бетонной плите, Игорь удивился. Подошел к нему и посмотрел вверх. Родионов раскатывал рубероид по скату крыши.

— Что делаете?

— Времянка для перекуров, — ответил Родионов.

— Почему без моего разрешения строите сарай?

— Вам надо было бы подумать. До раздевалки полкилометра. В холод и дождь люди должны передохнуть под крышей.

«Он прав, — подумал Осинин. — Слишком часто он оказывается прав. Скоро я могу оказаться здесь лишним».

Он не понимал, что хороший специалист дарит начальнику время, которое можно использовать на творчество. Ярцев приучил старшего мастера контролировать, а Родионов хотел избавиться от мелочной опеки. Он знал много приемов, которыми мог удивить плотников, разжечь в них дух соревнования.

Брусничкин шагал к корпусу, высоко вскидывая руки. Игорь улыбнулся. Настроился на разговор. Подумал, что сейчас услышит новую идею.

— Послушай, — издали закричал Брусничкин, — давай сделаем лоджию на консолях! Обнесем ее стеклом, и получится дом-фонарь. Четыреста квадратных метров производственной площади в придачу. А! Здорово? — Он сдвинул кепку со сломанным козырьком на макушку, шалыми глазами осмотрел пилоны. — Выдержат. Пошли к Вагову. У него к тебе большое доверие.

— Давай прилепим тебе третью губу.

— Ты это брось, — отмахнулся Брусничкин, что-то подсчитывая в уме. — Красиво будет. Да что говорить с тобой, нет у тебя фантазии. Знаешь, почему? Рассчитывать не умеешь. Архитекторы сейчас не нужны. Мы, конструкторы, заменим их, и тогда посмотрите, что натворим.

— Ты считал? Пилоны выдержат твою лоджию?

— На пределе. Для страховки поставим тонкие опоры из толстостенных труб и покрасим их под цвет корпуса. Будут незаметными, — нашел выход Брусничкин.

— Беда твоя: считать до триллиона научился, а для чего, не знаешь.

— Как это не знаю? Знаю. Говори, согласен идти к Вагову? Учти, сам пойду и подарю дополнительную площадь.

— Ступай, рационализатор.

— Ты не хитри. Объясняй, в чем дело, — потребовал Брусничкин и, засунув руки в карманы мятых брюк, приготовился слушать. — Или боишься потерять авторство?

Игорь рассказывал об основных законах архитектуры, о соблюдении гармонии между целым и частью и видел, что для Брусничкина это были общие, неясные слова. Брусничкин жил стремлением к грандиозному, наивно

полагая, что в грандиозном присутствует и расчет и красота.

Для трубогибочного цеха требовалась хорошая вентиляция. Брусничкин решил сделать ее проект. Сел за справочники, учебники. Дело незнакомое, но не боги горшки обжигают. Игорь вспомнил, что Ия специалист по вентиляции. Однажды он пришел на свидание с папкой чертежей корпуса. Ия обиделась, когда поняла, чего он хочет от нее:

— Ну, знаешь ли, эмансипация имеет предел! Чтобы на свидание приносили чертежи, для меня новость. Я как дура жду, когда ты признаешь меня красивой, а ты твердишь, что я хороший специалист.

Она взяла папку и небрежно бросила ее в Фонтанку. Игорю почему-то запомнился тополиный пух на воде. Он понадеялся в первое мгновение, пока летела папка, что пух удержит ее на поверхности. Когда чертежи ушли на дно, он рассмеялся. Хотел даже поцеловать Ию, но она отстранилась со словами:

— Не приставай к посторонней женщине. Я знаю, что тебе некогда целоваться. Ты однолюб. Целуй свой корпус. А я подожду, когда он надоест.

При следующей встрече он снова протянул ей папку. Фонтанки рядом не было. Они сидели в Михайловском саду.

— Ты согласен за счет свиданий? — спросила она, положив руки на папку.

— Нет, — ответил он.

— Когда же мне делать?

— Когда буду работать в вечер. И ты будешь занята, и я буду спокоен.

— Ты начинаешь ревновать? — удивилась она.

— Я пришел к странному выводу. Любовь вдохновляет на дела, но отнимает время, чтобы их свершать. Вот если бы суметь и то и другое.

Часто они говорили так, в полушутливой форме о серьезном. Но что-то надвигалось неумолимо. Казалось, они прилагают все усилия, чтобы оттянуть неизбежное.

Он чувствовал: где-то притаилась опасность. Боялся ненароком переступить границу и оказаться на незнакомой территории, на которой управляют силы, не подвластные его воле. Там иной мир ценностей. Он может оказаться в ловушке и потерять найденную ориентацию.

Вокруг них парили белые пушинки тополей. Скатавшись друг с другом в рыхлые рулоны, они катились по дорожкам. Разбитые ногами прохожих, взлетали и низко парили над коротко остриженной травой. Июнь стоял без дождей. Камень города прогрелся и ночью, отдавая тепло, согревал влюбленных. Улицы и парки заметно опустели. Стояла пора отпускных путешествий и дач.

Кто-то вызывал Игоря в проходную. «Неужели Ия?»— думал он, шагая по главной аллее.

Вместо Ии подошел юноша в коричневом берете, с усами, переходящими в маленькую бородку.

— Случайно, не вы Игорь Александрович? — спросил он.

— Случайно я.

— Видите ли, я пришел к вам... — юноша забыл продолжение заготовленной фразы и густо покраснел. — Видите ли, пора решить важный вопрос.

— Я крупный специалист по важным вопросам, — ответил Осинин, пряча улыбку.

— Кстати, я пришел по совету товарища Лебедева. Он работает у вас маляром. Он, например, заявил, что мне пора встретиться с вами и обо всем переговорить.

— Давайте переговорим.

— Так вот, я мечтаю стать художником...

— Кстати, как вас зовут?

— Валерий Калягин. Извините, что не представился сразу. У меня есть аттестат зрелости. Сегодня я про-
снулся, подумал о вас и решил ехать. Что вы на это
скажете?

— Вы правильно сделали.

— Вам, конечно, такие работники в тягость. Вам
нужны производители. Я же постоянно отвлекаюсь на
живопись. Тем более, мне хочется взять, с вашего раз-
решения, красок эмалевых. Я люблю эмалевые. Они соч-
ные по цвету и очень сдержанны. Разумеется, мне пона-
добится немного — граммов сто.

— Я разрешу взять.

— Вы думаете, стоит рискнуть?

Несмотря на то, что разговор шел нескладный, Оси-
нин прекрасно понимал подтекст и старался отвечать
на те вопросы, которые не задавались, а подразумева-
лись.

— Есть стены, покрашенные искуснее, чем некото-
рые холсты. Так утверждает товарищ Лебедев. Я со-
гласен. Моя беда в том, что я застаеваю. Так утверж-
дают те, кто меня хорошо знает. Я застаеваю в началь-
ной стадии. Может быть, застряну в малярах. Для меня
самого это будет большой неожиданностью. Надо
узнать начальное. Ведь живопись пошла от цветных
мелков, которыми вначале раскрашивали пещеры, по-
том она отделилась в самостоятельный вид искусства.
Вот так всегда... — Валерий досадливо махнул рукой,
задумался на секунду. — Всегда я рискую отстать от
других по времени, но ничего с собой поделывать не могу
и насиловать наклонности натуры считаю вредным для
себя явлением.

— Дайте, пожалуйста, паспорт, — попросил Осинин.

Пролистав салатного цвета листы почти чистого пас-
порта, он пригласил Калягина к начальнику отдела
кадров...

На стенах висели проекты жилых домов и производственных корпусов. Ия в белом халате была похожа на доктора. Пока Игорь осматривал мастерскую, она уби- рала чертежи со стола.

— Ну вот, я готова, — сказала она, усаживаясь. По- правила густые, перетянутые лентой, волосы. — Устала,

— От собственного обаяния?

— За обаяние, милый, двести рублей не платят.

— Я бы доплачивал коэффициент.

— Я красива бескорыстно. Посмотришь чертежи?

Игорь посмотрел и возмутился:

— Трубы под потолком убери!

— Но куда, глупый?

— Пусть будет трубой пространство между бетон- ным перекрытием и подвесным потолком с дырочками для притока воздуха.

— Ты, кажется, не имеешь представления о венти- ляционной системе.

— Имею. Насмотрелся на ваши воздухопроводы. Чудовищные брючины под потолком, загораживающие свет, на которых сотни килограммов пыли. Нет, такая вентиляция нам не нужна.

— Какую же ты хочешь?! — начала злиться Ия.

— Хорошую. Красивую.

— Ты что-то выдумываешь.

— Не удивляйся. Я всегда ставлю себе и другим не- выполнимые условия.

— Вот именно.

Ия взяла небрежно заточенный карандаш и стала что-то подсчитывать. Сказала:

— Требования твои необычны. Мы привыкли обслуж- живать рабочие места, а не воздушную среду. Учти, понадобятся мощные вентиляторы...

— Пусть. Производственное помещение часто под- вергается перепланировкам. Поэтому-то я хочу сделать

его площадь и все: остальное готовыми принять любое технологическое оборудование без строительных работ. Нам выгоднее иметь более мощные вентиляторы, чем срывать старые и устанавливать новые.

— Я подумаю. Но предупреждаю: чертежи будут необычными, и их могут не утвердить...

— Ты делай так, как договорились.

— Корпус небольшой. Сделаю через неделю.

— Да, по сравнению с теми, что у вас на стенах, небольшой. Но для меня очень важный. Я хочу сделать его образцовым во всех отношениях. Скажи, я могу приезжать к тебе сюда?

— Можешь. Будешь помогать, — ответила она.

Ия сняла хадат и бросила его на спинку стула. Спросила:

— Послушай, а когда мы начнем повышать уровни?

— В каком смысле?

— В прямом. Я вечность не была в Русском музее. И не очень-то хочу. Искусства не понимаю, но, говорят, надо. За тем столом, — кивнула в зал, — сидит Ерофейчик. Так мы его зовем. С утра до вечера одолевает вопросами. До сих пор ему хватало звуков моего голоса, но когда-то в звуки надо вносить смысл. Однажды я пообещала ответить ему на все вопросы чохом. Пора пришла. Я наблюдала за тобой на даче. Ты все время щурился, рассматривая предметы и нас. Только на Галку смотрел без прищура. Очень интересно, как тебе видится. — Она продемонстрировала прищур Игоря и рассмеялась. Напомнила: — Завтра суббота.

«Я становлюсь роботом. Каждый имеет право включить меня. Убежать невозможно. Наоборот, я должен напрашиваться на вопросы и отвечать, для того чтобы быстрее рос корпус».

Крупные капли падали то на голову Осинина, то на плечи, то на кончик носа. Самое неприятное ощущение, когда они влетали в глаза. А не смотреть вверх — значит, отказаться от проверки перекрытия. Не сильный, но упругий ветер с залива вливался в сырой бетонный каркас и посвистывал в штабелях досок. В конце пролета плотники рвали ломиками проволоку. Полотнища досок, подвязанные к потолку, обрушивались со скрежетом на пол.

Когда Родионов скомандовал: «Перекур!» — все затихло. Плотники сели вокруг бочки с водой и закурили.

— Ты где отдыхал в выходной? — спросил Семенов Родионова.

— На южном берегу Обводного канала, — ответил тот. — Вам что — проснулся, все подано. А я целый день стирал.

— А ты бабу найди, не жадничай собой, — засмеялся Семенов. — У меня, например, Машка стирает нижнее белье. Нюрка — носки, Пашка специализируется по химчистке, а рубашки на парад стирает Галка. Все потому, что я добрый.

— А голову кто мылит? — съехидничал Родионов.

— Да все разом, — ответил за Семенова Ярцев.

— Кукун ты, Павел, — подвел итог Родионов. — Мечешься по своей дурости.

— Он по чужим дуростям мечется, — уточнил Ярцев.

— Я-я в молодости т-тоже любил экскурсии, — вставил Сироткин, — а к-когда поясницу схватило, другой смысл понял.

— Тебя-то они любили за фигуру, а этого шибздика за что принимают? — продолжал удивляться Родионов.

— Б-был случай: точно такой же, как Пашка, увел от меня. Д-до сих пор не пойму, что нашла в нем.

Раздался смех.

Кто-то поднимался по трапу. Показался верх серой шляпы с короткими полями и лицо Вагова. Вторая шляпа с широкими полями принадлежала Базанову.

— Как дела? — спросил Вагов Осинина.

— Кончаем бетонировать третий этаж.

— Это я вижу. Почему рамы не устанавливаешь? — продолжал он, хотя знал, что рамы делали и будут устанавливать столяры Базанова.

— Завтра начнем, — ответил Базанов, но Вагов сделал вид, что не слышал его.

— Почему сварщиков нет? — снова к Осинину.

— После обеда придут, — опять вмешался Базанов.

— Мусору много.

Никто ему не ответил.

— Дисциплина плохая. Сироткин мешки таскает по заводу, Крутиков непонятно куда и зачем носится с тачкой и орет так, что корабли вздрагивают.

— Легкие здоровые у него, — объяснил Осинин. — А у Сироткина жена слабая, чтобы таскать мешки с макулатурой после уборки конторы цеха.

— И на все-то у тебя имеется ответ, — проворчал Вагов и направился к плотникам.

— Курите? Вам метровых сигарет не хватает, чтобы перекур тянуть на полдня.

— Не беспокойтесь, мы свое дело знаем, — спокойно ответил Родионов.

Она приколола белый лист, заточила карандаш и посмотрела в окно. Григорий замешкался у своего кульмана. «Скорее бы уходил, — подумала она. — В любую минуту может вбежать Игорь». На улице моросил дождик. За темной лентой Фонтанки, над гранитной стеной, растущеванные струями дождя, торчали черные стволы тополей Летнего сада.

— Ты остаешься? — голос Григория.

— Да, надо отработать.

Григорий достал из кармана пиджака чистый носовой платок. Вытер щеку Ии, запачканную грифельной пылью.

— Чувствуешь себя неважно? — спросил.

— Иди, Григорий, домой.

— Ухожу, замарашка.

Ему удалось вызвать у нее улыбку. В ее взгляде мелькнуло прежнее озорство и даже признательность. Но она нервничала, сама была не своя, и ему это передавалось. Ему захотелось увидеть ближе того, кого она ждет.

— Шел бы ты, — неуверенно попросила Ия.

Григорий усмехнулся и мотнул крупной головой. Снял очки и, близоруко щурясь, стал протирать линзы носовым платком. Когда послышались быстрые шаги, казалось, из глубины здания, он медленно надел очки и стал ждать, не отрывая взгляда от двери. Он даже не моргал. Хотелось увидеть соперника в первое мгновение, оценить. Шаги быстрые, почти бегущие. Рывок двери — и в проеме появился молодой человек с серыми глазами. Он не сразу увидел Григория. Как-то не обратил внимания, до тех пор, пока Ия не представила.

Григорий пожал протянутую ладонь, ощутил ее не навязчивую жесткость и сказал себе, что пора уходить. Ия, совершенно неожиданно, притихла и ждала, как развернутся события дальше. Григорий встал, попрощался и вышел.

Доски кульманов — как огромные крылья усевшихся на пол бабочек. Вверху, под потолком, шесть световых шаров. И окнами в мир — проекты на стенах. Все приобрело для Игоря символическое значение, отстранилось куда-то. Может быть, причина такого настроения встреча с Григорием? Он услышал, как Ия сказала:

— Сегодня закончим работу.

- Провались она пропадом...
- Это что-то новенькое...
- Собирайся! — приказал он.

Она встала, растерянно улыбаясь. Впервые видит, как он сердится. Но почему? Надела плащ, взяла зонтик.

Они шли рядом. Обоим отчего-то было неловко. По раскрытому зонтику стучал дождь. Почти всю дорогу в трамвае они молчали. Ия жила недалеко от площади Мира, в доме у пешеходного моста через канал Грибоедова. Вошли в подъезд. Поднялись на третий этаж. Она отперла дверь, молча пропустила Игоря. В окна еще просачивалось достаточно света, но она зажгла люстру. Будто хотела обнажить все, что их окружает, лишить таинственности. Игорь подошел к окну и взглянул вниз. По мосту, сутулясь, торопливо пробегали люди.

Она погасила люстру и зажгла торшер. Погладила его горячую ладонь. Корпус отнимал время и чувства Игоря. Понятно, мужчина должен быть чем-то занят... когда он муж. Занятость — гарантия верности жене. С тех пор, как они встретились, она в постоянной тревоге. Вначале пугалась его отчужденности. Потом ревновала к работе. А когда привыкла к ревности, пришло предчувствие беды. Ей не хотелось из-за пожара или несчастного случая на стройке несколько лет доказывать ему верность.

— Рассказывай, — потребовала она.

Он дал понять улыбкой, что ничего страшного не произошло. Она покачала головой: пока не расскажешь, не поверю.

— День начинался как обычно, — произнес Игорь, — с разнарядки. Понравилось, что Калягин Валера придумал форму для маляра и вышел в синем комбинезоне, белой рубашке с темным галстуком и берете с нарисованной сбоку малярной кистью. Позже я спросил его

о впечатлениях от стройки и завода. Он ответил серьезно: «Впечатления сложные. Не понравилось, что некоторые ругаются матом». Понятно, в школе упускают теневые стороны действительности. Наверно, лучше было бы говорить им правду и заставлять искоренять то, чего не должно быть. Бойцов надо готовить, а не инфантильных критиков.

— Ты специально затягиваешь? — спросила Ия.

— Нет. Все одно к одному, — ответил Игорь. — Разговор с Валерой заставил задуматься. Работа не самоцель. Она должна прежде всего воспитывать людей. Каких? — этого я еще не знаю так глубоко, как следовало бы знать. Но информации об этом достаточно. Надо копнуть ее. Раньше я был слишком занят собой. Носил себя на руках и любовался собой — автор! Валерий прав, пора подумать об облике строителя. Я не понимал раньше, почему так настойчиво секретарь парт-организации требовал от меня стендов с наглядной агитацией. Валера белил потолок. Я отозвал его в сторонку и дал задание спроектировать стенд для наглядной агитации. Предупредил, чтобы готовил свои картины к выставке. А что, будет неплохо, если прямо в бытовках организуем выставку?

— Не томи, Игорь.

— Ия, ничего страшного не произошло, поверь. До того, как вызвал к себе Вагов, я разобрался с Буралкиным. Тот долго не давал знать о себе после взрыва...

— Какого взрыва?

— Это было давно, — успокоил Игорь. — Сегодня он бросал на шляпы прохожих гвозди. С четвертого этажа. Мастер, как всегда, много кричал. Когда я спросил его, кто работает над макетом корпуса, ответил, что Буралкин отличается с положительной стороны. И такие слова при мальчишке — «с положительной стороны»! В общем,

Буралкина направил под личный присмотр Родионова. Потом прибежала в ярком платье Лиза.

— Ты ничего не рассказывал о ней.

— Я заметил, что сегодня почему-то подходил к любому вопросу так внимательно, как, наверное, умирающий при ясном сознании пишет завещание. Я вдруг взлетел над заводом и увидел его и себя сверху.

— Что было у Вагова?

— Он показал приказ директора о назначении меня начальником цеха.

Ия откинулась на спинку кресла и тихо рассмеялась.

— Вагов напутствовал: не вздумай идти по пути Якова Стефановича. Я не понял сначала, при чем тут Яков Стефанович. Оказалось, он, когда Базанов болел, завел амбарную книгу, где подсчитывал коэффициенты поощрений рабочих. Рабочие сообразили и стали доить рубли из его системы. Организовали показуху, то, что можно было сделать днем, оставляли на вечер.

Ия встала, обняла Игоря и сказала весело:

— Ну, хватит. Я устала. Пора отметить твое повышение. Все шло к этому.

— Посиди. Я сказал не все, — ответил Игорь и объяснил: — Дело в том, что они назначили меня вместо Базанова. Я отказался, а когда Вагов закричал, тут же, в его кабинете, написал заявление с просьбой уволить меня по собственному желанию. Вот теперь ты знаешь все.

Ия села. Она пыталась скрыть радость, но не могла. Стала оправдываться:

— Теперь спокойно подготовишься и поступишь в институт. Работать я устрою тебя к нам...

— Вагов аннулирует приказ, вот увидишь. Только я знаю, как собирать интерьеры. В столярке замаркированы элементы шкафов-перегородок. Маркировка у меня в голове. Он будет вынужден...

Ия осмотрела обои на стенах, потолок и вдруг сказала:

— Мне, кажется, пора делать ремонт.

Игорь отвлекся от своих мыслей. Встал и прошелся по комнате, потрогал пальцами стены.

— Послезавтра начну.

— Надо найти обои.

— Посмотрим в магазине.

— Не спеши. Такие дела сразу не делаются. Для меня это событие, а ты приходишь и все нарушаешь: сделаем, готово, сегодня, завтра, — она смешно подняла руки и стала двигать ими, изображая наклейку обоев. — Самое главное не в ремонте, а в предвкушении новизны. Понял?

Она ушла на кухню. Приготовила мясо в остром соусе. Подумала весело: «Будет есть и прикидывать: хозяйственная, веселая, чистоту уважает... Просто околпачить мужчину, если он любит».

— Не думай, что готовлю вкусно каждый день. Потом не говори, что обманула.

— Когда потом? — спросил Игорь, вытирая салфеткой губы.

Наступило неловкое молчание. Он взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Встал, прошелся по комнате. Что-то сказал. Она ответила. Слова превратились в раздражающие слух звуки. Тогда они стали говорить тише. Скоро оказалось, взгляды передают настроение лучше. Последнее, что они сказали друг другу:

— Наверно, мне повезло, когда встретил тебя.

— Ты сомневаешься?

Тогда он встал и подошел к ней. Она поднялась навстречу. Даже свет под колпаком торшера казался лишним. Кто-то должен был дернуть за шнурок с янтарной подвеской. Он сделал это. Они прижались друг

к другу. Свободной рукой она нащупала янтарную подвеску и включила свет. Тогда он коротко произнес:

— Поехали ко мне.

Рваные тучи летели над крышами. Стекла окон с набрызгом от дождя были похожи на повешенную на просушку кольчугу.

Они перебежали пешеходный мостик над каналом и пошли к освещенной площади. Сели в трамвай и поехали на Петроградскую сторону.

— У нее давно теплится желание породниться, — сказал он.

— Ты скажешь ей о том, что бросил заявление?

— Не юмрачу вашего знакомства, — ответил он и горячо заявил: — Не сможет он уволить меня! Аннулирует приказ. Я влез в дело. По моим эскизам запущены элементы верстаков, мебели. Без меня они не соберут интерьеров...

— Не слишком ли ты влез в дело? — спросила она, приблизив лицо.

И только в трамвае, при нескольких свидетелях-пассажирах, она разрешила поцеловать себя.

ПОЕЗДКА

I

В пологе горели свечи, и не разобрать: вечер сейчас или день. Милют монотонно вдалбливал грамоту в Кеттыку, старуху, жену бригадира. Она по-русски едва понимала, а тут надо осваивать непонятные закорючки, научиться читать.

— Это буква «б», — в который раз повторял Милют. — Баржа, баклан, баран, берег.

Кеттыка тяжело вздыхала и покорно шептала следом за Милютом.

Грише было скучно. «Зачем ее обучать? Все равно старая, ничего не поймет». И знал, обучать надо: было постановление полностью ликвидировать неграмотность.

Гриша Петрунин жил в бригаде Кававтагина третий день, все ему здесь надоело. Вчера ездил в стадо, с восторгом и любопытством смотрел на оленей, да сколько же можно смотреть? Пастухи люди ничем не примечательные: едят, спят, на дежурство ходят. Тундровая романтика никак в них не проявляется, совсем погрязли в бытовых заботах.

Но поездкой Гриша был доволен: за последние годы никто из работников отдела культуры не наблюдал на месте работу красной яранги. Большое дело сделал,

такую справку напишет, что все удивятся. Хоть немногим больше полугода работает в округе, а жизнь оленеводов теперь знает неплохо, есть о чем рассказать на заседании исполкома. В блокноте записаны многие претензии пастухов к рыбооупу, к дирекции совхоза и к районному отделу культуры. Теперь у него единственная забота — скорее отсюда выбраться.

Удивительно, как люди годами живут вдаль от села, ни с кем не общаются. Развлечений никаких, только карты и шашки. Да приемник слушают, иногда листают свежие газеты и журналы. Кино смотрят раз пять в году, когда приезжает красная яранга.

Вот тот же Ронеко, каюр. Лежит молча на грязных шкурах и как будто доволен. Ничего ему больше не нужно. А человек замечательный, необыкновенный человек. Гриша вспомнил, как выезжал из села. Милют дал нарту, привел оленей: «Запрягай». Черт знает, как запрягать! Милют в сторону отошел, на Гришу никакого внимания. Нарочно это, чтобы показать: в тундре он хозяин, а Гриша обуза, хоть и представитель окрисполкома. Так и не подошел. Гриша обратился к высокому коряку, который сидел на своей нарте, готовый к отъезду. Коряк взял в руку длинную палку с колокольчиком наверху, зашагал к Гришиной упряжке, быстренько накинул ремни на оленей, объяснил, как ими управлять. И в дороге все о Грише заботился, поджидал, чтобы один в пути не сбился. Это был Ронеко — каюр красной яранги. Когда на стойбище приехали, стали чай пить, Ронеко вдруг обратился к Грише:

— Плохо быть слепой, — и выжидательно уставился на него.

— Да-а, плохо, — неопределенно протянул Гриша, не понимая, к кому отнести эти слова. Наверное, к себе, потому что он, Гриша, в тундре, дескать, как слепой. А может, коряк о себе говорит? Но он совсем не похож

на слепого! Гриша ведь видел, как он ходит, с оленями управляется. На всякий случай спросил:

— Это вы слепой?

— Ага, ага! Мы — слепой! — Ронеко словно обрадовался, что его поняли. — Слепой, совсем слепой. Тебя не смотрю, их не смотрю. Плохо так!

Сильно поразил тогда Ронеко Гришу, весь вечер не мог успокоиться, все расспрашивал. Надо же: слепой, а каюр! Его необходимо в справке отметить, может быть, в газету написать.

Теперь и к Ронеко как-то равнодушно относился, и неудобно было перед собой за это безразличие. Совсем скука одолела. Надо скорее выбираться!

Откинув шкуру, в полог просунул бритую голову бригадир Кававтагин. Сказал: «Амто!» — здравствуй! — потом влез на четвереньках. Сразу стало тесно, Гриша отодвинулся в угол. Кававтагин сказал несколько слов по-корякски, застенчиво улыбнулся Грише, взял в руки журнал. Милют, вытирая пот со лба, все еще твердил насчет буквы «б».

Наконец Милют закончил занятие. Обрадованная Кеттыка удалилась в тамбур, загремела посудой. Ронеко обратился к Грише:

— Ну, как, Гриша-начальник, понравилось у нас в тундре?

— Понравилось, — коротко ответил Гриша.

— Тундра хорошо, — напевно продолжал Ронеко, и лицо у него преобразилось от удовольствия. — Мяса много кушай. А желудок всегда как пустой, есть просит.

Гриша уже несколько раз хотел спросить у Милюта, когда же он собирается в село, но почему-то делалось неловко, и он молчал. Надо сейчас спросить, решил он, хватит тянуть. Милюту что? Ему здесь нравится, он местный, к тундре привык. Говорил, два дня пробудут в бригаде, но об отъезде и не заикается.

Когда Кеттыка внесла в полог столик на коротких ножках, Гриша заставил себя спросить как бы мимоходом:

— Николай Иванович, когда в село едем?

Милют зачем-то снял очки, протер:

— Понимаешь, Гриша, здесь недалеко еще одна бригада находится. Часа четыре добираться. Туда поедем, лекцию прочитаешь, пастухов посмотришь. День-два пробудем, и домой.

Гриша едва сдержался, чтобы не одернуть Милюта. Что за обращение! Какой он ему Гриша, он — представитель окружного исполкома. В селе Милют его по имени-отчеству называл, а здесь показывает свое превосходство. Ладно, быстро найдем на тебя управу, дай только выбраться. Подчеркнуто вежливо сказал:

— Ты ведь, Николай Иванович, обещал: два дня здесь, и в село. Мне некогда, надо возвращаться, к сессии справку готовить.

— Все это так, — решительно возразил Милют. — Но нельзя терять возможность показать пастухам кино. Мы едва их успеваем обслужить. А тут получается: окружной отдел культуры вместо помощи мешает. Поживешь с нами подольше, посмотришь, в каких условиях мы работаем.

Кеттыка внесла мясо и чай.

Сейчас Гриша особенно отчетливо замечал и следы пальцев на эмалированной миске, и несвежую тряпку, которой Кеттыка протирала чашки, и шерстинки, плавающие в бульоне. Недоваренное мясо отдавало мылом. Гриша, стараясь ни на кого не смотреть, подавляя брезгливость, съел кусок оленины, отодвинул миску. Ничего себе, попал в переделку! Сколько дней еще мучиться — спать на шкурах, задышаться в пологе, обогреваемом человеческим теплом, по утрам вытирать лицо снегом?

После обеда Гриша надел широкие лыжи, подбитые нерпой, отправился подышать свежим воздухом. Как бы литой из снега, хребет охватывал долину. Несколько облачков застряли в его зубцах и матово светились под низким солнцем. В первый день приезда Гриша мечтал: хорошо бы подняться на вершину. Сейчас об этом и думать неприятно: измотаешься, промерзнешь бесцельно, а если и взберешься, дальше увидишь те же горы и долины, что и от яранги.

Неумело закрепленные тонкими ремешками, лыжи соскакивали, жесткая узкая петля натирала пальцы. Гриша злился, дергал ремешки, наконец махнул рукой («крепления не могут толком сделать!»), вернулся к стойбищу.

На пустой нарте сидел Ронеко лицом к солнцу.

— Гуляй ходил, начальник? — спросил он, услышав шаги. Гриша удивился: как узнал по шагам? И был слегка польщен.

— Да, гулял, — ответил Гриша и пожаловался: — Не хочет меня Милют везти... А сам я дороги не знаю.

Ронеко повернулся к нему.

— Не понравилось у нас, заскучал? К матушке торопись?

— Да, срочно ехать надо. К сессии готовиться.

— Ничего, — утешил его Ронеко. — В тундре хорошо, привыкнешь. Поедем завтра к Хоянталану. Друг мой хороший, вместе оленьки пасли.

Гриша присел рядом:

— Расскажите о себе.

— О, сказку хочешь слушать?

— Нет, о вас, о себе.

Ронеко недоуменно ткнул себя кулаком в грудь:

— Про нас? Как раньше жили?

— Да, да!

— Весь мельгитане — русские любят сказку, —

медленно сказал Ронеко.— Спрашивают, старое время любят. — Вчера он рассказывал Грише про ворону, обманувшую пастухов. Гриша водил карандашом по бумаге. Ронеко знал: ставил он там знаки, по которым, как по следам, можно слово в слово повторить сказанное. Жаль, сейчас Гриша не достал ни бумаги, ни карандаш.

— Я тебе говорить буду про свой папа, отец. Сильный был у меня отец, я против него как пацанчик. Олени у него здоровые был. За одного три давали. Давно это было, меня не был, мельгитан не был. Американ далеко был, торговать приходил. Отец оленьки тренировал, зимой соревнований, спорт делали. Гонки. Приз делали: оленьки, шкуры лахтака. Был богатый, жадный пастух Лекле. Тоже хороших оленей имей. Стали на гонках соревноваться. Полдня беговали, отец первым пришел. Договаривались приз не делить, кто победы, тому доставайся. Нет, говорит Лекле, давай бороться, приз хороший, жалко. Долго боролись, отец снова победы. А Лекле, жадный, говорит, давай копьем биться. Долго бились, устал Лекле. Это у нас последний бой был...

Посидеть бы сейчас с отцом, поговорить, помолчать. Все отец понял бы, даже то, что самому Ронеко в себе непонятно. Скучно стало в последнее время жить. Хочется что-то сделать, а не придумать. Уже скоро старый станет, будет на кровати лежать...

— Да, сильный отец был. Мне говорил: спортом занимайся. Я спорт занимайся — борьба. Раньше Тавытин шибко боролся, часто меня побеждай. Потом я его побеждай и всех побеждай. Бегай я тоже, один, с другими нельзя. Они видят, куда беги, я — нет, сам с собой соревнуйся. К отцу бегай. Он в яранге жил, далеко. Тридцать, сорок километров. Утром к нему бегай, вечером домой.

Когда отец постарел и не мог работать пастухом, в селе не захотел жить. Поставил палатку на притоке

Пахачи. Там и люди понапрасну не мешали, и в любое время можно было сходить в село. Еще несколько семей жили рядом с ним. С женой (первой, которая умерла) Ронеко раза четыре навещал его. По привычке запоминал дорогу. Как-то вечером сидел на шкурах в землянке, водил напильником по металлу, делал стрелкала для оленей. Работа не ладилась. Бросил инструмент в ящик, вышел... Стояла тишина, в ней отчетливо слышались тоскующие стоны гусей, пролетавших вдали над сопками. Собака Хохле потерлась о ноги, заскребла лапами по земле. Ронеко ее тихонько оттолкнул: не до тебя. Непокойно что-то было и нехорошо. Себя стало жалко, гусей жалко. Себя потому, что в землянке сидит, гусей — что летят куда-то по холодному воздуху, тоскуют, не хотят с тундрой расставаться... Всю ночь ворочался, просыпался, что с ним редко бывало. Утром сказал жене:

— Пойду отца проведаю. Сам, один.

Она сильно удивилась, но перечить не осмелилась.

Тропа едва натоптана, а местами ее совсем не было. Ронеко шел медленно, часто щупая руками подмерзшую землю, искал слабые отпечатки следов. В одном месте сбился с дороги, не знал, куда идти. Никаких признаков следов, со всех сторон кочки. Ронеко растерялся, метался туда-сюда, ругал себя: зачем отправился без провожатого. Отчаявшись выбраться, приготовился было ждать, пока хватятся его и начнут искать. Насобирали сухой тразы, кое-каких веточек, развел костер, присел у огня. Сидел и думал: день, три, неделю можно здесь вот так проторчать, затосковал, заскучал. Может быть, и раньше кто-нибудь на стойбище направится. Подойдет, спросит: «Что, Ронеко, здесь делаешь? Тундру обогреваешь?» А тропа рядом.

Думал, думал, прикинул, какого направления держаться, и пошел. Странное дело: бодрость появилась,

уверенность. Он уже не искал тропу, шел по кочкам, через кустарник и добрался ведь в конце концов до протоки. Попробовал лед — тонкий, прогибается, потрескивает. Не позвал на помощь, лучше в холодной воде искупаться. Горячим потом прошибло, пока достиг другого берега.

Отцовскую ярангу найти среди других — простое дело. Вошел, поздоровался.

— А, молодец, Ронеко! — обрадовался отец. — Зови провожатого, зачем ему там стоять.

Сказал Ронеко, что сам пришел, похвалили отец с матерью. Заходили соседи, удивлялись, приносили подарки: кто кусок вяленого мяса, кто юколу или нерпичий жир. Ронеко день погостил, домой собрался. Мать провела по льду. До села дошел быстро, уверен был в себе, не колебался на каждом шагу.

— Отец мне моржовые подошвы дал. Две пары. С Чукотки привезли. Хорошие подошвы, долго носи. Торбаза рвутся, подошвы целые. — Ронеко помолчал. — Отец умирай, я оленей резал, большой костер разводил... Хороший у меня отец был...

Гриша уважительно смотрел на Ронеко и размышлял, кому труднее — слепому на улице города или Ронеко. На улицах машины могут сбить, но зато всегда кто-нибудь поможет, а в тундре? Здесь надейся только на себя. Невольно, как бы убеждаясь, что прекрасно видит, Гриша оглядел конус яранги, похожий на дымящийся вулкан, горный хребет, заснеженную долину без деревца, без кустика. Суровая природа, безжизненная, но, значит, привлекает она пастухов, раз не стремятся они в село. Да вот и Ронеко рвется в тундру, будто плохо ему в теплой квартире.

Кому что...

Гриша представил свою комнату. Они с Наташей постарались обставить ее поуютней. Гриша даже бегал

к председателю рыбокоопа, выпросил диван. Скоро Наташа вернется с работы, переоденется в домашний халатик, включит зеленый торшер. Ему так захотелось домой, что ни с того ни с сего выскочило:

— Отвезите меня в село! Я хорошо заплачу. Пусть Милют сам едет в бригаду.

— Не знай, не знай, — сказал Ронеко. — Движок надо везти. Ты с Милютом говори, он начальник. Я, конечно, вози могу.

«Конечно, — подумал Гриша. — Ничего не выйдет, придется терпеть». Хоть сам езжай. Безрассудство, пустые мечтания. Осталась слабенюкая надежда упросить Милюта, чтобы отпустил Ронеко.

II

Для Милюта нынешний год выдался неудачным. Весной учителя красной яранги Вьикавава избрали председателем сельсовета. Для Милюта это был удар. Несколько лет он старался быть на виду, добился отличной работы яранги. Несколько раз вручали переходящее Красное знамя, Милюта избрали депутатом райсовета. Все пастихи стали грамотными, все умели расписаться, всем были выданы справки о начальном образовании. Правда, в глубине души он сознавал, что ничего особенного не сделал: все лето жил в селе, зимой по настроению ездил в бригады, проводил кое-какие беседы, которые в отчетах именовал лекциями и устными журналами. Но работал он лучше других, так искренне считал. Сам кино демонстрировал, сам каюрил. За пять лет работы как-никак заслужил хорошую должность в селе. А выдвинули Вьикавава, которого самого еще нужно учить да учить. Представитель райкома сказал Милюту: «Такие люди, как вы, необходимы в тундре, чтобы резко улучшить культурное обслуживание оленеводов». «Что-

то мало желающих мотаться по тундре,— ожесточенно думал Милют. — Учителя забрали, киномеханик по полгода в больнице лежит, каюр и тот переметнулся разнорабочим в совхоз. Этому-то чего не хватало! Почти год болтался без дела. Вот и улучшай в таких условиях культурное обслуживание! Указывать все мастера».

Осенью директор совхоза немного испортил настроение. Думает, ему все позволено, хозяином себя в селе чувствует. Вызвал Милюта:

— Как ты смотришь, Николай Иванович, возьмешь Ронеко каюром? Все равно тебе вряд ли пока другого человека найти. Он раньше, говорит, каюром работал, в Пахачу за продуктами ездил, в какой-то экспедиции был проводником.

Милют не поддался Свиридову, наотрез отказался. А Ронеко все-таки принял, потому что другого человека действительно было не найти, а от этого хоть какая-нибудь польза будет. Если его рядом с собой держать, не собьешься с дороги. Правда, не любил он Ронеко, не понимал, почему его так перевозносят. В газетах писали не раз. Ну, рыбу ловит, когда-то продукты возил. Так любовью коряк это лучше делает. Разве от Ронеко больше пользы обществу? Конечно, нет. Ронеко деньги нужны, вот и лезет, куда не следует. На молодой женился, детей наплодил, кормить надо. Хватило же нахальства: слепому в каюры проситься! Да еще, когда отказал сперва, кричал, что он, мол, тундру знает лучше Милюта. Тут еще этого мальчишку Гришу прислали. Окончил институт и думает: больше всех понимает. Смех: в тундру собрался ехать, а оленей запрягать не умеет. Хочешь с жизнью пастухов ознакомиться — на здоровье, а я из-за тебя не буду свои планы менять: невелико начальство!

Вечером Гриша совсем удивил Милюта. Просит отпустить с ним Ронеко.

Милют недоуменно посмотрел на него: не шутит ли? Совсем не понимает человек, что это тундра, а не городская улица. Даже немного жаль стало Гришу: совсем парень затосковал, раз такое предлагает!

— Ничего, Григорий Петрович,— сказал ему мягко.— Потерпи немного. Понимаешь, жалко упускать такой случай: сразу две бригады обслужить. Ронеко, конечно, никак не могу с тобой отпустить. Собьетесь с дороги, замерзнете. О поездке без меня и речи не может быть.

III

Года четыре назад Ронеко стали платить пенсию, небольшую, правда, но на жизнь хватало. Жена работала уборщицей в детском саду, детей воспитывало государство, так что о хлебе и мясе можно было не беспокоиться. Летом Ронеко устраивался в госпромхоз ловить рыбу, подрабатывал жене на одежду и находил себе занятие. Зимой слонялся и проедал пенсию. Было спокойно и скучно. Хотелось движения, хотелось доказать себе и другим, что он многое может сделать. Осенью отправился к директору совхоза наниматься пастухом. На успех мало надеялся, — сам знал, что большого толку от него в тундре не будет, обузой не станет, правда. Директор уважительно поговорил, предложил рубить для конторы дрова. Ронеко обиделся: это слабые старики весь день стоят на коленях, тюкнут топором, высморкаются, снова тюкнут. А он здоровый, сильный. Тогда директор посоветовал обратиться к Милюту, которому нужен каюр для красной яранги. Милют долго ломался, всячески обижал, наконец согласился. Как будто не знал, что Ронеко ниже третьего места на оленьих гонках не занимал.

— Ладно, — сказал, — будешь следом за мной держаться, все какая-нибудь польза от тебя.

Когда сюда ехали, Ронеко старался не пропускать Милюта вперед, спорил насчет дороги, доказывал ему, что тундру знает, что олени его слушаются. В бригаде Ронеко чувствовал себя отлично, поговорил с пастухами о делах: о пастбищах, о погоде, об оленях. И показалось ему, что он снова живет в тундре, может пойти на дежурство, вернется усталым, продрогшим. А когда отправились в стадо на другой день после приезда, бегал по склонам сопки, направляя оленей в намеченное место. И даже кино в яранге с удовольствием слушал. Лежал в уголке после сытного ужина и слушал, как в динамике дребезжат странные металлические голоса. В селе в кино он не ходил, не любил, когда ему непонятно то, что ясно каждому пацану. Трогал руками холодную тряпку, удивлялся, откуда на ней появляются города, реки, машины.

А сегодня Милют сказал, что поедут в бригаду Хоянталана. Это совсем по душе: во-первых, ехать, а не сидеть на месте, а главное — встретиться с Хоянталаном, старым другом. Давно они знакомы. Хоянталан тогда совсем молодым был. Колхоз только организовали. Ронеко не взяли оленей пасти: слепой, мол, не справится. Хоянталан поговорил с председателем — Ронеко стал в его бригаде пастухом. Лучше всех его понимает Хоянталан, хоть и мало слов говорит.

IV

Когда Милют сказал, что о поездке с Ронеко нечего думать, Гриша смирился: в самом деле, разве может донести слепой каюр? «Отосплюсь, отдохну, — утешал он себя. — Еще пару лекций прочитаю. Ничего не поделаешь».

Ронеко по-корякски обратился к Милюту, сдерживая возмущение:

— Надо помочь парнишке. Домой хочет, по жене соскучился. Нельзя начальника обижать, плохо о тебе расскажет. Поеду, отвезу.

— Ты зачем вмешиваешься! — вскипел Милют. — Он-то ничего не понимает, ему лишь бы выбраться, вот и болтает чепуху... Как же я тебя отпущу? Сам ведь понимаешь... Случится что-нибудь — мне отвечать. — И примирительно добавил: — Ничего ему не сделается.

Ронеко горько усмехнулся: неразумный человек Милют. В одном селе живут, не знает, что ли: в прошлую зиму со всего округа пастухи собрались, оленьи гонки устраивали, и Ронеко получил третий приз — ружье. С ним и спорить нельзя, сам должен понимать. Не наступишь сейчас на поездке, будет Милют считать, будто Ронеко может только за чужой след держаться, а сам в тундре ни одной тропки не проложил. Начнет за руку водить, чтобы не заблудился. Как же с ним потом ездить?

— Я Гришу в село вези, — решительно сказал Ронеко. — Прикажи ему, Гриша, ты начальник, он тебя слушайся будет.

— В самом деле, Николай Иванович, — поддержал Гриша. — Раз он сам просится, отпусти его. Ты же говоришь, все равно аппаратуру здесь оставишь. На одной карте остальное увезешь. Я тебе серьезно говорю: из-за того что вовремя не попаду в Палану, сессия сорвется. У меня ответственное задание!

От возмущения Милют вскочил:

— Нельзя, нельзя! Он же... ничего не видит!

Ронеко ехидно сказал:

— Милют один боится ехать, заблудится. Оленьки растеряет. Ему каюрчик надо.

Милют хотел отругать и Гришу и Ронеко, а потом сразу решил: «А-а, пускай! Еще в самом деле пожалуется в исполкоме. Если придирается, то и в моей ра-

боте можно найти много недостатков. И зачем он напросился к пастухам, переписал бы отчеты, и ладно! Пусть едут, навязались на мою шею!»

— Хорошо, езжайте. Но, Григорий Петрович, на твою ответственность. Я тебя предупреждал, ты настаиваешь...

Гриша засомневался: вдруг Ронеко собьется с пути, будут они блуждать по снегам, пока не замерзнут. «Ерунда! Сколько мы с ним ехали, ни разу не заметил, что слепой. Не зря же каюром взяли». Завтра вечером будут в селе, потом самолетом до Тиличик, на другой день, если посчастливится, домой.

Милют прекрасно знал, что поездка несложная. Хороший ориентир — река. Если собьешься, надо вернуться к Пахаче (она издалека видна). А по льду, сделав, правда, огромный крюк, можно выбраться к селу. Так думалось, пока не вспомнил: Ронеко слепой. Пытался представить, как сам ехал бы с закрытыми глазами. Получалось: метров через сто запутывался, не знал, в какую сторону править. Черт его разберет, вроде пастухом работал, в гонках участвует.

У

Не впрягая оленей, Ронеко обошел ярангу, поставил нарту в ту сторону, куда надо ехать. Прошелся по следам, запомнил те, что нужны, следов вокруг стойбища много: и в стадо пастухи ездили, и за дровами.

— Может быть, передумаешь? — спросил Милют. — Снег будет.

— Нет, — ответил Ронеко. — Надо ехать, помогать начальнику.

Олени резво взяли с места, легкая нарта заскрипела, переваливаясь с боку на бок. Ронеко прикидывал, сколько метров проехали, а в нужном месте чуть дернул

левый ремень, чтобы олени и со старого следа не вырвались, и не повернули вправо, куда пастухи таскали карту за дровами.

Ронеко был весел и возбужден. Как и много лет назад, он самостоятельно ехал по тундре. Теперь уж Милют не будет считать его несмышленным пацанчиком!

Олени приспособились к бегу, дышали равномерно, с характерным похрапыванием. Иногда проваливались, сбивались, но тут же выравнивали шаг. Ронеко сидел, чуть приподняв голову, внимательно слушал, что происходит вокруг. Ничего не происходило, только, каркая, пролетело несколько ворон. Низко летели, слышно, как крыльями машут. Не боятся они оленей, да и людей тоже, если нет за плечами ружья. Ронеко достал из кармана папиросу, закурил. Курить он начал недавно, чтобы иметь занятие, когда делать нечего. Сперва никак не мог наловчиться прикуривать: все казалось — нос обожжешь. А когда опасаться, получается неладно. Отец приучил его ничего не бояться. Иначе не ехал бы сейчас на парте.

Ослеп Ронеко маленьким мальчиком. Стояли тогда на хороших пастбищах, долго не трогались с места. Стадо было небольшое, а отцу мороки много. Придет в ярангу, поест, чуть отдохнет и снова к оленям. Ждал отец, когда сын подрастет, станет помощником. А пока Ронеко, если есть охота, бегал за оленями, надоест — придумывал себе игры. Летом раскладывал камешки, пытаясь изобразить оленей, учился чаут бросать. Зимой в сугробах ковырялся, хижины строил из снега. Немного помогал матери: носил дрова, грел в котле снег, если не было поблизости ручья, поддерживал костер. Спичек тогда почти не видели, и огонь в яранге горел круглосучточно. Как-то Ронеко заигрался. День был солнечный. Мальчик бегал по зернистому снегу, воображал, что это сахар. В начале зимы отец привез с ярмарки ме-

шочек сладкого белого песку и сказал: «Это чакар». Чакар очень понравился Ронеко, но скоро кончился. Отец обещал еще достать, если встретится с торгующими мельгитанами. Он уже и несколько шкурок добыл для обмена. И Ронеко зачерпывал снег, пересыпал из руки в руку, думал: «Вот сколько отец сладкого песку привезет!» Опомнился, побежал в ярангу, костер еле тлеет. Погаснет — рассердится отец, не видать тогда чакара. Ронеко кинулся к костру, лицом приник к углям, дунул изо всей силы. Острая боль от попавшей горячей золы обожгла глаза, Ронеко завизжал, закрылся руками, упал на землю. Несколько дней исходил криком, мать прикладывала листья, боль утихла. Ронеко больше не видел.

Он стал всего бояться, не хотел выходить из полога. Во время кочевок держался за отца или мать. Лишь через несколько месяцев осмелился самостоятельно вылезать из яранги, но ни на шаг не отходил дальше. Только в пологе он чувствовал себя уверенно. Даже тамбур был чужим местом, Ронеко натыкался на жерди, долго на ощупь искал выход.

Маленький был, о будущем не думал. Что мог тогда понимать? Зато отец, наверное, очень переживал. Пригрело солнце, начал таять снег, а Ронеко все сидел в пологе, как медвежонок в берлоге.

Однажды отец взял его за руку, повел в тундру. С отцом Ронеко не боялся, хотя запинаясь о кочки, вис на сильной отцовской руке. Ступал нерешительно, отец не торопил. Шли, шли, Ронеко начал уставать, чего-то испугался, захныкал. Отец остановился, сказал непонятную речь и ушел. Ронеко понял: он остался один в тундре. Метнулся в ту сторону, откуда еще слышались шаги, запнулся сразу двумя ногами, упал. Поднялся — отца не слышно, только сухая трава шелестит. Много лет прошло с того времени, но до сих пор у Ронеко по сердцу

скребет, когда ветер играет сухой травой. Тогда Ронеко горько заплакал: от него хотят избавиться, потому что он слепой! Он вообразил, как найдут его мертвым, будут жалеть, что бросили, и еще безутешней зарыдал. Выплакавшись, побрел, спотыкаясь, падал, становясь на четвереньки, поднимался. Куда? Зачем? Надежды никакой не было. Порой его охватывал дикий страх, чудилось: со всех сторон тянутся огромные руки, хотят утащить в бездну тундры. Он вжимался в землю, дрожа всем телом. И полз, судорожно всхлипывая. Ослабел от страха и голода, был как побитый. По-ночному прохладно стало, когда уловил запах дыма. Случайно выбрался к стойбищу. Он не знал, что отец все время наблюдал за ним.

Каждый день отец выводил мальчика в тундру, заставлял находить дерево или какой-нибудь маленький ручей, искать дорогу домой. Несколько раз свалившись с откоса, Ронеко научился падать и перестал бояться. А то все время протягивал руки, казалось, будто рядом яма или острый сук, который непременно вонзится в глаз...

...Тундра пологими увалами спускалась к долине реки. Олени бежали легко, без напряжения. Ронеко притормозил, опрокинул нарту на бок, прошел вперед. Снял рукавицу, провел рукой по снегу. Вот они, вмятины от полозьев, ямки, оставленные копытами. Олени стояли не шевелясь. Любят они отдыхать. Нет для них большего удовольствия, чем замереть на месте, когда не гонишь, и бежать, когда нужно и есть силы.

Послышался бег Гришиных оленей.

— Гриша, правильно едем? — закричал Ронеко.

— Правильно.

Ронеко не шутил над Гришей, не знающим тундры, и не совета спрашивал. Ему хотелось, чтобы чей-нибудь голос сказал: все в порядке.

Полозья шуршали, олени потряхивали бодилами: дринь-дринь-дринь. Время от времени Ронеко опускал руку и на ходу трогал старый след. Иногда ему становилось скучно, и он заговаривал с оленями, тихо и почему-то по-русски втолковывал им, что надо хорошо идти, не лениться, скорее его домой привезти.

Где-то по сторонам широкой долины тянутся хребты. Ронеко это знал, потому что еще в селе расспрашивал знающих людей, где находится стойбище. Но хребты были слишком далеко и для Ронеко не существовали. Их нельзя вообразить — слишком велики. А маленькое дерево можно. Ощупаешь ствол, ветки, сучки, и ясно: похоже оно на рыбий скелет, воткнутый в землю, только мягкое и гибкое.

Ветерок, и прежде чуть заметный, стих. Лицо защекотали мохнатые снежинки, словно мухи лапками. Повалил мокрый снег. Плохо, подумал Ронеко, олени устанут, долго ехать будем. Может быть, до вечера и не добраться до села. Ему-то все равно, ночью, днем ли ехать, а олени измотаются.

Через каких-нибудь полчаса олени едва тащились. Ронеко стегнул элоэлом, они прибавили шагу. Снег теперь не скрипел под полозьями, а хрумкал, сжимаясь. Ронеко предполагал, что вот-вот должна быть низина с тонкой коркой наста. И верно: вскоре олени начали проваливаться, нарта оседала в зернистом снегу. «Ага, Милют! — Ронеко торжествовал. — Я не собьюсь, я знаю, куда надо ехать! Не маленький!».

VI

Олени Гришу не слушались. Когда хотели, останавливались, надоедало стоять — бежали легкой рысцой. Сам Гриша постеснялся спросить у пастухов элоэл, а Милют не предложил. Чего он злится! Завидует, что ли?

Самому надо было учиться, может, и работал бы теперь в окружном отделе культуры. Напрасно считается лучшим заведующим красной ярангой. Впрочем, никто его работу не проверял. Не решишь Гриша на эту поездку, так и ходил бы Милют в передовиках. «Теперь ты станешь на свое место», — торжествующе подумал Гриша. Ему льстило сознание, что именно от него теперь зависит репутация Милюта.

Гриша увидел, что Ронеко его поджидает. «Вот хороший человек! — растроганно подумал Гриша. — Без него сколько бы я еще мучился!» Подпустив Гришу на несколько метров, Ронеко крикнул:

— Не замерз? — И тронулся дальше.

Теперь Гриша не расстраивался от слабого хода оленей: Ронеко подождет.

Повалил снег, но Гриша на него не обратил особого внимания: в меховой одежде тепло, а вечером он будет в селе.

На Камчатку Гриша приехал меньше полугода назад. Задолго до распределения размышлял, что выбрать. Конечно, в Ленинграде не оставят, хоть три года подряд Гриша был членом институтского бюро. Решил начать путь молодого специалиста на Севере, где полнее можно проявить организаторские способности, а уж добившись там чего-нибудь, думать об устройстве в Ленинграде. После распределения ходил в героях: многотиражка поместила заметку, выступал в «Невской волне».

В Палане Гриша сразу стал ценным человеком. Организовал несколько кружков, университет культуры, рассылал по селам толковые разработки вечеров, устных журналов, лекций. Его приглашали на заседания исполкома, когда речь шла о культуре, с ним советовались в окружном комитете партии. Гриша знал, что он нужный человек, и это сознание его окрыляло, он не считался со вре-

менем, затратами энергии, не обращал внимания на материальное вознаграждение.

Жизнь сложилась удачно, не зря забрался в такую даль! Весной заведующий отделом культуры Юшин собирается в партшколу, его кандидатуру уже утвердили. А Гришу прочат на его место. Официально, конечно, не предлагали, но разговор в исполкоме шел. Перед командировкой подал заявление в партию. На собрании не успели обсудить, но, без сомнения, примут.

Олени резко увеличили скорость, начался спуск к реке. Упряжка неслась быстрее и быстрее. Олени проваливались, падали, нарта наезжала на них, они судорожно выдергивались из снега, убегали от нарты, еще более разгоняя ее.

«Разобьюсь!» — с отчаянием подумал Гриша, не в состоянии что-нибудь предпринять. Нарта чуть зависла в воздухе — Гришино сердце сжалось, он хотел было прыгнуть в сторону, но на такой скорости не осмелился. Полозья громко стукнули о лед, и стало тихо, как после невыносимого шума. Гриша оглянулся и вслух весело сказал:

— Ничего себе, с какой крутизны спустился! И все-таки усидел!

Всякий раз Ронеко нужно было делом доказывать, что он способен выполнить то, что могут другие люди, — рыбу ловить, таскать мешки, ездить на оленях. Один только раз мельгитане взяли его почти без спора. Шла большая война, люди голодали, всех колхозников отправили к морю ловить рыбу. В селе появилась экспедиция, которая искала что-то в горах. Ронеко наняли груз нести, костер разводить, палатку ставить. Много прошли тогда и по знакомым местам и где Ронеко не бывал ни разу.

Незнающие люди считают, будто Ронеко все равно, за сто километров находиться или за километр. Какая, мол, разница, если не видит... Большая разница: ручьи

и реки по-другому шумят, иные дуют ветры, по-особому пахнут травы и деревья.

Олени равномерно перебирали ногами, шуршал под нартой лед, присыпанный свежим снегом. Легкая, однообразная дорога. Ронеко едва не задремал.

Олени зашлепали по воде, Ронеко насторожился. Нехорошо ведет себя река, вода выступила поверх льда. Так часто бывает, когда после крепких морозов потеплеет. Ронеко приказал Грише держаться подальше. Выезжать на левый берег рано, можно сбиться с дороги, на правый — мешают скалы. Хотелось всюю погнать оленей, проскочить коварное место. А нужно потихоньку продвигаться вперед, слушая, нет ли полыньи на пути.

Имей Ронеко возможность знать, что делается на много метров вокруг него, он нашел бы, куда податься. А так неизвестность, в любой момент можно искупаться.

Ронеко снял малахай, внимательно слушая, не журчит ли открытая вода, и ругал реку:

— Нам к мамушкам ехать нада, ты не пускай, нехороший! Зря старайся, мы тебя обхитрим. Чего с тобой не тягаться: у тебя глаз нету, у меня нету! Ты сильный, я сильный.

Так он бормотал для веселья, а радоваться было нечему: вода поднялась выше половины копыльев. И в какую сторону ни сунешься, уровень не понижается.

Ронеко остановил оленей, задумался. Вперед ходу нет, надо выбираться в тундру. Не так просто получалось, как он предполагал, подвела река. Но не особенно расстраивался: к неожиданностям не привыкать.

Снег валил и валил, лохматые пушинки падали отвесно, сталкивались, издавая тихий шорох. Деревья и кусты покрывались мягким белым одеялом. Гриша смотрел на снег, радовался, что скоро будет село. Казалось, вот-вот за черными скалами откроются дома.

Когда поверх льда появилась вода и Ронeko свернул в тундру, он этому не придавал никакого значения. Правда, появились лишние неудобства! Снег глубокий, олени не в силах одолеть подъемы, и Гриша часто бежал, проваливаясь выше колен. Он не роптал, подбадривая себя, думал: «Зато скоро буду в селе, а там домой. Чудесно!»

Часа полтора нарта тащилась по ровному месту, временами опускаясь в овражки. На подъемах Гриша порядком умаялся, взмок. Настроение упало, захотелось есть, спать.

Впереди, то приближаясь, то удаляясь, маячила фигура Ронeko в черной с красными полосами камлейке. Он сидел прямо, как приклеенный, и по его виду можно было заключить, что он может ехать день и ночь, не зная утомления.

Гриша увидел, как Ронeko остановился, перевернул нарту, и был рад передышке. Ронeko бродил туда-сюда по снегу. Запнулся за кедрач, упал. «Что он там делает? — Гриша недоумевал. — Рядом чистое место, а он ползает среди кедрача. А-а, как же это я забыл, что он слепой!»

Ронeko долго бродил, разрывал снег руками, стоял неподвижно, словно к чему-то прислушиваясь.

Грише надоело ждать. Закралась беспокойная мысль: не знает Ронeko, куда ехать. И тут Гриша полностью осознал: Ронeko не видит, как он может ориентироваться, если и зрячему все вокруг кажется одинаковым! «Не зря, не зря предупреждал Милют! — тоскливо укорял себя Гриша. — Что теперь делать?» В голову лезли истории о заблудившихся в тундре. А солнце мутным пятном едва пробивалось сквозь снег. Должно быть, уже вечер, скоро ночь, а в темноте совсем невозможно отыскать дорогу. Гриша как-то не сообразил, что для Ронeko безразлично: день ли, ночь.

Как только свернули в тундру, Ронеко насторожился. *Надо было держать направление параллельно реке.* Это нелегко сделать: ветра нет, солнце не чувствуется, надо полагаться только на чутье.

Прошло много времени, и Ронеко усомнился: точно ли едет. Несколько раз он огибал поля засыпанного снегом кедрового стланика, и в это время мог сбиться с правильного пути. Он напряженно прислушивался, но кругом была глухая тишина. Да и что можно услышать: сейчас река безжизненна, шумные перекаты скрыты подо льдом.

Ронеко остановился. Не понимая, зачем это делает, заметался в разные стороны. Докапывался до травы, но ее длинные сухие волосы полегли в разные стороны. Он растерялся, как человек, внезапно оказавшийся крошечной ночью в незнакомом месте и боящийся сделать шаг. В какой-то момент даже показалось, что не найти оставленную упряжку и придется звать на помощь Гришу. Мелькнуло сожаление: напрасно ввязался в эту поездку, в яранге сейчас ужинают, скоро будут крутить кино... Но тут же устыдился минутного малодушия. Чего испугался? Река где-то рядом, Гриша, наверное, видит ее. Надо ехать. Олень тряхнул бодилом. Ронеко уверенно вышел на звук, стронул нарту. Теперь его беспокоило: не заметил ли Гриша колебаний?

Нельзя быть в тундре беспомощным. Это в селе бывает полезным иногда прикинуться. Чтобы не выстаивать в магазине длинную очередь, Ронеко уже на крыльце менял походку, совался то в одну, то в другую сторону, наткнулся на ящики, хватал руками воздух. Тогда кто-нибудь подводил прямо к прилавку, и завмаг Зарьян Степанович тут же отпускал продукты.

Олени устали, все чаще норовили остановиться. Ронеко подгонял их злоэлом, чтобы скорее кончилась неопределенность. Выбраться назад, к реке, а там можно

и о селе думать. Если, конечно, и здесь вода не залила лед.

Когда упряжка Ронеко тронулась, Гриша несколько успокоился. «Значит, умеет как-то, ничего не видя, ездить, — здраво подумал. — Иначе не решился бы». Под скрип нарты, равномерное шумное дыхание оленей одни представления сменялись другими. Ни о чем определенном не думалось, было покойно и хорошо. Как никогда раньше, Гриша был доволен собой, интересной поездкой, всем, что видел: снегом, пушистыми кустиками, оленями.

Сумеречный свет просачивался, казалось, со всего неба, солнца не видно. А когда нарты спустились к реке, заметно потемнело. Теперь Гриша был уверен, что село покажется с минуты на минуту.

Олени мелко заплясали на льду, нарту широко заносило то влево, то вправо. «Эгей! Эгей!» — возбужденно кричал Гриша и бил оленей сломанным прутиком. Вот-вот догонит упряжку Ронеко, которая огибала мысок. «Быстро я научился каюрить!» — возгордился Гриша.

Выехав из-за поворота, Гриша увидел нечто странное. Нарты не было, а сам Ронеко уменьшился наполовину. Прошло несколько секунд, прежде чем Гриша сообразил: Ронеко провалился. Он отчаянно тормозил обеими ногами, но скользким подошвам не за что было зацепиться. Спрыгнул не раздумывая, уцепился руками в нарту, олени успокоились. Тут только Гриша осознал, что и сам может провалиться в холодную воду. Сел было на нарту, поджал ноги, но сразу опомнился: надо выручать Ронеко. Хоть лед был крепок, Гриша осторожно волочил ноги. «Что теперь будет? Ронеко может замерзнуть! Надо костер! Что он там возится, почему не вылезает?»

Ронеко делал непонятные движения руками, наклоняясь, будто занимался утренней зарядкой. «Я тоже

могу искупаться, тогда наверняка замерзнем. Говорят, широкую доску надо. Доски нет, ничего нет. Я сам провалюсь, а ему ничем не смогу помочь». И потихоньку продвигался к опасности, хотя все в нем протестовало.

— Не ходи сюда, — спокойно сказал Ронеко. — Костер надо делать. Я купайся немного.

Наконец Гриша сообразил, что Ронеко хочет вытащить нарту.

Гриша кинулся на склон, несколько раз провалился среди кедрача, но сухие дрова не попадались. Он поднялся на самый верх и увидел дом.

Скатился к реке, взволнованно закричал:

— Дом! Дом!

Нарта лежала на боку, Ронеко счищал ножом лед с полозьев. С одежды стекали струйки воды.

— Должно быть, балаган, — сказал Ронеко. — Пастух делал рыбу сушить, продукты держать. Веди туда, там будем делать костер. Хорошая у меня жена Текле, крепкую шьет одежду, совсем мало воды пропустила.

VII

Гриша натаскал дров, наломал тонких веточек, положил на снег. Разодрал блокнот, смял в комок листы, в том числе исписанные. Не до записей сейчас: мокрый Ронеко возился в балагане — двускатном шалаше, крытом шкурами. Пока сюда дошли, его одежда замерзла и стеклянно позванивала.

Бумага вспыхнула, потлела и погасла. Намокшие ветки не брались огнем. Гриша без толку суетился, чиркал спички, досадовал на себя, но ничего сделать не мог.

Вышел Ронеко:

— Костер не моги разжигать? Ничего, Гриша-начальник, научиться будешь.

Пошарил возле балагана, нашел толстые жерди, положил на снег, из сухой палки наделал стружек.

— В тундре бумага не расти, — бормотал он, орудуя ножом. — Тундра дерево топить надо.

Через минуту бойко пылал костер, бесследно проглатывая падающие снежинки. Гриша носил и носил дрова. Вскоре темнота широко раздвинулась, высветив балаган. Ронеко развесил на жердях торбаза, конайты, кухлянку. От одежды валил пар. Ронеко поворачивался к огню то одним, то другим боком. Он молчал, лицо его было неподвижно-сурово, будто он знает нечто такое, что недоступно Грише.

В освещенном пространстве беззвучно и косо падал снег. Движение воздуха было едва заметно, и чудилось, будто ровное дыхание черной тундры сносит снежинки.

Ронеко прервал молчание:

— Нехороший река. Ключ теплый из земли бьет, ест лед. Ты к мамушке торопись? Ничего, шкур много, мягко, тепло будет спать.

«Сплоховал, — думал Ронеко. — Не довез Гришу». Трудно было винить себя: любой каюк может провалиться. Но этот довод мало утешал: с Ронеко спрос больше, чем с других. А тут еще этот балаган. Никто не говорил, что он стоит возле реки. Хотя что за редкость, чтобы упоминать о нем? Завтра будут в селе, теперь уже не собьется с дороги. Впрочем, он и не сбивался, только засомневался немного.

Поели мяса, выпили чаю. Ронеко закурил:

— Не понимай, зачем курить. Сам кури, а не понимай. — Он засмеялся. — Во рту костер маленький разжигай. Дым горький, противный.

Привязанные к жердям олени шуршали копытами, потряхивали бодилами.

Ронеко бросил окурок в снег:

— Иди спать, Гриша. Мне одежду суши надо.

Гриша неохотно протиснулся в балаган. Он задевал плечами за мягкие шкуры, отшатывался. Улегся и сразу почувствовал усталость. День представлялся очень длинным, наполненным событиями, хотя, собственно, ничего не произошло. Он пытался думать о работе, о том, что привезет новые данные о красной яранге, составит план улучшения культурного обслуживания оленеводов, но это представлялось мелким, ненужным. Помимо воли воображалась белая тундра, полынья с темной водой, высокая фигура Ронеко.

Мягкая темнота балагана давила Гришу. Он лучше выбрался бы к костру, но не решался. «Скорее бы пришел Ронеко!» Чтобы отвлечься, Гриша стал думать о жене. Зачем-то всплыла в сознании ссора. Ссорой даже нельзя назвать. Из-за плохо приготовленного обеда Гриша отчитал Наташу. Но причина была вовсе не в еде, а в том, что Грише захотелось показать свою загруженность работой, превосходство занятого важным делом человека. Сейчас это мнимое превосходство казалось смешным. «Приеду, я ей объясню», — подумал Гриша, не понимая толком, что же он собирается объяснить. Во всяком случае, что-то важное и новое. Ему тут же хотелось совершить нечто великодушное, доброе. «Посидеть у костра возле одежды, а Ронеко пусть ложится!» Но глаза сами собой закрывались. «Все равно он мне не разрешит...» Земля под ним опускалась, поднималась, будто он все еще ехал на нарте.

Ронеко долго еще поддерживал огонь. Брюки и ватник вскоре просохли, а меховая одежда все еще была сырой. О дороге он больше не думал: если ошибся немного, в пути разберется.

От костра исходило тепло, потрескивали дрова. Согревшись, Ронеко был доволен, что проведет еще одну ночь в тундре. Скоро приедут на каникулы дети — Павлик и Маша. Павлик учится в Палане на оленетехника,

а Маша в Петропавловске, в медицинском училище. Хорошая у них будет жизнь, легкая. Будут слушать отца, как он ездил в тундру, удивляться...

VIII

Утром снег перестал, ударил морозец. Гриша сам накинул упряжь на оленей, увязал нарту. Делал все уверенно, как опытный тундровик.

— Доволен, Гриша? — спросил Ронеко. — Сегодня в селе будешь, скоро с мамушкой будешь.

— Хорошо! — ответил Гриша, чувствуя моральную свежесть, душевную бодрость. Теперь все у него будет как-то иначе, лучше, добрее. В выяснение причин такого состояния он не вдавался.

— Эгей, эгей! — громко кричал впереди Ронеко. Берег по правую руку резко отзывался; постепенно угасая, звук катился вдоль скал, пропадал на другом берегу, пологом.

— К мамушке! К мамушке! — подбадривал Ронеко оленей, и они, будто зная, что скоро отдых, прибавляли шаг.

Ронеко вовремя уловил плавный широкий поворот, который делает река. Пора выезжать в тундру, сокращать расстояние. На всякий случай прошелся вдоль берега, нашел пологий подъем.

Упряжки медленно поднимались вверх по увалам, плавно скользили вниз. Олени сами выбирали, где им бежать. Они не дурные, чтобы влезать в кедрач, напрасно тратить силы. Между ними и Ронеко давно установилось взаимопонимание. Они не дичились его, хотя других пугались. Вообще Ронеко хорошо понимал животных. Может быть, потому, что нуждался в них: с плохо обученной собакой или строптивыми оленями пропадешь.

Гриша все отставал, упрямые олени не слушались. Порой по часу не видел Ронеко, но не беспокоился: по чужому следу легко ехать.

Когда, по расчетам, до села осталось недалеко, Ронеко остановился, снял малахай, закурил. «Вот и все, скоро дома. Текле обрадуется, не ждет так рано». Добившись своего, Ронеко не испытывал удовлетворения. Чему радоваться? Тот же Гриша, если ему хорошенько объяснить, нашел бы дорогу. Подъехал Гриша.

— Не слушаются оленьки? — участливо спросил Ронеко.

— Бью, бью, никак не идут...

— Ничего, сейчас заставим.

Достал длинный ремень, привязал Гришину упряжку к своей нарте. Нарты понеслись.

За всю дорогу у Гришиных оленей не было такой прыти. Он ничего впереди не видел, в лицо летели комья снега из-под копыт. Час-полтора длилась гонка.

Одолели высокий увал. Ронеко ждал, что скажет Гриша: если правильно ехал, внизу должны быть дома...

Гриша закричал:

— Село видно!

Ронеко отвязал его оленей. Теперь Гриша и сам доедет потихоньку. А ему надо гнать и гнать, приучать оленей и себя: скоро соревнования, а потом много раз будет ездить в тундру.

ПОСЛЕДНИЙ КОСТЕР

Тынанто вышел из палатки, когда уже стемнело. На западе, за длинным увалом, стыла синяя полоса заката, в долину спустился обманчивый мрак, в котором дальние деревья казались кустами, а кусты деревьями. Здесь, внизу, дул ровный северный ветер прямо в лицо, и Тынанто слегка опустил голову. Ему не нужно было часто смотреть ни по сторонам, ни под ноги: в этой долине он много раз бывал в прошлые годы, и в последние дни часто ходил к стаду.

Одетый в торбаза, конайты, ватник (кухлянка привязана к спине), он шагал спокойно и равномерно. Таким пастушеским шагом можно идти день, два, неделю. Дорога незаметно для глаза поднималась вверх, и когда он оглянулся, мутное пятнышко освещенной изнутри палатки было далеко внизу. Там возле свечей сидят его младший брат Коровье, жена Вувтыль, Вася Хутылин, молодой пастух. Мало народу, много приходится всем работать.

На минуту Тынанто остановился, опершись на гладкую легкую палку. Он не устал, просто почувствовал, может быть впервые, что он один в тундре, что через несколько минут пропадет в темноте огонек и вокруг

будет небо, дикие горы, ветер, снег. С непонятным ему сожалением он смотрел вниз, потом снова пошел вперед по твердому снегу.

Полоска заката погасла, небо светлело, наливалось голубизной, все определенной проявлялись из темноты деревья, кусты, склоны сопки. Из-за гребня горы ударил вверх желтоватый свет, и сразу стало видно, как по вершине ползут серебристые струйки: ветер гнал остатки снега. Вскоре выкатилась и огромная желтая луна. Ветер усилился.

Сотни раз видел Тынанто и эти горы, и эту луну, и распадки, чернеющие кедром и ольховником. Он о них как будто и не думал, смотрел и все, не стоят они того, чтобы обращать внимание. Но у него было такое чувство, будто видит все это в первый или в последний раз, и каждая мелочь помимо воли отпечатывалась в сознании. Вон ветка кедроча вылезла из-под снега, комки снега торчат на ней. На гребне камни чернеют оленьими головами. Когда-то давным-давно там забивали оленей, устраивали зимний праздник. Много народу собиралось, яранги ставили, костры жгли, мясо ели. Тынанто смутно помнил эти времена. Сейчас не сохранилось ни черепов, ни костей. Куда все делось?

Луна поднималась выше, наполнялась светом. Далеко вокруг стали видны островерхие горы, пологие сопки, вытянутые в длину увалы. Много раз бродил по ним Тынанто, отыскивая убежавших оленей. И там бывал, где небо сливается с землей, и много дальше. Тундра — родной дом, здесь родился, здесь все время жил...

Тынанто засмеялся про себя, вспомнив, как недавно обманул врачей и сбежал в тундру. Летом он себя плохо чувствовал, еле ходил, хотя виду не подавал. Сам пастбища разведывал, за отколовшимися оленями ходил. Но брата Коравье не проведешь. Летом он молчал, осенью, а зимой, когда пастухам полегче, не выдержали

начал настаивать, чтобы Тынанто отдохнул, полегил. Тынанто отнекивался, брат настаивал. Наконец, у Тынанто схватило сердце, два дня не мог подняться. Вася отвез его в больницу. Он и сам мог бы доехать, но хотелось, чтобы Вася побывал в селе. Скучает Вася в тундре.

В больнице его положили на железную кровать, кормили кашей, мяса мало давали, три раза в день больно кололи длинными иголками. Тынанто затосковал, ослаб. Терпел-терпел, как-то вечером накинуд на плечи чужое пальтишко, побежал к Ивану Выкававу, а утром взял упряжку и — в тундру. Вылечился, говорит. Коровье ругался, а что он может сделать? Тынанто — старший брат, к тому же бригадир, начальник... И сегодня вечером Коровье пытался отговорить брата идти в стадо: мол, больной, зачем лишний раз урабатываться. И помоложе пастухи есть. Не понимает Коровье: пока можешь ходить — ходи, иначе ты не пастух, а пенсионер... Нет, понимает, но брата жаль.

Впереди открылся хребет с острыми изломанными вершинами. Они угрюмо чернели, охватывая полукружьем ровное плоскогорье. Ветер дул с неослабевающей яростью, пронизывая насквозь ватник. Тынанто надел кухлянку.

Стадо паслось на склоне широкого распадка. Наметанный глаз пастуха в неясном свете сразу же различил оленей среди камней. Тынанто обошел стадо, выбрал место за большим камнем, улегся на твердый, застывший мелкими волнами снег. Поворочался немного и затих.

Свистел ветер, бросал в кухлянку камешки, а небо чистое и неподвижное. В воздухе ни снежинки, на плоскогорье ни малейшего следа поземки. Даже ко всему привыкшему Тынанто казались странными эта всеобщая ясность и неподвижность среди беснующегося ветра. Он

задремал. Сквозь сон слышал, как олени шуршат по камням. Было трудно дышать, не хватало воздуха. Проснулся в тревоге: казалось, что-то важное произошло возле него. Открыл глаза — по-прежнему свистит ветер, чернеет выщербленными вершинами хребет, ярко светит луна. Тело в липком поту, в груди ноет, словно попал уголек от костра.

Он поднялся, и на мгновение ему стало страшно: такой безжизненной, чуждой показалась белая, неподвижная пустыня, а небо — бездонным и близким. На луну натянулось прозрачное облачко, снег чуть пригас, и луна засветилась радугой. И это тоже показалось странным.

С оленями Тынанто никогда не чувствовал себя одиноким. Они были понятными существами. Так издавна повелось в тундре: человек живет для оленя, пасет его, бережет от волков, медведей, метелей. А олень дает человеку пищу, одежду, кров. Его смерть — для человека жизнь. Без оленя Тынанто не мог бы ходить по земле, смотреть на горы и небо. Какое же еще занятие мог придумать для себя коряк-мужчина, как не кормить себя, семью, других людей? Тынанто, сколько помнил себя, все при оленях — и в детстве, и в юности, и в старости. И самая большая радость для него, если олени здоровы, сыты, летом мало оводов, зимой — снег неглубок, много корма. Что еще человеку надо? Живи себе и радуйся, мясо ешь, чай пей.

Стадо переместилось ближе к хребту. Тынанто пошел следом. Сначала и ноги переставлял через силу, потом втянулся, забыл и про слабость, и про боль в груди. Он шел по крутому склону хребта. Снег крепок, как камень, в нескольких местах он едва не сорвался. А олени здесь свободно бродили, оставили вмятины. Спустившись на плоскогорье, Тынанто внимательно рассмотрел следы: кажется, несколько оленей убежали из стада. Не

зря же проснулся в тревоге, наверное сквозь сон уловил движение.

Олени убежали вправо от хребта. Тынанто присел на камень и долго всматривался в ровную белую равнину. Глаза слезились, вспыхивали радужные блики, однако среди темнеющих пятен ягодников Тынанто увидел несколько двигающихся точек. Олени. Он довольно рассмеялся: не подвели глаза! Могут еще лучше смотреть, чем у молодых.

Любой другой пастух, да раньше и сам Тынанто, высмотрев, куда завернули олени, успокоился бы на этом. Ночью все равно их не пригонишь назад. Но сейчас Тынанто не мог так поступить. Никто не должен замечать, что он больной и старый. Лучше лишнее сделать, чем недоделать. Он потихоньку направился к сопке, добрался до нее, когда луна начала меркнуть. Олени ходили высоко, почти у самой вершины, нечего и думать туда залезть. Завтра придет Коровье, вернет их в стадо.

Тынанто лег на ягодник, поджал ноги. Ветер трепал полы кухлянки, холодил тело, но Тынанто все-таки уснул.

Утро мрачное, неприветливое, луны и следа нет. Словно сгорела она, все засыпала пеплом. Тынанто продрог, был голоден, устал. Самое скверное для пастуха — подниматься утром после почти бессонной ночи. Может, и не самое плохое, но хорошего в этом мало.

Можно идти к теплой палатке, к горячему чаю. Тынанто передумал. Решил до прихода Коровье завернуть беглецов в стадо. Начал карабкаться вверх, как в бане себя почувствовал (бывал иногда). Какой уж тут холод, кухлянку снял, на спину привязал чаутом. Добрался до оленей, завернул в стадо, отправился домой.

Вниз хуже идти, чем вверх: плотный наст не пробивался даже палкой с острым наконечником. Тынанто

несколько раз, поскользнувшись, падал. Сильнее, чем ночью, ныло сердце. И хоть призывк Тынанто на боль не обращать внимания, когда ноги слабеют, поневоле заметишь.

Навстречу двигалась черная точка. Коровье идет на смену. Тынанто обрадовался, как будто месяц не видел человека. Старый стал, по людям заскучал.

Встретились, остановились, перекинулись незначащими словами. Зачем много говорить, если и без того все понятно? Лет десять работают в одной бригаде. Коровье давно бы стал бригадиром, но не хочет расставаться с братом.

Коровье пошел дальше. Тынанто немного постоял, смотрел ему вслед. Красивый брат: высокий, худой. Сильный, хотя тоже стар. Он всегда был сильным. Парнишкой тогда был он, Коровье. Стали замечать: худеет, ест много, а худой. Не заболел ли? Спрашивает отец — молчит, смеется. Наверное, через полгода узнали: на сопку поднимается и там занимается с бревном. Тяжелое бревно, обычному человеку не поднять, а Коровье с бревном на плечах бегал... И Тынанто тогда бегал — молодежь теперешняя так не сумеет. Сейчас мало кто оленя на бегу догонит.

Тынанто радостно встрепенулся, быстрее пошел, в ногах как будто больше силы стало: вспомнил пятнистого ездового оленя. Оленегонимый был, а вредный, строптивый. Из упряжки вырывался, в стаде плохо себя вел, все норовил убежать и других оленей за собой уводил. Надо было его хорошенько проучить. Тынанто все следил за ним, ждал. Как-то оленегонимый выбежал из стада и — в тундру, только снег из-под копыт. Тынанто схватил палку — и за ним. Догнал и на ходу давай колотить! Олень норовит назад повернуть, в стаде спрятаться. Не тут-то было, Тынанто гнал и гнал. Далеко убежали, все-таки олень вывернулся, кинулся назад. Тынанто —

следом, на ходу по пояс разделся, от спины пар валит. Хитрый ездовой язык высунул, чуть дышит, в стадо прячется. Не дали. Снова гонял его Тынанто до изнеможения. Понял олень: не убежать ему от человека, присмирел, стал послушным, как собака. И никто не удивлялся, что Тынанто загнал оленя... Как сейчас никто не удивляется, что Тынанто даже самого старого оленя не догнать...

Вернувшись в палатку, Тынанто разделся, присел. Жена Вувтыль молча поставила перед ним миску с мясом, чайник. Есть не хотелось.

Вувтыль сидела на корточках и сучила жилку. Необыкновенное терпение нужно, чтобы из тонких, как волос, сухожилий получить нить, которой не страшны ни морозы, ни вода. До сих пор еще Тынанто удивлялся ее терпению: сидит часами неподвижно, только пальцы быстро шевелятся. За день сделает жилку длиной с наконечник копья, а через месяц, глядишь, уже хватает подшить пары три торбазов. Вроде как пастух: идет себе потихоньку, шаги короткие, а за жизнь многократно истопчет всю окрестную тундру.

В углу Вася Хутылин лежит, читает книжку, крутит приемник. Молодой парнишка, ума еще мало. Если бы знал, что не всегда сила в ногах будет, не торчал бы на месте, торопился бы в тундру к оленям. А может быть, ему так лучше?

Тынанто, разомлевший от чая и тепла, задремал, тут же очнулся. Хватит, отдохнул, надо хоть дров заготовить. Он походил по леску, нашел сухую жердину, прищипнул. Здорово умаялся, хоть пустяковое расстояние.

Утром Тынанто еле поднялся, попил чаю и одетый прилег в углу палатки. Вувтыль чистила кастрюли, таскала

дрова, варила мясо. Тынанто было стыдно за свое безделье. Всегда он старался сделать больше всех. Глядя на него, и другие не ленились. Некоторые бригадиры любят кричать, приказывать, а Тынанто никогда не повышал голоса. Вот и Коровье часто бывает сердитым, выговаривает пастухам. «Станет после меня бригадиром,— думал Тынанто, — начнет командовать...» Он поймал себя на том, что уже не думает о себе как о пастухе. Да, теперь вряд ли снова станет здоровым и сильным. Если хватит сил пройти летовку, и то хорошо. Ходил со стадом по тундре, теперь уж не ходить, раз ноги не держат. Это естественно, как смена времен года. И все-таки это было грустно.

Когда Коровье вернулся, Тынанто лежал, закрыв глаза.

— Плохо? Заболел? — спросил брат.

Тынанто промолчал, и Коровье понял: совсем плохо дело, если Тынанто не возражает. Коровье присел рядом:

— В больницу надо. Поехали завтра?

Тынанто медленно покачал головой:

— Я здесь буду, я работать буду. В село не хочу.

Коровье пошарил в аптечке, подержал в руке паке-тик с длинным названием, положил назад: какие уж тут таблетки помогут! Лежать надо, не двигаться. А лучше бы в село, но пока сам Тынанто не захочет, его не уговорить.

Днем Тынанто засобирился, надел торбаза, встал, слегка пошатнулся, схватился за перекладину. Коровье недоуменно спросил:

— Ты куда?

Тынанто робко, словно не веря в серьезность своего намерения, ответил:

— Надо пастбища пойти разведать.

Коровье деланно сердито начал говорить: «Ты мне

не доверяешь, думаешь, я плохой пастух, в пастбищах не разбираюсь!» Немного поговорил в таком духе и понял: напрасно тратит слова, Тынанто так плох, что много ему не пройти.

— Не могу идти, — сказал Тынанто. — Отдохнуть надо. Завтра пойду.

Он выбрался на воздух, сел на аргиз — грузовую нарту. День был солнечный, небо синее. Еще неделис назад противоположный склон распадка был белый как бумага, а сейчас из-под крепкого наста кое-где выбились ветки кедрового стланика. Примерзшие к иглам комья снега гнули их книзу, но ветки упорно держались. Начало апреля, снег еще глубок, морозы сильны, но скоро весна, снег тает, вскроются реки, появится трава. Оленьи стада с молодыми телятами уйдут далеко, за сотни километров, к морскому побережью... Много раз водил их Тынанто, если бы еще хоть один раз побывать там! Почему сейчас так потянуло вдаль, ведь ничего нового он там не увидит, все знакомо до каждого ручейка, каждого дерева?

Весна будет ранней, на перевалах быстро сойдет снег, появится свежая зелень. Рано надо будет выходить, чтобы олени и во время кочевки были сытыми. Многие удивляются способности Тынанто угадывать погоду, некоторые старики чуть ли не за колдуна считают. А что здесь особенного? Надо всю зиму внимательно следить, какие ветры дуют, когда снег идет, запоминать сотни мелких признаков, и тогда будешь знать, когда перевалы очистятся от снега.

Весь день Тынанто чувствовал себя виноватым, как будто нарочно заболел. Вася вернулся из стада, спросил, как себя чувствует. Тынанто ответил:

— Ничего, должно быть поправлюсь.

А сам подумал, что, наверное, никогда не поправится, и как-то сразу понял: долго ему не прожить, вряд

ли даже придется ставить палатку на новом месте. Осознав это, он успокоился и не корил себя за безделье.

Он лег в углу, есть не мог. Подержал в руках кружку с чаем, поставил на шкуры. После ужина Вувтыль собрала посуду в таз, мыть не стала, молча села у изголовья мужа. Пламя свечей углубляло морщины на ее темном лице. Тынанто представил, как она, молодая, ловкая, выучит оленей, затягивает ремни... И увидел долину реки Ватыны, желтую, красную, синюю тундру и голубые горы. Тогда они кочевали с ней вдвоем...

Вася снова крутил ручку приемника, потом, словно испугавшись чего-то, выключил приемник, лег. Тынанто тихо заговорил:

— Подвел я вас, ребята. Теперь будете вдвоем. Вы ничего, старайтесь, работайте. Скоро Кечгилхот вернется, еще двух пастухов обещают.

Он рассказывал Коровье о пастбищах возле сопки Авталкын, называл распадки, где можно защитить телят во время метели. Брат эти места тоже хорошо знал, но, возможно, чего-нибудь не заметил.

— Завтра в село надо, — сказал Коровье.

— Все равно, — ответил Тынанто. — Можно в село... Ничего, поправлюсь, буду за вас работать.

Снова в палатке тишина. Никто ничем не мог помочь Тынанто. Коровье твердо решил везти брата в село.

Тынанто закрыл глаза. Слышно было, как за палаткой, шелестя, оседает снег, ветер набегает на вершины берез и шумят они, как волны на морском берегу... Он увидел себя ребенком. Яркий солнечный день. Отец утром подарил ему легкую нарту, дал большую ценность — ружье: «Привыкай к охоте». Тынанто запряг двух оленей. Теперь эти олени его. Отъехал от яранги и сразу увидел следы. Погнал оленей. Уже и вечер скоро, белая луна показалась, а он все ехал и ехал, ра-

достный, счастливый, возбужденный. В тот день добыл пять горностаев.

Он потихоньку запел хриплым, прерывающимся голосом. В тот день ему вместе с нартой подарили песню. Она по обычаю переходила из поколения в поколение, ее нельзя было забывать. С ней словно бы переходили от предков терпение, мужество, знания. Мелодия протяжная, унылая, как путь по ровной белой тундре. Тынанто пел и видел себя маленьким мальчиком, который только начинал свой путь...

Ночью Васю разбудил Коровье, коснувшись плеча. Вася подумал: «Опять на дежурство идти». Сейчас больше всего на свете хотелось спать, пусть там хоть все олени разбегутся по тундре.

Коровье сказал:

— Вставай. Тынанто умер.

Вася резко сел, все еще думал, что спит. В палатке горели свечи, у изголовья Тынанто, так же как и вчера, неподвижно сидела Вувтыль, похожая на большую серую птицу. Было холодно. Вася посмотрел на торбаза, висевшие на перекладине, и ему стало страшно. И почти сразу же понял, почему. Это были торбаза Тынанто, он узнал их по подошвам из нерпичьей шкуры. Торбаза висят, а Тынанто нет, он их больше не наденет. Вася старался не смотреть в тот угол, где лежало то, что вчера было Тынанто, бригадиром. И в кукуле лежит, как живой. Порой Васе казалось, что сейчас Тынанто проснется, торбаза наденет. Ведь в палатке все было как вчера, ничего не изменилось.

Долго все сидели молча. В окошке слабо забрезжило.

Дикий непрерывный вопль разорвал тишину. Вася с испугом смотрел, как Вувтыль вцепилась себе в

волосы, медленно раскачивалась и кричала. Начался древний обряд: человек не должен уйти от живых неоплаканным. Крик был такой первобытный, что казалось, не мужа оплакивает Вувтыль, а и всех тех, кто до него прошел по трудным белым дорогам и кому еще это предстоит.

Вопль оборвался. Коровье подал знак Васе. Они вышли из палатки, сели на аргиз, сделанный два года назад руками Тынанто.

Рассвело. На вершину увала лег свет солнца. Началась дневная жизнь. С дальней незамерзшей протоки доносилось кряканье уток, в лесу грубо свистели кедровики, каркали всроны. Вася вынул было папиросу, посмотрел на Коровье и сунул в карман. Хотя лицо Коровье было бесстрастно, Вася догадался, как тяжело он переживает смерть брата.

Они снова вошли в палатку. Тынанто лежал в белой одежде. На торбазах, конайтах, кухлянке ни одного пятнышка. Белый цвет — погребальный. Давно ли Вувтыль приготовила одежду?

Днем стадо пригнали к палатке, выловили двух самых крупных оленей. На них любил ездить Тынанто, сам их приучал к упряжке. Поставили другую палатку, прежняя теперь принадлежала одному Тынанто. И снова началась как будто обычная жизнь. Вувтыль готовила еду, выколачивала шкуры, мыла посуду, сучила сухожилия. Вечером рано легли спать.

На другой день рубили кедрач для погребального костра. Горьковато пахло набухающими почками, на срубленных ветках выступала душистая смола. Снег вокруг берез был усыпан сережками — семенами, которые прорастут в теплой оттаявшей земле. Васе никак не верилось, что Тынанто этого никогда не увидит.

Сложили высокий костер. Коровье вниз подложил много сухих веток, чтобы хорошо горел. К дереву при-

вязали ездовых оленей. Из палатки на оленьих шкурах вынесли Тынанто, положили на нарту, медленно потащили ее на увал, к костру.

В нарте было все, что нужно человеку в дальней дороге: топор, нож, ружье, чает и элоэл.

Нарту подняли на костер. Коровье подошел к оленям, с силой ударил копьём сначала одного, потом другого. Их впрягли в нарту. Молча постояли. Солнце тепло грело. На полозьях нарты подтаял снег.

Вспыхнул кедрач, поднялся дым, пламя лизнуло нарту. Тынанто лежал лицом к небу, и казалось, что он и после смерти едет по белой тундре к дальним сопкам, откуда тянулись по небу легкие облака.

Пламя взметнулось и ровно загудело.

«НЕ ВХОДИТЬ! ОПАСНО!»

I

В последнее время Двинину не везло: то и дело засорялись форсунки, ломались датчики, горели термопары. Словно какая-то злая сила всерьез хотела сорвать предстоящие испытания. Двинин ходил злой, ругался с прибористами, просил сделать новые термопары, требовал, чтобы повторно очистили продукт, заказал в цехе штук двадцать форсунок.

Иногда по пути в столовую на испытательный стенд заходил Вальтазар Павлович Рымша. Он прохаживался по тесной пультовой, заставленной приборами, вздрагивал при каждом новом запуске двигателя, но уходить не спешил. Посетить стенд Двинина хотя бы раз в день Вальтазар Павлович как руководитель группы считал своим долгом. Он хотел знать, чем заняты его подчиненные.

Двинин подбежал к пульту, чуть не сбив с ног своего начальника, и почти сразу же в испытательном боксе раздался оглушительный взрыв. За маленьким окошечком из оргстекла бушевало пламя. Постепенно уменьшаясь, оно превращалось в огненный хвост, а потом и совсем исчезло, и только раскаленное тело двигателя еще долго светилось в черноте бокса.

Ни Решетов, помогавший ему в проведении эксперимента, ни лаборантка Лидочка, ни слесарь Коля не замечали, как резко подскочила вверх кривая осциллограммы, и только у Двинина что-то задрожало внутри, когда он взял в руки мокрую, только что проявленную пленку: тяга двигателя, усовершенствованного по его рекомендациям, была намного выше.

Обычно часов в восемь Двинин выходил из проходной, шел пешком до городской библиотеки и сидел над книгами до закрытия. Здесь Двинин знали в лицо. Ему старались отпустить книги без очереди, выполнить его заказы быстрее, но Двинин этого не замечал и был уверен, что так было и будет всегда. Выйдя из библиотеки, Двинин пересекал многолюдную центральную улицу, в маленьком продуктовом магазине покупал двести граммов «тузика» и шел к вокзалу. Там он садился в электричку и через полчаса был дома.

С матерью Двинин разговаривал мало, неохотно отвечал на ее вопросы, и мать не таила обиды на сына.

Ей вспоминался он маленьким мальчиком, гонявшим тряпичный мяч вместе с другими мальчишками — тогда ее сын ничем не отличался от своих сверстников, разве что больше читал. Повзрослел он как-то сразу, в день смерти отца. Через три года после войны отец решился на операцию: в легких у него застрял осколок и бесконечный кашель не давал покоя. После операции он жил еще три месяца и умер в сознании.

С того дня сына словно подменили: он перестал улыбаться, замкнулся, забравшись на чердак, читал там до ночи, но по-прежнему каждый вечер приходил к фабрике встречать мать и молча шел к дому рядом с ней. С возрастом характер его почти не изменился. Возвращаясь с работы, Двинин торопливо ел, читая газету, и выходил на улицу. Он шел по тропинке вдоль железнодорожного полотна и нередко ловил себя на том, что

он уже на полпути к городу. Тогда поворачивал обратно.

Утром он надевал отпаренные матерью брюки, чистую клетчатую рубашку или свитер и, купив в привокзальном киоске пачку газет, бежал к электричке.

В лабораторию Двинин всегда приходил первым. Чуть позже появлялась Лидочка. Не снимая пальто, она зажигала настольную лампу, потом раздевалась и долго причесывалась перед зеркалом у дверей, красила тушью длинные ресницы, пудрила маленький носик и накладывала голубые тени на веки серых глаз, отчего глаза казались тоже голубыми.

Решетов прибежал в последнюю минуту, но никогда не опаздывал.

Сегодня Двинин спешил на стенд, чтобы провести очередную серию запусков двигателя. Он надел куртку и хотел идти, но вошедший в это время Рымша остановил его в дверях:

— Христофор Петрович, вы разве забыли, что сегодня у нас групповое собрание? Мы должны поговорить...

Говорить Рымша любит и умеет. Он может говорить по поводу и без него час, два, три, пока его не остановят или попросту не оборвут. Даже после этого как ни в чем не бывало может спросить: «Так когда же мы с вами теперь соберемся? Нам необходимо как следует поговорить о нашей работе, обсудить планы на будущее».

Ровно в десять группа была в сборе.

На низеньком сейфе, прикрыв рукой глаза и хмурясь от досады, сидел Двинин. Уже в который раз за этот месяц каждый из них рассказывал о своей работе. Когда очередь дошла до Двинина, он поднял голову и, со злостью глядя на Рымшу, сказал:

— Вы каждый день бываете на стенде. Можете посмотреть, что я там делаю. А сейчас мне некогда: завтра придут смежники.

— Ну, предположим, я знаю, чем вы занимаетесь сейчас. А дальше? Расскажите нам, что вы собираетесь делать дальше? До меня дошли слухи, что вы без моего ведома отдали заказ на изготовление барокамеры для вашей новой установки,—Рымша говорил не торопясь,—спешить ему было некуда, этого разговора при всех он ждал уже несколько дней.

— Да, я отдал заказ в цех. Его подписал Тарановский.

— Вы подсунули этот заказ в груде других бумажек. Тарановский просто не обратил внимания,— в голосе Рымши слышалось раздражение.

— Я не знаю, обратил или не обратил. Каждый должен отвечать за свою подпись,— пробубнил Двинин. — Нам нужна новая установка. И более точные приборы нужны. И барокамера. — Теперь Двинин говорил громко, лицо его раскраснелось, а густая каштановая шевелюра подпрыгивала в такт словам. — Новая установка нам просто необходима, — повторил он, сдвигая к переносице коричневые брови.

— Хорошо, положим, вы займетесь оборудованием нового стенда, хотя это ваше упрямство лаборатории дорого обойдется. Кто же, по-вашему, будет заниматься испытанием двигателей по договорам? Дядя? Вам не терпится проверить свои гипотезы, а мы из-за вас не выполним плана. Вы это хотя бы понимаете? Мы не сможем рассчитаться со смежниками, и, чего доброго, они просто не станут продлевать договор на будущий год. Вы можете — да так оно и будет — оставить без премии на целый год не только нашу лабораторию, но и весь отдел!

— Вы на меня не кричите. Мы с вами уже говорили на эту тему. Вы возражали. Я согласен: новая установка отнимет много времени. Но что главное, по-вашему: план, премия или надежность наших исследований? О какой же к черту надежности может идти речь, если мы обсчитываем пленки на глазок? Лида и Алла сидят над ними, не разгибаясь...

— Может, вы предложите построить межпланетную станцию специально для ваших опытов и приобрести ЭВМ для расшифровки осциллограмм? — насмешливо спросил Римша.

— Может быть... Главное — мы не должны ошибаться. Не мне вам объяснять, что наши ошибки могут стоить людям жизни.

— Все это понятно, Христофор Петрович. Ваши перспективы заманчивы. Но сейчас не время, понимаете? Не время, — говорил Вальтазар Павлович, постепенно успокаиваясь. Я не могу сорвать правительственный заказ по вашей прихоти. И пока руководитель группы я, вы будете делать то, что я требую. По крайней мере, в ближайшее время вы можете не рассчитывать на мою помощь.

— От вас помощи и не требуется, — отрезал Двинин.

— Я прекрасно вас понял: вы просто не желаете выполнять работу обычную, пусть несколько однообразную, но действительно нужную. А в заключение хочу довести до вашего сведения, что я отдал распоряжение отложить ваш заказ на изготовление барокамеры.

— Я не ждал от вас ничего другого. — Двинин встал и, с силой хлопнув дверью, вышел из комнаты.

— Кто-нибудь желает высказаться? — Щеки Римши покрылись нервным румянцем, и руки его, когда он протирал клетчатый платком стекла очков, заметно дрожали. — Нет желающих? — еще раз спросил Римша, но все молчали.

— Товарищи, — после недолгой паузы продолжал он, — как вы могли убедиться, дела в нашей группе идут неплохо. Мы провели ряд удачных исследований и получили результаты большой государственной важности. Да, да, товарищи, а что вы думаете, я говорю это вполне серьезно. И нечего усмехаться, Герман Степанович, — Вальтазар Павлович с укоризной посмотрел на Решетова.

Он говорил еще что-то, но все уже торопились обедать.

II

В обеденный перерыв в большом институтском вестибюле собирались любители настольного тенниса. Нине нравилось наблюдать за их игрой.

Чрезвычайно спокойно играл Вальтазар Павлович Рымша. Он тяжело бегал вокруг стола, выигрывая, громко смеялся и, довольный, потирал большие ладони.

Решетов играл страстно. Он замахивался для удара по маленькому теннисному шарикуну с такой силой, что иногда терял равновесие и чуть не падал, злился на себя за неточные удары и еле сдерживался, чтобы не ругаться вслух. Недавно Решетов обрился наголо в надежде на то, что волосы будут расти лучше, и теперь бритая голова с торчащими в стороны ушами выглядела комично, но это его ничуть не смущало. Сам же он признавал только красивых девушек и охотно беседовал только с ними. Однажды на лабораторном вечере от него не отходила довольно-таки милая женщина из группы химических анализов, и Решетов громко, так, что слышали многие, выпалил ей в лицо:

— Ну что ты все бегаешь за мной? Тебе ведь уже, слава богу, тридцать, а гордости ни на грош!

С бедной женщиной чуть не сделалось плохо...

Двинина не мог обыграть никто. После трех выигранных партий он, будто стыдясь своей победы, отдавал ракетку кому-нибудь из очереди и уходил в столовую. Но однажды он не ушел как обычно, а сел рядом с Ниной. Двинин все время поправлял съезжавшие на нос очки и, хотя явно собирался заговорить, долго делал вид, что внимательно наблюдает за игрой Решетова.

Нина исподтишка разглядывала этого смешного, не в меру застенчивого в отношениях с девушками парня. И что за имечко придумали ему родители — Христофор. Ни ласково не назовешь, ни грубо. Парням легче — зовут его по фамилии. Хри-сто-фор. И так всю жизнь. Хотя нет, ласково будет Христофорушка, похоже на «скворушка». Смешно!

— Нина, вам нравится ваша работа? — вдруг спросил Двинин и, густо покраснев, вернул на переносицу тяжелые очки.

— Все еще читаю старые отчеты. Надоело, — пожаловалась она.

— Серьезно? — удивился Двинин. — Что же вы молчите? (И Нина впервые разглядела его глаза — темно-зеленые и совсем круглые, с длинными ресницами.) Может, вас перетащить к нам? У нас работы навалом. И штатная единица освободилась...

— А кто мне разрешит?

— С Тарановским надо поговорить. Он мужик хороший.

— Я боюсь его.

— Если хотите, ходим вместе. Можно прямо сейчас, после обеда. Зачем время терять.

...Уже две недели Нина работала под руководством Двинина, и эти дни, заполненные до предела не легкой, но интересной работой, летели незаметно. Ей не хотелось вспоминать, как недавно она с трудом высиживала слишком долго тянувшиеся восемь часов рабочего вре-

мени, как иногда, читая толстые книги старых отчетов, она чуть не засыпала прямо за столом и каждое утро с тоской думала о предстоящем дне.

Теперь все изменилось. Двинин не щадил ее, и Нине нравилась та требовательность, с какой Двинин относился к ней как к инженеру. За две недели Нина освоила испытательный стенд и могла вполне самостоятельно подготовить очередной эксперимент. Это была именно та работа, о которой Нина мечтала еще в институте.

Единственное, что смущало и тревожило ее, — это отношения Рымши и Двинина. Христофор явно презирал Вальтазара Павловича и ни от кого не скрывал этого.

III

В тот день Вальтазар Павлович был в плохом настроении. Он открыл шкаф, внутри которого стояли измерительные приборы, и голосом, не предвещавшим ничего доброго, подозвал уборщицу Веру:

— Посмотрите, что здесь творится! Сейчас же все разберите и сложите как следует.

Потом Рымша сел за свой рабочий стол и начал переписывать содobyзательство, но вскоре и это ему надоело.

— Вера, почему вы не поливаете мой цветок? Смотрите, ведь он совсем завял, — укоризненно сказал Рымша, и, достав с полки колбу с питательным раствором, приготовленным по собственному рецепту, налил его в горшок с цветком. Вальтазар Павлович любил цветы и животных и относился к ним с трогательной нежностью.

— Я вчера поливала. — Вера подошла к столу Рымши и проговорила тихим виноватым голосом: — Просто не знаю, что мне делать. Опять дочка заболела. Сегодня я оставила ее с соседкой, а завтра придется снова

взять бюллетень. Может, мне лучше уволиться? — Было заметно, как у Веры трясутся губы.

Рымша медлил с ответом. Он перебирал на столе какие-то бумаги, пожелтевшую от времени таблицу с системой Менделеева, расписки, оставленные взамен взятых книг.

— Ну что вы, Верочка, не расстраивайтесь. Идите домой, девочки сами последят за порядком, — наконец проговорил он.

Когда Вера вышла из комнаты, Вальтазар Павлович достал из стола пожелтевшую фотографию и, не сдерживая довольной улыбки, поздравил Аллу:

— Посмотрите, каким я был в молодости. Хорош, правда? А усы-то — как у Буденного!

Алла внимательно разглядывала фотографию. Вальтазар Павлович вскочил со стула, наклонился над ней:

— Состарился я здорово, правда?

— Для своих лет вы чудесно выглядите, — не то посмеиваясь, не то всерьез сказала Алла, усаживаясь за свой рабочий стол, придвинутый вплотную к столу Рымши.

— Да, я еще молод, вы верите? Хотите, сделаю стойку? — Смотрите! — Рымша взялся за сиденье стула обеими руками и вытянулся в стойке. Брюки его съехали вниз, обнажив жилистые ноги в простых флотских носках, лицо покраснело, дряблые щеки опустились.

— Хватит, Вальтазар Павлович, это я уже видела, — не выдержала Алла.

— Ну что, здорово? — Рымша снова подошел к ней и, тяжело дыша, зашептал на ухо: — Поедемте вместе на юг? А? — Алла не успела ничего ответить, потому что в комнате появился командированный из Москвы и она, продолжая вычерчивать на листе ватмана схему установки, невольно прислушалась к их разговору.

— Значит, так, — говорил Рымша, — вы приезжаете и рассказываете обо всем своему начальству, а потом вызываете нас телеграммой. Мы — я и Двинин — прилетаем и делаем доклад, где подробно разъясняем, как и что. Идет?

— Хорошо, договорились, — заверил тот.

— Так не забудьте про телеграмму! — крикнул вслед уходящему Вальтазар Павлович. — Представляете, десять лет вместе работали, — обратился он к Алле. — И вот, пожалуйста, — уже доктор наук. Растут люди, черт возьми! Просит приехать, сделать доклад. Если Двинин не заартачится, как в прошлый раз, то вдвоем поедем.

— Он не согласится, ему некогда, я знаю, — уверенно сказала Алла.

— И откуда вы все знаете? — насмешливо удивился Рымша. Он любил бывать в командировках и, предвкусывая очередную поездку, находился в отличном расположении духа.

— А зачем это ему? У него есть дела посерьезнее, — сказала Алла.

— Подумаешь, тоже мне ученый! Не захочет — я один поеду. Люди просят, значит надо помочь, — обиделся Рымша.

Алла усмехнулась, но промолчала. Ей-то было известно, как опозорился Рымша, выступая с докладом в одной из организаций. Его просили рассказать о проведенных в лаборатории исследованиях, а он в течение часа пересказывал газетные статьи и не смог ответить ни на один конкретный вопрос по экспериментам на установке Двинина.

IV

— Все-таки удивляет меня Решетов, — говорила Нина, собираясь на НТС и неторопливо укладывая в большой портфель рабочие тетради. — Как он разговаривает

с Вальтазаром Павловичем — стыдно слушать, честное слово! Ведь он им в отцы годится.

— А что случилось? — спросила Алла.

— Они беседовали с Решетовым, и Рымша просто так, по-дружески, похлопал его по плечу. Так Решетов прямо побледнел от злости. Вы, говорит, меня не похлопывайте, я вам не девочка.

— Ну и молодец, — рассмеялась Алла. — Рымша привык с нами так обращаться, вот и нарвался.

— Послушай, Алла, за что они так его не любят? — Нина остановилась у двери и ждала ответа.

— За то, что он дилетант, а не ученый. Первое время Двинин спорил с ним по каждому пустяку: все доказывал свою правоту. А потом бросил — все равно бесполезно. Своего ума не вложишь.

— Не может этого быть... Ведь он кандидат наук.

— Ну и что же? Липовый кандидат. Такие тоже бывают. Говорят, его диссертацию ни в одном архиве не найдешь. Как в воду канула. Правда, она не по нашему профилю, но все равно, интересно бы посмотреть.

Совет закончился через полтора часа. Первым в комнату вбежал Рымша и с грохотом бросил на стол свой тяжелый портфель.

— Ну дурак! Ну идиот! — в бешенстве твердил он, быстрым шагом пересекая лабораторную комнату. Вальтазар Павлович изредка выходил из себя, и тогда подобные словосочетания сыпались у него без задержки. Чаще всего он ругал Двинина, теперь причиной его гнева было выступление Решетова на НТС.

Лидочка, Нина и Алла закрылись в фотокабине, — там можно было спокойно обсудить события дня. Двинин и Решетов стояли в коридоре и о чем-то тихо спорили.

Рымша выскочил за дверь, наткнулся на них и снова бросился в комнату. Его гнев не находил выхода, и Рымша постучал в фотокабину:

— Девушки, откройте, чем вы там занимаетесь?!

— Печатаем, — ответила Алла.

— Печатаете? Сразу все? — переспросил Рымша. — Ну откройте же!

— Нельзя, Вальтазар Павлович, вы засветите бумагу. Подождите минутку, я спрячу ее в пакет.

Рымша понемногу успокаивался. Он прямо из бутылки пил молоко и ел оставленный кем-то черствый пирожок.

Алла открыла дверь фотокабины и, мило улыбаясь, вышла навстречу начальнику. Эта женщина всегда действовала на Рымшу успокаивающе. Алла кокетничала с ним так же привычно, как и с молодыми мужчинами в лаборатории, и Рымше это нравилось. Он забывал о своих летах и о том, что мог быть уже два года на пенсии.

— Аллочка, поедemте на юг, к морю, — говорил Вальтазар Павлович в такие минуты.

— Что вы, разве меня отпустит Борис, — отвечала Алла, и Рымша верил, что если бы не муж, Аллочка непременно поехала бы с ним и что он как мужчина ей, безусловно, нравится.

— Так что там случилось на НТС? — спросила Алла безмятежным тоном, словно интересовалась прогнозом погоды на завтра. Рымша поперхнулся, вылил в раковину остатки молока и торопливо проглотил последний кусок.

— Представьте, Решетов — такой негодяй! Я подобрал ему тему, я написал ему замечательную характеристику: мол, умный парень, сдал все экзамены в аспирантуру на отлично. А он — на тебе! Ну не дурак ли набитый! Встал и говорит — это на ученом-то совете, где

Коржев, Малышев, Дробинин, — встал и говорит таким невинным голосом младенца: «Мне эта работа не под силу. Подобной темой должна заниматься отдельная лаборатория. И Вальтазар Павлович мне помочь ничем не может, он сам мало в чем разбирается». Вы представляете? Это меня так опозорить на весь институт! Да я здесь тридцать с лишним лет работаю! Не иначе, как Двинин его подговорил. Решетову самому до такого не додуматься.

— Да... — многозначительно протянула Алла и не нашла ничего лучшего, как выйти из комнаты.

У

Пленки осциллограмм были еще влажными, прилипали к рукам, и фиолетовые пометки на них расплывались, пачкая ладони.

Скручивая в рулон обработанную пленку, Нина думала о Христофоре: давно ли он казался ей совсем не симпатичным, а иногда и смешным из-за своей нелепой застенчивости, нападающей на него по временам. А теперь... Теперь ей тяжело уходить домой, если он задерживается на работе, и она долго бродит по длинному институтскому коридору, выложенному черно-белым кафелем, опасаясь попасться на глаза все понимающему Рымше. Дождавшись, когда Вальтазар Павлович уйдет, Нина возвращается в лабораторию, придумывая разные, наверное, совсем не убедительные предлоги, оправдывая свое возвращение, чтобы еще раз увидеть Двинина, его сосредоточенное лицо с глубокими не по возрасту морщинами на лбу и переносице, чтобы перекинуться ничего не значащими фразами и уйти, с нетерпением ожидая рабочего утра.

Нина сидела у окна, прижавшись коленками к горячей батарее. За окном качались обледенелые ветви де-

ревьев. Яркий фонарь освещал широкий институтский двор с протоптанными от одной двери до другой узкими дорожками.

Во всем институте, казалось, не было ни души, и только за дверью шлепала по кафельному полу мокрой тряпкой уборщица.

Двинин, как и обещал, вернулся минут через пятнадцать.

— Ты опять остаешься? — спросила Нина, когда он вошел в комнату.

— Что значит опять? — недовольно возразил Двинин. — Вчера мы ходили в кино, а сегодня мне нужно остаться. А ты что собираешься делать вечером? — спросил он уже мягче, чувствуя, что обидел Нину резкостью своего тона.

— Не знаю. Может, схожу на выставку польских художников.

— Ну давай. Если интересная — посмотрим еще раз, вдвоем, хорошо? — Двинин притянул Нину за уголки мехового воротника и поцеловал в обиженные губы.

— До свидания, — с усилием сказала она и прикрыла за собой дверь.

Двинин постоял у окна, наслаждаясь тишиной, потом достал статью, о которой думал весь день, и стал читать, делая на полях карандашные пометки. Прочитав до конца, он вспомнил о собственной незаконченной статье, которая должна войти в институтский сборник, и принял за нее. Писалось хорошо, как никогда.

И вдруг зазвонил телефон.

Двинин с досадой снял трубку. Его мысли прервали на самом интересном месте. Кто-то на том конце провода упорно молчал.

— Нина, ты? Ну что же ты молчишь?

— Я не могу уйти... Ты не сердись... Не могу, и все, — наконец проговорила Нина.

— Я не сержусь. Но ведь мы же договорились...— Двинин старался говорить как можно мягче, и все-таки Нина почувствовала его недовольство.

— Тогда извини, — сказала она холодно, собираясь повесить трубку.

— Нет, нет, подожди! — крикнул Двинин.— Я сейчас, только запечатаю комнату.

В длинном приталенном пальто и маленькой пушистой шапочке Нина была похожа на курсистку.

— Ты сердишься? — спросила она, смущенно улыбаясь.

— За что?

— Что я тебя позвала...

— Конечно, нет! — Двинин сказал правду.

— Ты злишься, я знаю. Но как ты можешь целыми днями сидеть в этой холодной комнате? Неужели тебе не надоело?

— Давай поговорим о чем-нибудь другом.

«Нет, он не любит меня. Действительно, я только отрываю его от дела, — думала Нина. — Но почему он не может понять, что это только сейчас, пока мы не вместе, пока мне совсем невозможно без него, пока он не муж мой».

Они сидели на садовой скамейке, и Христофор старательно закрывал Нину от холодного снежного ветра.

— Нельзя так, понимаешь? Нельзя. Иногда мне просто необходимо остаться, пусть даже поглядеть в потолок, но так, чтобы никто не мешал. — Двинин пытался заглянуть Нине в лицо, но она все ниже опускала голову. — Если когда-нибудь случится, что я буду убегать с работы по звонку, а вечерами сидеть в кресле и смотреть телевизор, я буду презирать себя...

Двинин с огорчением замечал, что мысли его в последнее время то и дело возвращаются к Нине, вытесняя все важное и нужное, над чем необходимо было

крепко подумать. Несмотря на то, что они виделись каждый день, им все труднее было расставаться. Уже несколько раз Двинин опаздывал на последнюю электричку и ночевал на вокзале, а днем после таким образом проведенной ночи у него буквально все валялось из рук. Дождавшись, когда Рымша выйдет из комнаты, он склонялся к столу и уже не мог открыть слипающиеся веки. Все это изматывало обоих. Двинин злился на себя за безволие и слабость, но при виде Нины злость мгновенно исчезала и оставалось одно желание — поцеловать ее, когда в комнате останутся они двое...

— Я мешаю тебе, — тихо сказала Нина.

— Нет, ты меня просто не понимаешь. Я думал, что у нас с тобой будет так: я занимаюсь своим, ты — своим делом. Иногда мы встречаемся и идем куда-нибудь вместе. А что получается? В понедельник мы сидели в «Кванте», вчера смотрели какой-то дурацкий фильм, а сегодня я чувствую себя совершенно опустошенным, — еще один бездарно потраченный день...

— Я все понимаю. Ты просто меня не любишь. Ты вполне можешь жить без меня...

— Глупышка ты моя маленькая, — Двинин достал из кармана платок и, вытирая слезы на лице Нины, поцеловал ее в глаза. — Ничего-то ты не понимаешь. Ну, так куда мы сегодня направимся? — спросил он бодро, вставая и подавая Нине руку.

— В картинной галерее тоже какая-то выставка...

— Нет, только не туда. Я был там недавно. Есть, конечно, картины, возле которых хочется постоять... Но тридцати процентам этих деятелей я бы дал лопату в руки — и пусть вкалывают, раз ошиблись в выборе профессии.

— Ты слишком жесток, Христофор.

— Нет, я не жесток, а просто трезво смотрю на вещи. В нашем мире под видом непонятых гениев живет

еще много приспособленцев. И не так-то легко заставить их по-настоящему трудиться.

— А в науке, хотя бы в нашем институте, ты считаешь, нет бездарей?

— Конечно есть, — согласился Двинин, — а еще больше не бездарей, а просто лодырей. Будь моя воля, я бы давно выгнал из института подобных «научных сотрудников», и мы за милую душу справились бы с тем объемом работ, что выполняем сейчас.

— А тех куда же?

— Как это куда? У нас станочников не хватает. Не хочешь честно трудиться инженером — иди на завод.

— И меня бы туда отправил?

— Тебя? Нет, тебя я никуда не отпускаю...

VI

Третий этаж. Дверь, обитая черным дерматином.

Двинин долго нажимал на кнопку бездействующего звонка, бил в дверь с какой-то тоскливой надеждой.

Минут через пять за его спиной неслышно появилась старушка в черном вязаном чепчике.

— Это вы стучали? — спросила она, внимательно разглядывая Двинина испуганными глазами.

— Да, я.

— Ниночка минут двадцать назад уехала на аэродром. Очень торопилась. В Москву к отцу полетела. Плохо ему или случилось что — не знаю. А ключи мне оставила на всякий случай.

Надо было уходить, но Двинин словно чего-то ждал, глядя в запыленное лестничное окно.

— А вы с работы или так просто? — любопытствовала старушка.

— С работы, — недовольно буркнул Двинин. Он не любил пустых разговоров и любопытных людей.

— Может, вы ее догоните. На самолете-то быстро, да к самолету далековато, — усмехнулась старушка и исчезла за дверью.

У стоянки такси толпился народ. Подъезжали свободные машины, и очередь быстро уменьшалась.

Двинин вдруг сообразил, что еще сможет увидеть Нину, что именно сейчас, сегодня, он должен проводить ее в Москву. Сесть в такси? Нет, в кармане только рубль, наверное не хватит.

Он бежал к Аэрофлоту, расталкивая прохожих, надеясь попасть на автобус-экспресс. И он успел.

Сидя в удобном кресле, Двинин долго не мог отдышаться, и его соседка всю дорогу чему-то улыбалась, косила в его сторону грубо накрашенными глазами. Не дождавшись, пока он заговорит, она спросила:

— Вы в Москву?

Двинин кивнул, чтобы избежать объяснений.

— Мы прилетим очень поздно. Просто не знаю, как я буду добираться от Шереметьева... А вы?

— Я на такси, — сказал Двинин.

— Можно мне с вами? — спросила девица кокетливо.

«Довольно нахальна, — подумал Двинин. — Во всяком случае, смела».

Он взглянул на нее: «Хороша. Именно потому и нахальна».

— Да, конечно, — ответил он несколько запоздало.

Его соседка по автобусу, к счастью, летела следующим рейсом. Двинину было не до церемоний. Облегченно вздохнув, он изо всех сил бросился к самолету.

— Ваш билетик, — задержал его мужчина-контролер.

— Пропустите, пожалуйста, мне очень нужно, — Двинин не умел просить, и слова его прозвучали почти дерзко.

— Уже поздно. Посадка закончена, — сказал бесстрастный голос.

— Я успею, я мигом!

— Ну бегите, шут с вами.

Встречный ветер мешал бежать. Летное поле казалось бесконечным, а самолет, у которого еще толпились пассажиры, не таким уж громадным. Двинин подбежал к нему в ту самую минуту, когда двое последних пассажиров поднимались по трапу.

— Позовите, пожалуйста, Анненкову! — крикнул Христофор.

— Кого? — переспросил военный.

— Анненкову, Нину Анненкову!

— Хорошо, сейчас, — пообещал военный, подавая билет стюардессе.

Нина без пальто сбежала по трапу.

— Христофор? — удивилась она.

— Что с отцом? — глядя в ее побледневшее лицо, спросил Двинин.

— Еще не знаю, — просто ответила она и, поеживаясь от холода, обхватила плечи руками, пытаясь согреться.

— А я думал, ты заболела... — Двинин притянул ее за плечи и хотел поцеловать, но, увидев стюардессу, отступил назад.

— Девушка, сию секунду поднимайтесь! — крикнула стюардесса сверху.

— До свидания, Христофор, — Нина торопливо пожала ему руку и побежала по трапу. — Через три дня я буду дома, а Рымше передай, что я прошу эти дни за свой счет! — крикнула она уже из самолета.

— Что там у Анненковой стряслось? — поинтересовался Рымша на следующий день.

Они сидели на лекции, которую читал молодой симпатичный пожарник. Он говорил увлеченно и страстно,

приводил множество примеров, но все в зале еле удерживались от смеха, пряча лица за спинками кресел.

— Так что с ней?

— К отцу вызвали телеграммой.

— Перед нами стоят три задачи: спасти граждан, их имущество, а про третью задачу я вам не скажу — все равно не поймете...

— Скажите, пойдем, — засмеялись в зале.

— А мать ее умерла от рака?

— Вы же сами знаете, — Двинин еле сдержался, чтобы не послать Вальтазара к черту, но тот не унился.

— Жалко девочку, если и отец умрет. Одна останется, совсем одна, — покачал он головой. — А замуж она не собирается?

— Я ее об этом не спрашивал.

— В Чехословакии, например, ни один праздник не обходится без нашего брата. Там любят и ценят пожарников...

VII

Рымша положил сетку с картофелем на пол и свободной рукой отыскал в кармане пиджака длинный зубчатый ключ.

Ему всегда было радостно возвращаться домой. Рымша не замечал того беспорядка, который с незапамятных времен поселился в их квартире.

Длинный коридор был похож на сарай, в котором скопились ненужные и давно забытые вещи. У самых дверей почти до потолка были сложены пожелтевшие пачки газет. В углу, у стены, валялся рюкзак, брошенный еще летом. Рядом с ним стоял раскрытый чемодан. Другой угол занимали две пары лыж с кожаными креплениями — каждый выходной Рымша и его жена отпра-

лялись за город. Из старого, потертого портфеля под вешалкой высыпались, да так и остались лежать на полу какие-то старые книги. Под раковиной, в алюминиевом тазике была свалена скопившаяся за неделю грязная посуда. В маленькой комнате, на диване, стояло ведро, доверху наполненное пшеном: крупа предназначалась для кур на даче.

Рымша разделся и прошел на кухню. Он заглянул в одну, потом в другую кастрюлю — пусто. Быстро налил картошки и поставил варить.

В комнате было душно и пахло пылью. Рымша открыл форточку и сел на диван с «Литературной газетой» в руках. Он всегда тщательно прочитывал «Литературку» от первой до последней строчки, предвкушая и оттягивая удовольствие от чтения последней страницы.

На резном пюпитре старого пианино стояли ноты: жена вот уже третий месяц разучивала «Лунную сонату». Оба они страстно любили музыку и даже брали уроки у соседа — студента консерватории.

Вальтазар Павлович поднял тяжелую крышку пианино и с удовольствием взял первый аккорд, но голод давал себя знать. Достав из портфеля двести граммов докторской колбасы и приготовив пюре, он с аппетитом поел и выпил чашку черного кофе.

Рымша с нетерпением ожидал прихода жены, чтобы рассказать ей о предстоящей переаттестации и о только что объявленном конкурсе на вакантное место начальника сектора.

Кто же, если не он, займет эту должность? Ведь не Двинин же! Не для него это место. Слишком молод и горяч, нос не дорос. И не умеет работать с людьми, — даже в опытном цехе жалуются на его грубость. И стаж невелик... А вдруг Тарановскому все же придет в голову блажь сделать Двинина начальником сектора? Ему

понравилась его диссертация. Тарановский все может. Не посмотрит на стаж, на опыт... Подчиняться Двинину? Он, Рымша, проработавший в институте тридцать лет, должен будет подчиняться мальчишке! — Рымша вскочил на ноги, и старые пружины дивана жалобно взвизгнули.

«Да еще эти социологи, — думал Рымша, — черт бы их побрал. И откуда их принесло не вовремя? Раздали анкеты и собираются с помощью дурацких вопросов определить «уровень организационного стиля» каждого руководителя. Да... Они могут подпортить дело. Наверное, не без их участия расформировали целую лабораторию... А вдруг припомнят выступление Решетова на НТС?»

Жена пришла в восемь. Рымша в одних носках заспешил в прихожую навстречу жене, торопясь рассказать о своих сомнениях.

— Валя, надень сейчас же, — увидев его на пороге, возмутилась жена и бросила к его ногам войлочные тапки. Потом, ссылаясь на головную боль, которая мучила ее последнее время, она исчезла в маленькой комнатке и не появлялась до вечернего чая.

VIII

Кто-то осторожно постучал в окно. Еще и еще раз. Двинин вскочил с кровати, подбежал к окну — ничего не видно. Темно. Натянув брюки и сунув босые ноги в сапоги, стоявшие у дверей, Двинин выскочил на крыльцо.

— Кто здесь? — спросил он негромко, боясь разбудить мать. Никто не отвечал. Христофор заглянул за угол дома: возле окна, прижавшись спиной к стене, стояла Нина.

— Ты уже вернулась?

— Только что. И сразу к тебе, — сложив лодочкой ладони, она дышала на замерзшие руки и грустно смотрела куда-то мимо Двинина.

— Пойдем в комнату, — он прижал к своему лицу ее холодные пальцы.

— Нет, что ты, я не пойду, — сказала она шепотом.

— Почему?

— Мне нужно домой. Я только хотела сказать тебе... что папа... умер...

Двинин сморщился словно от боли. Он не мог найти слов утешенья.

— Электрички уже не ходят, ты приехала на последней.

— Тогда пойду на вокзал.

— Не выдумывай, идем, — резко сказал Двинин и потянул Нину за руку.

— А что скажет твоя мама?

— Она спит крепко. Идем же.

— Нет, лучше проводи меня на вокзал. Я там посижу, а завтра вместе поедем на работу.

— Вот глупенькая, говорю — идем. Ну что ты, Ниночка, ну чего ты боишься? — он подхватил ее на руки и понес в дом. Растерявшись от неожиданности, она не сопротивлялась.

За стеной закашляла мать. Нина вся сжалась от страха и стыда и закрыла лицо руками.

— Не бойся, это она во сне. Раздевайся и ложись.

Нина быстро разделась и нырнула под теплое одеяло. Христофор сел рядом, глядя в ее усталое лицо. Ему хотелось расспросить об отце, о котором он ничего не знал, но сейчас говорить об этом было нельзя.

Нина лежала на спине, заложив руки за голову, и уже ничуть не стеснялась Христофора. Ему же никак не верилось, что это она, Нина, девушка, о которой он так

много думает последнее время, лежит в его комнате, на его кровати, и что, может быть, так будет всегда...

Теплый свет рефлектора освещал ее лицо. Двинин наклонился и поцеловал Нину в глаза. Она обняла его за шею, притянула к себе, и Христофор совершенно отчетливо услышал, как бьется ее сердце. Она гладила его по голове, а он, прижимаясь горячим лицом к ее плечу, боялся спугнуть ее неловким движением.

— Ложись, — прошептала она.

И усталость, и страх перед неожиданной доверчивостью Нины, и мать, шумно вздыхавшая во сне за тонкой перегородкой — все мешало ему. Нет, не такой представлял он себе их первую ночь...

— Уже много времени, через три часа вставать. Я пойду на диван, в ту комнату, ладно?

— Не уходи, — тихо попросила Нина, но Христофор уже не слышал ее.

Прошел час, а может, и больше. Нина не спала. Она лежала, боясь пошевелиться, и, сдерживая дыхание, прислушивалась к тишине. Ей не верилось, что Христофор может спокойно спать теперь, когда она рядом.

Дверь в другую комнату была открыта. Босые ноги мерзли на полу. Нина долго стояла на пороге, глядя на спящего Двинина, и вдруг, решившись, шепотом позвала:

— Христофор...

Но Двинин спал.

IX

Возле доски приказов у кабинета Тарановского собралась толпа. Стоявшие сзади напирали, подпрыгивали, стараясь разглядеть в протоколе заседания переаттестационной комиссии свою фамилию.

— Римше на двадцать рублей срезали...

— Правда? Вот это да!

— А мне пятерку добавили... Надо же, уважили...

— Рымшу здорово обидели, теперь наверняка на пенсию уйдет...

— Ну да, уйдет, ждите. Не тот человек: плохо ли ему за двести восемьдесят сидеть и ни черта не делать?

— Он монографию пишет...

— Может и дома писать.

— Вот Двинин позлорадствует...

— А при чем здесь Двинин?

— А при том, что он ждет не дождется, когда Рымша ему место освободит...

— Послушай, что ты мелешь? — Решетов вытянул из толпы высоченного дипломника в замшевой куртке и рубашке в мелкий цветочек и крепко взял его за локоть. Дипломник должен был работать под руководством Двинина на установке, но не являлся в лабораторию целый месяц, за что ему и нагорело от Христофора. Теперь парень припомнил обиду.

— Где ты эти сплетни собирал? Ну, говори! — лицо Решетова побледнело от злости, и парень, порядком испугавшись, отступил назад и поспешно зашагал прочь.

Решетов пошел следом, не выпуская его из виду. Поравнявшись с дипломником в маленьком сумрачном коридорчике, соединявшем два институтских здания, он угрожающе пробасил ему в самое ухо:

— За Двинина я тебе голову отверну.

Рымша сидел перед раскрытой рабочей тетрадью, пытаясь сосредоточиться, но мысли путались, ускользали куда-то, возвращались все к той же теме, — к тому, что он узнал сегодня утром.

Разве дело в этих двух десятках рублей? Конечно же, нет, думал Рымша. Это просто пинок под зад. Наверное, Двинина решили на мое место поставить. Это было ясно

до того, как Двинин, этот самонадеянный грубиян, стал кандидатом...

Неужто Тарановский забыл, как вместе создавали лабораторию, с трудом доставая оборудование, как травились во время опытов с новым топливом, или это уже не в счет? Ну ладно, пусть то уже в прошлом... А теперь? Чья группа впереди по объему договорных работ? Его, Рымши. Разве это не показатель? Надо идти к Тарановскому и спокойно (спокойно!), по-хорошему поговорить с ним...

Хотя что понапрасну тратить нервы... Не к тому ли клонил Тарановский во время недавнего разговора тет-а-тет. Вызвал будто по делу, а потом незаметно перевел разговор на другую тему: мол, расширяется отдел научно-технической информации — купили даже электронную машину, — и должен возглавить этот отдел энергичный, хорошо знающий современную техническую литературу по теме специалист. В общем, сватал... Теперь это ясно... Хотел легко избавиться.

И все-таки необходимо зайти к нему и выложить все начистоту.

А пока надо пройтись на стенд Двинина — давно не был. И посмотреть в лицо этому мальчишке. Неужели его не мучает совесть?

«Не повезло мне с учениками, — думал Рымша. — Быстро обогнали учителя, да еще и за дурака считают».

С первого же дня появления в лаборатории Двинин обратил на себя внимание своим ершистым характером: авторитетов не признавал, все делал по-своему, не терпел советов. И не поговоришь с ним как с человеком: только «да» или «нет» в ответ буркнет, слова лишнего не выжмешь. А если и удастся вызвать на разговор, то все равно чувствуешь, что он не видит тебя и думает совсем о другом, хоть и кивает головой в ответ. Странный парень, трудно ему придется в жизни...

Рымша встал, натянул на голову выгоревший черный берет и неторопливо направился в сторону стендов.

На клумбах, еще не засаженных цветами, цвела мать-и-мачеха.

Осторожно ступая по мягкой, жирной земле, Рымша сорвал цветок и сунул его в петлицу старого габардинового пальто.

Двинин был уже в пультавой. Не замечая Рымши, он копался в каком-то приборе, и на лице его не было ни тени смущения.

— Как у вас дела? — Рымша старался говорить спокойно, но голос его заметно дрожал. Он снял берет, машинально вытер им вспотевший лоб и сунул берет в карман.

— Вальтазар Павлович, я через час закончу, и мы с вами поговорим, хорошо? А сейчас мне очень некогда, — в словах Двинина слышалась не свойственная ему просительная нотка. Значит, чувствует свою вину, паршивец, с удовлетворением отметил Рымша.

— Что-нибудь случилось?

— Да вот двигатель что-то заело...

«Что-то заело, что-то заело, — передразнил он Двинина мысленно. — Засорились форсунки — вот и заело».

— Успеете к завтрашнему дню?

— Не знаю.

— Как это не знаете? Вы разве забыли, что завтра последний срок?

Не отвечая на вопрос Рымши, Двинин снял с осциллографа кассету, взглянул в сторону Решетова, застывшего в неподвижной позе возле запыленного окна пультавой, и, не посмея обратиться к нему с просьбой (опять чем-то расстроено...), сам понес кассету в фотолабораторию.

Рымша потоптался возле пульта, зачем-то постучал ногтем по стеклу самописца, может, пытался привлечь

к себе внимание Решетова, потом неторопливо вышел, думая о чем-то своем.

Прошлую ночь он почти не спал: одна навязчивая мысль не давала ему покоя; кажется, он нашел причину отказов двигателя, участвовавших в последнее время. И не кто-нибудь, а именно он, Рымша, докажет этим самонадеянным типам вроде Двинина и Решетова, что его предположение верно. Из центрального склада топливные компоненты поступают в чистом виде — здесь сомнений нет. В этом Рымша убедился лично, просмотрев сопроводительные документы и переговорив с аккуратной до педантичности женщиной из лаборатории химических анализов. А вот после заправки компонентов в стендовые емкости... Наверняка, уходя домой, эти деятели оставляют дренажные вентили открытыми, и ясно, что после такого хранения в топливе могут накопиться примеси, да сколько угодно. Мальчишки. Небось забыли, чему их учили в школе: в воздухе кроме кислорода с азотом и воды порядком... Пойду, проверю, и уж если окажусь прав, то этого дела так не оставлю... А к Тарановскому надо зайти сегодня же, именно сегодня... Он собирается в командировку, и нельзя упустить момента.

Заставляя себя не думать о предстоящем разговоре с Тарановским, Рымша подходил к боксу. Он поднял голову вверх, прикрыв усталые глаза, и несколько секунд простоял так, растроганный теплом майского утра.

Сегодня, сейчас он докажет всем, что, несмотря на свои шестьдесят два, он еще неплохо соображает, по крайней мере, не хуже, чем эти молодые люди, возмнившие о себе бог знает что. Сейчас... Сейчас...

Рымша почему-то медлил (слишком теплыми были лучи весеннего солнца), но сердце его радостно стучало, предвкушая победу.

Дренажные вентили должны быть, кажется, в левом углу, сосредоточенно вспоминал он. Не замечая железной таблички с грозным предупреждением «Не входить! Опасно!», Рымша с трудом приоткрыл тяжелую дверь и долго стоял на пороге, пока глаза, ослепленные солнцем, не стали различать контуров двининской установки.

Спотыкаясь о лежащие на полу резиновые шланги и задевая трубопроводы, он дотянулся до штурвала вентиля. Ну, конечно, открыт! Ишь как легко поддается.

Присев на корточки, Рымша с силой повернул вентиль влево. В то же мгновение что-то холодное брызнуло в лицо. Сбросив очки, он машинально прикрыл глаза ладонью руки, отшатнулся, но здесь струя пахучей жидкости снова настигла его. Он почувствовал во рту отвратительный металлический привкус кислоты, от которого перехватило дыхание. Ноги его подкосились, и, обесиленный болью, Рымша сполз вниз по станине, ощущая лицом ее холодноватую поверхность...

Словно стряхивая с себя оцепенение, Решетов отошел от окна. Голова болела все сильнее (опять переутомление, скажет врач). Пульсирующая боль быстро нарастала и при малейшем движении молнией ударяла в висок. Решетов достал из внутреннего кармана пиджака большую таблетку пятерчатки — он всегда носил с собой это лекарство — и с отвращением проглотил ее, но таблетка застряла в горле, и это действовало на нервы.

Запить бы, подумал он, в цехе есть газировка. Натягивая кепку, Решетов по привычке заглянул в маленькое окошечко из бронестекла, сквозь которое просматривалась часть бокса, и не поверил своим глазам — там был Рымша! Установка под давлением, может рвануть, и... прощай, мама!

Решетов забарабанил по стеклу кулаками, но Рымша не обернулся, наверно не слышал стука и по-прежнему неподвижно сидел спиной к нему в какой-то неестественной, очень неудобной позе, обхватив станину руками.

Предчувствуя беду, Решетов выскочил из пультавой, на какую-то долю секунды задержался перед красным сигнальным фонарем над дверью бокса — в ярких лучах солнца его свечение было почти незаметным — и в тот момент, когда он хотел вбежать в бокс, резкий окрик Двинина, мчавшегося к нему со стороны цеха, остановил его.

— Ты что, рехнулся? — накинулся на него Двинин, отталкивая его от двери и тяжело дыша после быстрого бега.

— Рымша там! — выпалил Решетов.

— Противогаз надень! — не своим голосом рявкнул Двинин, и, когда Решетов, не смея послушаться, кинулся к пультавой, он рванул дверь бокса и, уже не думая об опасности, бросился туда...

Кое-как натянув противогаз и захватив второй для Двинина, Решетов через несколько секунд был в боксе. Вдвоем они подняли обмякшее тело Рымши и вынесли на улицу. Они положили Рымшу на теплую, прогретую солнцем асфальтовую дорожку, Двинин снял рабочую куртку и осторожно подsunул ее под голову Рымши.

Со всех сторон к ним уже бежали люди. Кто-то протянул Двинину колбу с дистиллированной водой, и он дрожащими от волнения пальцами обмыл обожженное кислотой лицо Рымши.

Он впервые так близко видел своего врага — каждую морщинку, каждый седой волос... Врага? Какая нелепость! Разве это враг — такой беспомощный, с лицом, искаженным болью, и с этим желтым цветком мать-и-мачехи, поникшим в петлице выношенного пальто... К врагу бы ты не почувствовал такой щемящей, отчаян-

ной жалости, такой боли, словно не его, а твое лицо обожгло кислотой... И сердце не скулило бы от тоски и бессилия чем-то помочь, как тогда, много лет назад, у постели умирающего отца...

Скрипнули тормоза санитарной машины, людское кольцо разомкнулось, молодой врач склонился над Рымшей.

— Жив? — шепотом спросил Двинин, побелевшими пальцами сжимая колбу с водой, словно в ней заключалась последняя надежда.

— Пульс есть, но очень слабый, — хмурясь, ответил врач. Он сделал знак санитарам, те легко подхватили носилки и понесли их к машине. И когда дверь машины захлопнулась, перед глазами Двинина вдруг поплыли черные круги, а в голове зашумело так, словно там открылись клапаны сжатого воздуха и он с шипеньем выходит наружу.

Двинин остановился, чтобы не упасть, постоял, пока черные круги исчезли, и, преодолевая какую-то невероятную усталость, поплелся в лабораторию.

ЧП ДЛЯ СЧАСТЬЯ

— Всякий раз, надевая комбинезон, я спешил. Затянув последнюю «молнию» и закатав для пушкого шика рукава, выходил в коридорный сумрак. Стало ритуалом этих минут, словно невзначай, встречать в коридоре Нинку. Полгода назад мы кончили одну школу, а теперь и работали на одной фабрике. Она — в ткацком цехе, я — дежурным электриком.

Метров двадцать мы шагали — просто попутчики — рядом. Две-три улыбки, две-три незначительные фразы... Дальше пути расходились. Ей на пятый этаж, мне — на первый, на подстанцию.

Подстанция — двусветный зал — встретила сухим теплом, едва уловимым электрогулом. Двое монтеров вечерней смены находились в стартовом состоянии: умыты, причесаны, в пиджаках. Чисто прибран стол и запасник, аккуратно открыт «вахтенный журнал» с концевой фразой «дежурство сдали» — и подписи.

Времени — 23 часа 55 минут.

Старший монтер нашей смены Капустин вот-вот должен прийти. Он любил появляться тютелька в тютельку.

— Мы ушли, а то не успеть на транспорт, — заторопились вечерники. — Счастливо тебе!

И каждый трахнул меня по спине. Я изловчился ответить. И они исчезли из зала.

Тихо, пусто, светло. За огромными окнами — темнота, ночь. Стегают по стеклам порывы ветра с дождем. И от этого на подстанции кажется еще уютнее и теплее. Вдоль стены под окнами тянется светлого мрамора распределительный щит. Приборы, приборы, рубильники и цветные сигнальные лампы. На первый взгляд все это кажется хаосом, если не знать секрет, как говорит Капустин. Щит — десятки одинаковых секций, аналогичных приборов. Просто — каждая секция для своего цеха. И все вместе они создают бархатистый высоковольтный гул. Но для привычного уха этот гул — как полная тишина.

Центр зала совсем пустой, хоть катайся на велосипеде. А наш скромный столик — у противоположной стены. Над головой висят электрочасы.

Ноль часов, ноль минут. «Дежурство приняли...» — записал я в журнале и отложил ручку. Капустин сам подпишется. «...Все спят... все спокойно». — Это я вспомнил размеренный голос ночного сторожа из спектакля и улыбнулся. За окнами — тишина. Патриархальная городская стража осталась в средних веках. Даже телефон молчит. Как отрезанный. Снял трубку. Нет, работает. Я послушал живой гудок, набрал 08.

— Ноль часов, четыре минуты! — ответил бессонный голос. Странно. Капустин всегда отличался точностью. А вдруг не придет? И тогда... Я раз-меч-тал-ся. Тогда всю ночь одному дежурить. И у пульта, и у главного распределительного щита. Может, придется спасать подстанцию от аварии... А утром, когда является вся бригада и начальник цеха, оркестр играет туш, все аплодируют и увенчивают меня чем-нибудь таким лавровым.

Стрелка электрочасов шагнула. Десять минут первого. Чтоб не искушать судьбу, я выбросил эти красивые

картинки из головы. Насвистывая, достал отвертки, плоскогубцы с резиновыми ручками, индикатор, прибрал по ящикам электровсячину, закурил.

На часах пятнадцать минут. Ночью нет лучше чем закурить. Когда охота спать и во рту пресно, это именно то, что нужно. Сигареты должны быть крепкие, но в меру, чтоб к утру не позеленеть, и достаточно терпкие, но без едкой горечи.

Было двадцать семь минут первого.

Вот и сбылось! Теперь уже не придет. До семи — ура! — я остался единственным электриком на всю огромную фабрику. Тысячи двигателей, автоматика, пульта... и главный распределительный щит. Я совсем другими глазами, недоверчиво, оглядел щит. Сразу припомнились разговоры, что щит пора менять. Он работал на пределе мощности. И тут мне стало не по себе. Стрелки приборов вроде коварно зашевелились, словно заваливаясь на красные сектора. Я прошел вдоль строя рубильников. Резиновая дорожка скрадывала шаги, вызывая ощущение нереальности.

Вот три вольтметра — ткацкий. Пока нормально. Но не зря все дежурные побаивались за цех. Он забирал всю возможную мощность. Десятки новых станков постепенно съели резерв. Кабель на пределе, предохранители — выше нормы. Запаса прочности, как называют это строители, нет и в помине. Или вот... Приборы стерегут заземление. Стоит двум фазам где-нибудь пробить изоляцию — сразу короткое замыкание, «вылетает фидер», и минуты простоя цеха, пока найдешь и устранишь причину. За это такое спасибо скажут! Мысль о лаврах как-то потускнела, больше того — совсем перестала быть соблазнительной. Хоть бы пришел Капустин. Опоздал, но пришел. До чего покойно быть за спиной у старшего, хорошо, приятно дежурить, никаких тебе забот, страхов... Звякнул телефон. Началось!

Первый вызов был пустяковый: над третьей линией в прядильном погас свет. Я аккуратно вооружился инструментами первой помощи: отверткой, предохранителями, изоляцией; сунул плоскогубцы за пояс комбинезона и оглянулся на столик—вроде все взял. В прядильном, на втором этаже, было очень светло, только в одной стороне потолок перестал сиять. Длинные машины жужжали сотнями веретен, со скоростью, неуловимой глазу, крутили нить, только видно, как разбухают, полнеют, пухнут бобины. Где же распределительный световой щиток? Может, я уже миновал его? Но крутить головой, тем более возвращаться, было неловко: навстречу шел мастер цеха. Он признал во мне дежурного электрика, экипировка выдала. Покажи я свою растерянность, начни суетиться, он, видя мою зеленость, раздраженно заторопит под руку: пусть придет, кто знает. Где он да кто он? И я старательно напустил на себя солидность, деловитость, достоинство. Только глазами быстро бегал по сторонам. Где же щиток проклятый?! О! Щиток-то во-он тот, наверно. Точно, тот. Повезло. Хорошо, что даже не остановился, будто прямо к щитку шагал. Я открыл специальным ключом железную дверцу с черепом и костями накрест. За дверцей, на мраморной панели, белели десятка два пробок. У плеча внимательно сопел мастер цеха. «По науке» следовало проверить индикатором всю шашечную шеренгу контактов. Там, где индикатор отзовется неоновым огоньком, группа перегорела. Процедура простая, но...

Когда я поступил работать, оказался моим учителем Кряхтунов — старый практик. В теоретические объяснения он не вдавался, иронически полагая среднюю школу кладезем мудрости. Вот он идет на вызов: что-то где-то сломалось. Я, как оруженосец, следом. Он открывает, скажем, ящик с автоматикой — дистанционным управлением сложной машины. Перед нами — четыре квадрат-

ных метра всяких реле, катушек, кнопок, разноцветье проводников... Он прищурится, отойдет на шаг... еще любил опереться локтем на что-нибудь, подопрет подбородок, как пригорюнится, и минут пять—десять внимательно изучает это нутро. Индикатор торчит в кармашке, как обычная авторучка, он его даже не вынимает. Проверь, скажет, четвертое реле справа. И я не помню случая, чтобы он ошибся. Любил оговорить меня диагнозом любой поломки, сделанным «против науки». И был в такие моменты донельзя доволен. «Методу» свою не торопился открывать. Ждал всегда, что меня заест любопытство и я сам стану спрашивать. А мне, наоборот, нравилось самому отгадывать его фокусы. Я взял манеру опережать его. С ловкостью цирковой обезьяны повторял некоторые его движения. Например, у светового щитка он слегка, скользящим движением, касался пальцами пробок. И всегда точно определял сгоревшие. Мои пальцы похоже бегали вдоль белых изоляторов, но были глухи и слепы. Фокус не удавался. Потом брался он. Его пальцы что-то слышали. Что? Со временем я разгадал этот фокус. Сгоревшая пробка всегда горячее, чем остальные. Просто, когда поймешь.

Сейчас я решил проделать фокус «против науки». За плечом сопел мастер цеха и, как мне казалось, очень недоверчиво присматривался к моим действиям. Я легко скользнул костяшками пальцев по изоляторам. Уверенно вывинтил два, кинул в урну и вытащил из кармана свежие.

У мастера поднялись брови, но он смолчал. На непосвященных фокус действует безотказно. Проверено на себе. Была опасность конфуза, ох, была... Тогда последнее средство моего учителя: напустить на себя таинственность, глубокомысленно покачать головой — дело, мол, нечистое. И через пять минут найти «по науке» — индикатором. Эффект, конечно, не тот. Покосившись на

мастера, я завинтил первую пробку и стал завинчивать вторую. Мастер готовил на лице насмешливую улыбку. Я видел, как растягиваются у него губы. Эх, была не была! Последний круговой нажим пальцев, высверкнул синий ободок искр... И над третьей линией вспыхнул ярко коридор света. Насмешливая улыбка у наблюдателя не получилась, она будто втянулась обратно в его лицо. «Спасибо!» — уважительно сказал он. Но не вытерпел — хмыкнул и мотнул головой, как в цирке, когда фокусник достает из шляпы живого кролика.

На подстанции я перевел дух, полистал книгу и успокоился насчет грядущих ЧП.

И тут звонок из четвертого цеха!

— Как полыхнет огнем из мотора!.. — панически заливались в трубке.

Единым духом я сгреб инструменты и взлетел, миная лифт, на четвертый этаж.

Мотор не полыхал синим пламенем, даже не дымился. Правда, кожух и пол вокруг мотора посыпаны песком. Тушили, значит. Или так, с перепугу посыпали. Я припомнил недоверие моего наставника к таким паническим вызовам. И опять постарался по мере сил изобразить деловитое хладнокровие. Открыл первым делом пусковой щиток и случайной деревяшкой заклинил рубильник. Это, как говаривал Кряхтунов, на случай дурня. «По науке» называется — «защита от дурака». Пока ты копаешься в оголенных проводах у мотора, а пусковая кнопка где-то далеко за спиной, к ней может подойти дурень и нажать из чистого любопытства: убьет монтера 380 вольт или он особенный, привыкший?

На этот раз собралось вокруг меня человек пять. Механики и станочники. Тут я действовал «по науке». Снял крышку с клемм мотора. В руках оголенные провода. Их шесть. Минутное дело: проэкзаменовать обмотку мотора. Сгорела? Индикатор светит полным

накалом. Значит, нет. Что же с тобой? Пробило где-нибудь изоляцию? Нет. Пробило катушки? Индикатор говорит — нет.

«По науке» можно пускать. Все в порядке. Но ведь заколодило что-то. «Как полыхнет огнем из мотора!» Механики вокруг столпились, ждут. Я еще ковыряюсь. Как только закончу, сразу спросят: «Ну, что случилось?» Пока не знаю. Тяну резину. А сам думаю торопливо. Мотор, как они говорят, остановился сначала, а загорелся уже потом. Случай редкий. Двигатель — вещь, сработанная на совесть. Он уже гореть будет, а все равно не остановится, крутит вал. Кряхтунов, тот сразу сообразил бы что к чему... Механики ждут, на руки мои смотрят, а рукам делать нечего. Разве шкив тронуть? Тот ни с места.

— Выключите сцепление, — попросил я.

— Оно выключено! — удивились мастера-механики.

Тут во мне забрезжило: некий венаучный нюх. Сцепление, говорят, выключено, а шкив не провернуть. Значит, заклинило в коробке скоростей. А коробка скоростей станка — их вотчина, их святое дело. И тут у мастеров-механиков забрезжило тоже. Ни одного вокруг меня не осталось, все столпились у своей злодейской коробки. Потом кинулись к машине. Я отдышался, стал наблюдать за их суетой. Минут через десять меня спросили виновато:

— Сожгли мы вам двигатель?

— Нет, в порядке. Можно пускать, — великодушно простил я. И отбыл к себе на седьмое небо, то бишь на подстанцию, мысленно прикидывая сладкую тяжесть лаврового венка.

Время — четыре ночи. Усыпляюще, бархатисто гудит подстанция. Я набрал 08.

— Четыре часа, одна минута, — подтвердил бессонный голос.

Я уже привык к мысли, что самое-самое пронесло. Демобилизовался вроде. Забыл «закон бутерброда». И, наверное, в наказание, долгожданное зло случилось! За главным распределительным щитом раздался пистолетный хлопок. К черным окнам всплыл виток дыма и не спеша растаял. Я привстал, еще надеясь на чудо. Но стрелки приборов красноречиво переступили красное.

Десятки раз я представлял себе план спасательной операции. Но первые минуты бестолково метался, хватался за плоскогубцы, отвертки, дергал ящик стола... Наконец, взял себя в руки, стараясь попасть в порядок и ритм продуманной схемы действия. Первым делом — к щиту. Рванул черную рукоять рубильника. Он откинулся, щелкнув медью зажимов. Стрелки трех вольтметров упали влево. На приборах: ноль, ноль, ноль. И почти тотчас зазвонил телефон. Огромный ткацкий цех вступил в минуты простоя.

Аварийную амуницию я собрал у столика загодя: резиновые перчатки, толстые каучуковые боты, фартук гибкого пластика. Еще пять секунд я потратил на телефон:

— Да, мы знаем. Выбило большие предохранители. Выключите у себя все станки. Я знаю, что не работают, вы их все равно отключите... Делаем. Конечно, знаем, сколько стоит минута простоя.

Я натянул защитные перчатки, они сразу увлажнились изнутри. Прямо в ботинках сунул ноги в боты, их так все надевают. Тяжелая литая резина водолазно замедляла шаг, притягивая к полу. Я забрал заготовленный заранее запасной предохранитель, листок наждачной бумаги и аварийный, красного цвета ключ. Медленно ступая, двинулся к аварийной дверце главного распределительного щита. Эта дверца из проволочной сетки находилась между стеной и внутренней стороной щита. Перед носом — металлическая картинка — веселый пиратский знак из черепа и костей крест-накрест. Черный. Он, ка-

залось, подмигнул пустыми глазницами: со мной, дескать, шутки плохи. Помню! И без тебя страшно. То, что с внешней стороны щита выглядит аккуратно и безобидно — приборы, звуковые сигналы, плоская медь рубильников, — здесь переходит в обнаженные жилы, металлические высоковольтные шины, спирали... Их симметричный, разумный хаос обступил меня. Боком, почти касаясь лопатками стены, я двигался к группе предохранителей на ткацкий цех. Такое чувство, что вот-вот между мной и железом возникнет прозрачно-синий трескучий разряд и я обращусь тотчас в черную, обугленную головешку. И только громоздкие, литые боты успокаивали меня. Сбоку на каучуке стояла фиолетовая печать со словами: «Испытаны на пробой при напряжении 3000 вольт».

Наконец, фидер ткацкого цеха: три кабеля подавали к предохранителям высокое напряжение, три других ныряли под пол. Предохранители, или плавкие вставки, как их называют монтеры, представляли собой довольно длинные и толстые фарфоровые трубки. На торцах этих трубок надеты медные цилиндры, и между ними внутри протянуто несколько жил из серебристого мягкого металла. Они и есть, собственно, плавкие вставки. Эти несколько жил пропускают через себя всю мощность на ткацкий цех, на сотни станков и вообще моторов. Они перегорают гулко и звонко, вроде выстрела. Предохранителей на цех — три. Тот, который выбило, я сразу увидел. Мудрено было бы не увидеть. Серебристые жилы «плавков» приняли синий цвет и торчали из торца трубки вверх, порванные, скрученные, с оплавленными шариками на концах. И этот предохранитель нужно было вот сейчас вынуть! Б-р-р!

Я осторожно придвинулся к нему. Оголенное напряжение окружало уже снизу, сверху, с боков. Я заставил себя внутренне оледенеть. Не шевелясь, поводит глаза-

ми по сторонам: сколько мне отпущено жизненного пространства? И перевел глаза на выбывший из строя предохранитель. Медленно, чуть ли не по сантиметру, ввел руку в фидер и осторожно коснулся сосисочными пальцами фарфоровой мертвой трубки. Медь на ее торцах синела из зажимов окалиной. Приварился предохранитель к зажимам, теперь просто так не вынуть. Есть на подстанции специальный деревянный молоток и деревянное же зубило. Именно для таких несуразных случаев. Но идти за ними... И снова лезть вдоль голого напряжения?.. Нет уж, благодарю покорно! Страшно. Потом, сколько времени займут поиски? А цех стоит. Вылетают тысячи рублей в воздух.

Я твердо взялся за трубку, дернул. Раздался ломкий, шаркающий звук — и мертвый предохранитель остался в пальцах. Я его опустил в широченный карман фартука. Хотелось толкнуть в зажимы новый предохранитель, сразу вставить и уйти, вырваться из враждебного голого металла, очень хотелось. Но я вытащил лист наждака, свернул его плотной трубкой, вверх зернами. Осторожно пару раз чиркнул внутри зажимов. Опять хотелось проделать это формально, просто потому, что положено. Но я знал смысл того, что делаю. Зажимы сейчас в окалине. Если их не зачистить и вставить новый предохранитель, то место соединения быстро нагреется, накалится, раскалится докрасна и фарфоровая трубка лопнет ко всем чертям. Через сколько минут или часов это произойдет? Неизвестно. Внешне все будет выглядеть благополучно, а на самом деле — как мина замедленного действия. И я тер изнутри зажимов, пока медь озарилась изжелта-красною чистотой. Щелкнув, стал на место новый предохранитель.

Выбрался я с теми же предосторожностями, но быстрее, как выныривают из воды. Захлопнул дверцу, подмигнув черепной коробке и ликующе потер руки.

Ладони слегка дрожали. Я их еще потер, словно хотел добыть огонь трением и, благо никто не видел, проделал ногами чечеточную разрядку. С короткого разбега, словно бью по мячу, запустил один бот через весь зал, за ним второй. И вообще вел себя очень похоже на болельщика, любимая команда которого забила гол.

Летающим пальцем набрал номер ткацкого цеха. Там откликнулись тотчас, ждали.

— Сейчас я к вам поднимусь. Станки пока не включайте...

— А ток?! Ток!? Мы можем...

Повесил трубку. Нарочно не объяснил. Опасность еще витала. Когда включаешь станок, то первые секунды мотор берет очень большую мощность. Так называемый пусковой скачок напряжения. Один мотор не опасно. А если их сотни? Стоит включить все сразу — пусковой скачок напряжения!.. И снова пистолетный хлопок на главном распределительном щите. И заново лезть за щит, менять сгоревший предохранитель. И опять холодный, нервный снежок за воротом. И новые минуты простоя цеха.

Я влетел в ткацкий цех, забыв, что сейчас я в роли специалиста-спасителя. Важного, милостивого, значительного. А похож был скорее всего на щенка-торопыгу — толстощекого, торопливого.

— Ну что? — подались навстречу мастера и механики. — Простой до утра? Солдат спит, а служба идет?

— Повезло вам, — отшутился я. — Дежурные монтеры бдительно охраняют ваше право на труд. Будем включать. Одно условие — постепенно, за мной следом.

— Знаем, сами с усами, не первый раз замужем... — загалдели тут мастера.

А у меня внутри сидело не ученое наукой чувство. Я сам будто превратился в чуткий вольтметр, и мне,

моему телу, чувствителен был пусковой скачок напряжения. Первую пусковую кнопку я ткнул сам. Щелкнул магнитный пускатель, на высокой ноте запел мотор, пришла в движение каретка (кажется, так называют в станке машущую плоскость), и с дробными, щелкающими звуками стали летать челноки. И я представил себе щит на подстанции, три амперметра ткацкого цеха, стрелки приборов, медленно выходящие на шкалу. Ткачихи сразу, на лету, поняли принцип оживления цеха.

Я шел, и медленная громовая волна катилась следом. У дальней торцевой стены приятно было прислониться к окошку. Весь цех работал. Яркость софитов дневного света, бесконечная шеренга станков... А за стеклами — черное небо, синие точки звезд. Значит, дождь кончился, небо ясное. Если присмотреться, то на востоке оно заметно светлее. Скоро утро. Сколько сейчас? Пять, шесть?.. Я приоткрыл окно. Лицо омывала холодная струя воздуха, и я глубоко вдохнул льдистый его настой. Освежился вроде. Пришел в себя. Сообразил, что где-то в цеху работает Нинка. Есть повод к ней подойти, не зря же я околачиваюсь в цеху!

Нинка, когда я подходил, улыбочиво глянула, ловко перехватила нить. Я встал рядом с ней, наклонился к уху:

— Позвонишь?

— Она кивнула.

— Выйдем вместе?

Она улыбнулась молча, глянула на меня — не поймешь — не то кокетливо, не то лукаво... а может, просто насмешливо? Дабы не зазнавался. Я смутился, заторопился из цеха. Больно торкнулся плечом о железо и старательно улыбнулся от боли.

На подстанции было тихо. Приборы ткацкого дружно показывали норму. Стрелки других приборов тоже тру-

дились на своих нормальных местах. Телефон молчал. Я собрал разбросанные по залу предметы высоковольтной экипировки. Фартук сложил и сунул в один из ботов, хотел убрать боты в шкаф, но остановился на полпути. Кто ее знает, фортуны? Может, ее нельзя лишней раз дразнить? И я поставил боты рядом со столиком. Вроде приготовился их опять надеть, и надевать хоть пять раз подряд, если что случится. Но телефон молчал. И хорошо, что молчал. Спасибо ему за это. Я все-таки вымотался немного, хотя ничего как будто не делал.

Часам к пяти я немного осоловел.

— Пять часов, шестнадцать минут, — сказал в трубке голос моего бессонного автомата-друга. Я стал чаще курить. Насвистывал. Исполнял сам себе на «бис» спортивно-танцевальные па.

К шести часам утра сон прошел. Улыбка сама собой вылазила на лицо. Напевались бравурные марши. Лавры ощутимо давили на темя.

В шесть тридцать проснулся городской телефон. Он успел обронить три-четыре трели, пока я спешно соображал. Вдруг это звонит начальник цеха? Узнал, что на подстанции один дежурный... А в самом деле, почему не пришел Капустин? Начнет сейчас кто-то по телефону допытываться да выяснять... Я снял трубку, медленно поднес ее к уху и невразумительно промычал. Далекий голос допытывался, кто говорит. Я уклонялся: а кто вам нужен? Мы узнали друг друга почти одновременно. Это был мой напарник — Капустин. Из своего телефонного далека он радостно ужаснулся, что я оддежурил один.

— Ты не разглашай, старик, а то мне прогул залепят. С женой что-то стряслось...

И шли проклятия лекарствам, автобусам, всему на свете. А по существу, он просил прощения.

Без пяти семь начали собираться монтеры, утренняя смена. Первыми пришли двое спорщиков-болельщиков, расселись в креслах и стали друг другу тыкать забитыми и пропущенными голами. Меня они, кажется, даже не заметили. О Капустине не спросили. Какая разница, в чьи ворота и чего закатилось! Можно подумать, мир от этого что-то выиграл. Потом друг за другом входили ремонтники и устраивались кто как мог. Они любили покурить перед сменой у нас, на подстанции. Ровно в семь вместе вошли дежурные утренней смены. Старшим у них был мой первый наставник Кряхтунов. И я понял в эту минуту, что мне виделось лаврами — одобрение, признание Кряхтунова. Он дотошно вчитывался в ночные записи, обстоятельно выпросил меня, вошел в курс дела. Вот кому хотелось похвастаться хоть немного! Но я, потускнев в душе, обо всех неполадках говорил «мы». Мы починили, мы исправили... мы! Врать — так по-честному, всем.

Начинался новый рабочий день.

— А ты чего не уходишь? — спросил меня Кряхтунов.

— Да вот, интересная передача, — ответил я и притворился, что прислушиваюсь к радио. А чего там может быть интересного? Единственная хорошая передача шла обычно вечером — «Невская волна». Я сидел и ждал сигнала от Нинки. Вот благодарный слушатель! Вот кому я похвастаюсь! Изобразю сам себя «в лицах», как полз за главный распределительный щит, как трясся от страха, а дело делал. И прочее, и прочее... Телефон не кончил и первой трели, а я опередил руку Кряхтунова у трубки.

— Да! Это я. Готов. Выхожу.

Кряхтунов понимающе покосился, но не стал зубоскалить над моим интересом к радио.

Мы вышли из проходной вместе, рядом. С утра подморозило. Лужи схватил тонкий ледок. Небо снова за-

волокло тучами, но шел уже снег. И запах у него был такой свежий и холодноватый, какой только и может быть у первого снега.

— Нина, — начал я, — ты знаешь, я один сегодня дежурил. Капустин не смог прийти, у него жена заболела...

Нинка — вот кто должен оценить мой подвиг. Мы выходим на поединок ради прекрасных дам. Нинка — главный арбитр и распределитель призов. Каких призов? Ясно, что не вещественных. Кило симпатии в бумагу не завернешь. Двести граммов восхищения в кармаман не сунешь, на закуску. А все равно приятно.

— Простудилась, наверно, его жена. Погода последние дни плохая: то снег, то дождь, — сказала Нинка, извлекая из моей речи «главную» информацию. И добавила: — Наши боялись, что простой до утра...

— Я не про то. Ведь за ночь все что угодно могло случиться. А я один...

— Ну, конечно, — сказала она, — смотри, смотри! кошка на подоконнике!

Кошка была и впрямь смешной. Она сидела перед стеклом и умывалась двумя лапами. И я засмеялся. И забыл о лаврах. Осадок, правда, еще оставался, какое-то огорчение, но самую малость. И это вскоре прошло. Так свежо, морозно и славно было идти по улице рядом с Нинкой.

МОЯ МАШИНА

Случай с моим дежурством все-таки стал известен. И как всегда бывает: ждешь одно, хлопочешь совсем другое, — так и меня вместо оркестра и лавров ждал приказ о понижении разряда и переводе в монтеры-монтажники. Я не спорю, наказание справедливое. Я ведь мог позвонить начальнику цеха или мастеру домой, когда точно выяснилось, что Капустин не пришел на смену. Мог, в конце концов, доложить дежурному по фабрике. Тот бы послал машину на дом к любому опытному монтеру. Все можно было сделать, подстраховаться... Но мне хотелось «оркестра и лавров». Вот и скушал. Лавры сейчас используют по прямому назначению — в супе. Аналогичный приказ повесили о Капустине. Он не унывал и приговаривал, что даже с таким разрядом заработает на монтаже в два раза больше. Я бы тоже считал, что мне повезло — делать новое интереснее, чем чинить готовое, — если бы не бригадир.

Очередное задание я выслушал без восторга. Как обычно: «круглое катать, плоское таскать». Другим меня бригадир редко баловал. Изучал, можно сказать, новый кадр. И не только уровень мастерства, а по всем

статьям: трудолюбие, терпение, добросовестность. Это «ластры» мне навредили, слухи о моих «художествах» на подстанции.

Иной раз бригадир давал и мне наряд на сложный монтаж. Я это дело выполню с увлечением, аккуратно, точно. Жду, что теперь-то и начнется новая эра — работать вместе со всеми... А мне — снова-здорово!

«Везучий ты! — подмигивал Николай Капустин. — Любимчик бригадира».

Кладовка ломилась от забытого богом старья. Бригадир об этой кладовке специально для меня вспомнил. Не иначе! Обрезки кабелей, проводов, обмоток; старые фланцы, рубильники, инструменты и выключатели — все, что жаль бывает сразу выбрасывать, и оно пылится и пылит захламленное место. Я еще не родился, а сюда уже сваливали отходы. Я в детсад ходил, понятия не имел о законе Ома, а сюда ветераны фабрики выбрасывали хлам. Копили, копили, ждали меня, сюрприз готовили.

Хорош любимчик! Перед глазами прессованная рухлядь в рост человека. Я рассматривал ее с веселой злостью. И не спешил. Спешить в таких случаях — последнее дело. Разок, примеряясь, схватил сгиб кабеля. Так он, как живой, вывернулся из рук. Был полон какой-то стальной супротивной силы. Кажется, отпусти я его конец, отойди, и тогда этот самый проклятый кабель будет продолжать крутиться, изворачиваться, пока не уползет в гущу других кабелей и спрячется в их сплетении, еще хуже все запутав и завязав.

Нет, без научной организации труда с этой проклятой кладовкой не совладать. Придется применить НОТ, или мини-НОТ, как я прозвал свои хитрости при очень уж нудных заданиях бригадира. НОТ в данном случае

означал: молоток, гвоздь, транзистор. Я сходил за своим маленьким приемником в мастерскую, заодно прихватив остальные компоненты НОТ — гвоздь и молоток. Гвоздь я вбил в стену, повесив на него транзистор за ремешок. Потом покрутил настройку приемника, пока не наткнулся на самую развеселую станцию. Ударила из динамика такая поп-музыка, с которой в огонь и в воду, и сам черт не брат!

И пошла работа! Цветные металлы, обломки — в тележку и к цветным металлам во двор, где специальные ящики вторчермета. Черные — к черным. Остальное — в ящик на свалку. Чертовы кабели упругой силой рвались из рук, отталкивая меня прочь и стараясь вмазать по шее, но я держался за них мертвой хваткой и тянул, и дергал, пока они не теряли сил и покорно вылезали, сворачиваясь кольцами у ног. Я изорвал две пары брезентовых рукавиц, исцарапался; пыль времен нэпа покрывала меня с головы до пят. Зато дело было закончено до обеда. А бригадир отпустил — два дня! Целых две смены! Немудрено: столько старья и мусора. Что ни говори, НОТ — великая сила. Не подвела меня и на этот раз. Пот на лбу и под волосами, капля щекочет спину, и воротник весь мокрый. А с заданием я справился до обеда.

Приятно сесть на совсем пустой стеллаж и выкурить сигарету. Кладовка стала теперь большой и светлой. Под мелким мусором и опилками обозначился рисунок кирпичного пола. Неплохо бы еще и подмести здесь. Мысль отдавала снобизмом, но я не стал противиться этой мысли. Нашел во дворе омелок и, сверх всей программы, до блеска вычистил им кирпичный пол.

Теперь первым делом — чисто вымыться. Умывальник механического цеха был поблизости. Я зачерпнул горстью жидкого мыла и пока тер и полоскал руки, от ладоней заметно поднимался парок.

Я вкалывал сегодня не ради премии и похвал. Хватит с меня «лавров» до конца жизни. Совсем иной стимул торопил меня. Наши монтеры в ткацком цехе подключали новые станки. И мне, конечно, хотелось влиться в ряды передовиков-подключателей. К тому же, я ни на минуту не забывал, что в ткацком трудится Нинка. Так что энтузиазм мой объяснялся довольно просто. На кладовке я сэкономил полтора дня. Имею я моральное и какое угодно право отработать хоть полсмены в ткацком?! Имею! — я так считал.

Яркие блики стреляют по красному лаку и никелю обтекаемых скоростных машин. Близ новых моторов копошились монтеры. Щуров ушел с головой в распахнутые дверцы электрического щита. Капустин регулирует что-то новенькое, еще в заводской смазке, руки у него лоснятся; работает он с удовольствием. Смотреть — и то лакомо! Прямо завидно, глаза разбегаются: никелированные гайки и те изящны.

Увидев меня, Капустин понимающе заулыбался:

— Привет, беглый каторжник! Как раскопки древних цивилизаций?

Я прислонился плечом к станине. В ловких руках Николая инструменты так и мелькали. Он разделявал кабель для подключения на пускатель. Сначала рассек верхнюю броню, из свинца, потом вторую, из каучука, потом третью, из стальной сетки, и теперь зачищал оголенные жилы. Рядом стоял небольшой трансформатор и лежало на полу приспособление для пайки, похожее на обычные ножницы, только со стержнями углей на концах. Одной рукой Капустин придерживал эти «ножницы», другой кусок олова и собирался приварить контактную шайбу, но упругий конец кабеля выскользнул то и дело, тормозя работу. Я невзначай, словно не очень

хочется, придерживал кабель. Николай понимающе усмехнулся, кивнул, принял помощь.

Только теперь я посмотрел по сторонам. Где-то в дальнем конце этого цеха работала Нинка. Пусть видит: занимаюсь важным, серьезным делом. Это тебе не молотком махать! А то взяла моду — иронизировать над всеми моими рассказами. Был грех — любил я приукрасить, завирался иной раз. А кто бы на моем месте не завирался? Смотрит она этак своими рыжими глазками, с наивностью и восторженно. Кто бы удержался от легкого хвастовства? А сегодня... Пусть сегодня видит воочию, как говорится.

Через пять минут я втянулся и работал как полноценный член группы.

Электродуга плескалась вокруг латунного цоколя. Остро-синий блеск, прозрачные огоньки посверкивали на изоляции. Оловянный карандаш плавился на конце, заполняя полость медного наконечника. Дуга погасла. Наконечник с контактной шайбой намертво держал конец кабеля. Можно и подключать к пускателю.

Как всегда незаметно, появился бригадир. Поглядывал на новые двигатели, на то, что сделано, что предстоит сделать завтра. И медленно, но неуклонно двигался в нашу с Капустиным сторону. Я не стал прятаться. Все ждали, что бригадир устроит небольшой разнос, холодный душ и мне и всем остальным, которые приютили «беглого каторжника». Я ведь здесь контрабандой. А бригадир меня словно не замечал. Думал небось, что совесть во мне проснется и ее укоры вернут ослушника обратно в кладовку. Этого не случилось. Я продолжал работать. Тогда он увидел меня. И снова отвернулся. Я и ухом не вел: завинчивал что-то, зачищал... Толстокожесть — в пору слону. Тогда он — дипломатию по боку — подошел и спросил с ледяной учтивостью:

— Кажется, я вам давал другое задание?

Я кивнул послушно.

— Тогда следует быть на месте, работать. Дисциплина существует для всех. Я жду!

— А зачем?

— Что зачем?

— Зачем мне туда идти?

Эта нахальная придурковатость поставила бригадира в тупик. Он начал внутренне раскаляться.

— Все сделано, — сказал я. — Все убрано. Научная организация труда.

Бригадир на это промолчал. Но посмотрел. Как он посмотрел! Ничего хорошего этот взгляд не обещал мне. Я, конечно, пойду проверю, говорил этот взгляд, я мог бы не проверять, но проверю просто для очистки совести. А потом мы поговорим, как мы потом поговорим! И он пошел прочь из цеха.

«А там еще и подметено!» — не без удовольствия вспомнил я.

Щуров наблюдал эту сцену издалека, от своих моторов. Помахал мне рукой. В грохоте цеха слов не слышно. Он достал пачку сигарет, помахал ею над головой. Я толкнул Капустина. Он в ответ кивнул, тоже вынул сигареты и поднял вверх. И заложив два пальца в рот, оглушительно свистнул. Кто из монтеров не видел первый сигнал, сейчас наверняка спохватились, не прозевали очередной перекур.

Курили мы всегда в мастерской. Можно было в курилке цеха. Но в своей мастерской и уютнее как-то и обстоятельнее курится. И никто из чужого цеха в разговор не встревает, и не надо любое дело обсказывать для непосвященных с самого начала.

В мастерской тихо, мирно; пахнет сухой изоляцией, металлом и необъяснимым электрическим запахом, как пахнет, например, высоковольтный рубильник или предохранитель. Я размял табак сигареты, наклонился

к огоньку, который зажег Капустин. Он подался мне навстречу, уставившись на мою шею. И расплылся от удовольствия, подмигнул Щурову.

— Опять он испачкался! Нарочно испачкался, трудолюбием своим козыряет. Нас подводит, будто мы все бездельничаем, раз чистые.

Я поверил. Привычно рванулся к зеркалу. Совсем забыл о подвохе — любимом розыгрыше Капустина. Зеркало он специально выпросил на подстанции и повесил здесь, в мастерской. Что было, то было: вечно моя физиономия испачкана. Первое время я дивился: работа вроде одинаковая у всех, а все остальные чистые. Потом последил за собой и поймал вот на чем. Оказывается, надо было менять рефлекс: капля пота прощечочет щеку — смахнешь ее, а на лице отпечаток черных пальцев: или волосы упадут на лоб, поправишь — лоб перечеркнула чугунная метина. Через час-полтора арап, и только! Вот Капустин зеркало и повесил. «Купил» меня сейчас, как маленького. Чистая была шея, чистая. Я ведь шею после кладовки мыл. И вообще привык лицо не трогать, в крайнем случае — тыльной стороной ладони. Щуров, отсмеявшись, сказал:

— Хватит закалять парня. Давайте лучше поможем ему в кладовке. Так сказать, в порядке взаимопомощи...

— Николай Капустин, ты пойдешь на раскопки? — строго спросил я, уставя на Николая палец. Капустин с озорным выражением повернулся к Щурову:

— Видал? Ведь если в нем злость не греть, то и смелость киснет. Это ему микстура от огорчений. Психотерапия.

Я не вытерпел, заулыбался. Капустин подмигнул:

— Ишь, все понимает. Ладно, веди в кладовку в порядке взаимопомощи. Поможем!

— Спасибо, но...

— Вы только подумайте: боится, что отобьем работу. Упирается. У нас слишком низкие разряды для такой ажурной работы. Вот что значит — любимчик бригадира!

— Я убрал весь мусор.

Щуров уважительно свистнул:

— Там ведь были тонны старья. Десятки лет, кому не лень, все туда кидали.

— Даже подмел.

— Представляю физиономию бригадира, — фыркнул Капустин, — ведь бригадир пошел тебя проверять...

Тут и вошел насупленный бригадир. На него старались не смотреть, чтоб вытерпеть, не смеяться. Бригадир уставился на меня и поманил в дверь.

— Действительно, в кладовой чисто, — сказал он. — Но это еще не все. У меня есть еще одно дело.

Медленно я слез с верстака, на котором сидел, и пошел к выходу.

— Опять любимчика! — с притворной завистью шепнул вслед Капустин. — Везет же людям.

На душе стало хмуро, стало обидно, словно щелкнули меня по этому самому чувству справедливости. Что делать, бывает и хуже. Но ни в коем случае нельзя «потерять лицо». Поэтому я спрятал досаду, отшутился: если так и дальше пойдет, уйду к черту, поступлю хоть режиссером на телевидение. И то лучше, ей-богу!

Иду я следом за бригадиром, гадаю: где есть еще помойка, которой сто лет в обед. Если свернем налево по коридору — значит, во двор. А во дворе вестимо что можно делать. В лучшем случае лампы завинчивать на столбах. А ведь можно придумать, что света во дворе мало, что нужно новый столб ставить. Вот тебе и задание: яму копать для столба. И за что меня бригадир так не любит? Антипатия с первого взгляда... Я еще, дурак, умывался после кладовки. Зря шею мыл. Стоп... Развилка. Бригадир на секунду остановился и повернул

направо. Но я не обольщался. Направо — подстанция, и рядом с ней — «бригадирка», или каптерка, как называли маленький, без окон, кабинет бригадира. Точно, туда идем. Заводит он меня в «бригадирку». От пола до потолка стеллажи. Здесь хранятся самые хрупкие, самые тонкие приборы и электроника. Стекланные, словно глазурью облитые, баллончики; изящные шляпки транзисторов; ювелирные реле с серебряными контактами. Смотреть лакомо! У меня глаза разгорелись, в пальцах зуд появился: какие игрушки! Пусть бы в них ток... Любопытно: одним щелчком выключателя превратятся эти елочные игрушки в живых и умных зверюшек, словно не ток пустили им, а живую кровь. Какое секретное умение спрятано в них до поры до времени?

Но «бригадирка» для меня всегда за семью замками. Новинки электроники я вижу всегда с почтительного расстояния. Если и баловал меня бригадир новинкой, то это была новая пара брезентовых рукавиц. В самом счастливом случае — новое зубило или напильник. Стою, гадаю: рукавицы или напильник?

А бригадир тем временем достает рулон ватмана. По своему обычаю молчком сует мне. Руки у меня черные от металла. Зажал я ватман деликатно, локтем. Снимает он с верхних полок шеренги реле, новеньких, еще в заводской упаковке, миниатюрные трансформаторы, коробки транзисторов. Я только успеваю подхватывать. Нагрузил меня и велит развернуть чертеж. Рук у меня не осталось лишних, он сам раскрутил цилиндр. Да-а! Сложнейшая схема... лабиринт... абстракция!

— Будешь работать сигнальный автомат. Вот тебе журнал «Изобретатель и рационализатор», кое-какие схемы возьмешь отсюда, кое-что изобрети сам. Работа эта внеплановая, твердые сроки ставить не буду. Но сам понимаешь, какое важное дело. Лишний монтер все время привязан к подстанции, дает сигналы. Откуда

взяться высокой производительности труда?! Проникся? НОТ это, если хочешь знать... — И смотрит на меня с этакой понимающей хитрецой.

Я слегка обалдел, вроде стрельнуло внутри короткое замыкание. Ушам не поверил... Несколько минут прошло, пока я пришел в себя. Бригадир и след простыл. Молчком, молчком — нет его. А ничего у нас бригадир. Симпатичный. Странно, почему он казался мне раньше таким злодеем? Ничего дед. Понимающий. Знает, кому доверить такую сложную схему. Не зря, значит, я шею мыл. И рот — до ушей. Внутри разгорелась радость. Любимчик? Ну погоди, Капустин! И я заторопился в мастерскую, пока бригада на перекуре.

В мастерскую я вошел хмурый, пасмурный. Постарался напустить мрачный вид на себя. Сейчас Капустин снова примется за свое — подначивать. Так и случилось.

— Живут же люди! — с притворной завистью начал он. — Переносят материальные ценности из точки А в точку Б. Причем, заметьте, строго научно.

Я будто бы ноль внимания. Разгружаюсь на верстак.

— Это зачем у тебя такое? — уже без притворства встрепенулся он.

Молчу загадочно, распаковываю сверкающие сокровища. У Капустина глаза разгорелись.

— Бригадир попросил помочь, — объяснил я тогда, словно бы нехотя. — Сигнальный автомат надо делать, а кому доверишь? Только тебе, говорит, моему любимчику.

Половину деталей я сам впервые держал в руках. Вот шаговый искатель. Он вроде ежа, где иголки служат клеммами, а на брюхе сотни контактов и упругие щетки-лапы. Щелк, щелк, щелк — выбирает нужные. Десятки реле, катушки, полупроводники и прочие деликатесы. Все это надо монтировать на панели (ее тоже предстоит сделать), соединять, паять. Каждый механизм умел

— делать малость. Все в сумме — сигнальный автомат — будут умнее: включать по цехам сигналы на обед, на чистку станков и т. д., знать субботу и воскресенье, понимать, что такое скользящий график. Освободят дежурных от всего этого.

Я расправил плечи, приосанился и назидательно продолжал:

— Работа тонкая и сложная, дорогой Капустин, не то что станки монтировать. Не каждый справится. Не показываю пальцем, ты понимаешь? Но если попросишь как следует, дам поддержать паяльник...

Он слушал с видом знатока, сам великий любитель подтрунивать. И я понял, что, может, именно сейчас сдам один из экзаменов на полноправное членство в бригаде. Как себя поведу, что скажу, что сделаю? Именно сейчас, когда счастье привалило. Так уж сложились здесь отношения. Самое серьезное — шуткой. Дружеская подначка — правило. Каждый прячется под маской грубоватой иронии. Хочется ли похвалиться, пожаловаться — это делают в шутку, вроде со стороны насмехаясь над своей слабостью. Это была добрая маска, под ней угадывалась легко и настоящая доброта и чуткость.

— Вот тебе и любимчик! — с притворным огорчением сказал Щуров. — А когда-то этот аристократ любил наш черный труд. Пошли, парни, вкалывать.

Мебели в мастерской был минимум. Рабочий верстак и небольшой столик. Столик для тонких работ. Его фанерная крышка местами пузырилась. Я пристегнул ее парой гвоздей, упруго вдавились шляпки. Пришло приятное чувство аккуратности. Во мне — избыток радости. А ничего у нас бригадир! Симпатичный. Знает, кому доверять такую сложную схему. Сбегать разве к Нинке?

Поделиться... Но прикинуться, что зашел случайно, между прочим...

Нинка увидела меня издали. Я сразу это почувствовал. Как самолет шел в луче прожектора. Взять и похватать — несолидно вроде. А разговор неудачно начался, про другое. Отчаявшись ловко его направить, я брякнул:

— А между прочим, работу мне поручили сложную — сигнальный автомат делать. Сам бригадир сказал: автомат должен заменить человека. И не просто человека — специалиста пятого разряда. Представляешь! — И взахлеб расписывал, как, что, зачем.

— Да, интересно... — вежливо согласилась она и глянула как-то насмешливо. — Ты обедал уже?

Вот они, женщины! Ты им про жар-птицу, а они — «обедал»... Да если бы ей поручили сигнальный автомат делать, если бы ей такое доверили, — я битый час слушал бы, слова не пропустил! Раньше она расспрашивала об успехах. И я рассказывал об успехах... чужих. Правда, действующим лицом был именно я. Но это уже детали. А теперь... Наплевать ей, горько решил я. Вторично завернуть разговор, повторить «между прочим» самолюбие помешало. А может, ей уже и на меня наплевать? Просто поддерживает вежливый разговор, и все. Сразу припомнились некоторые пустяки в наших с ней отношениях. Оно, конечно, пустяки... а может, вовсе не пустяки, если подумать. Вот погоди, сделаю автомат, еще пожалеешь... Не жизнь, а сплошная физика: ПЛОХОЕ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ И НЕ ИСЧЕЗАЕТ, ПРОСТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ ТО ЗДЕСЬ, ТО ТАМ. Закон сохранения и превращения энергии зла.

«И хорошее тоже», — подумал я себе в утешение.

Дома я выстирал комбинезон. Черной воды ушло достаточно, чтоб отравить небольшую речку. Приготовил

на работу нейлоновую рубашку, и, представив завтра глаза Капустина, решил добить его, повязав лучший галстук.

На следующее утро я явился на смену в чистом, выглаженном комбинезоне. Верхнюю пуговицу расстегнул, и оттуда выглядывала ослепительной белизны рубашка и модный галстук. Капустин что-то рассказывал, поперхнулся на полуслове. Толкнул локтем Щурова. И оба вытарасились на бывшую Золушку. Галстук их доконал. Они торжественно сходили за дежурным монтером на подстанцию. Тот с озорным почтением обошел вокруг меня, закатывая глаза и прищелкивая языком. Я делал вид, что изучаю схему.

— Во! — сказал Капустин. — Не как-нибудь! Был простой рабочий, как ты и я, а теперь не узнать, — научный сотрудник, покоритель мирного электрона...

— Старший научный сотрудник! — поправил Щуров и обратился прямо ко мне: — Возгордишься теперь?

Я незамедлительно подтвердил, что зазнаюсь, само собой.

— Возьми и повесь обратно, на подстанции, — сказал Капустин дежурному и кивнул на зеркало.

Маленький столик я объявил частной собственностью, прикнопил ватман над ним, разложил детали. КБ, и только!

Первым делом было найти паяльник. Основной инструмент теперь, не считая головы. Он был старенький. На медном стержне запеклась наледь припоя. Напильник легко брал этот нарост. Несколько шелестящих движений, фонтанчик опилок, и жало проблеснуло красной медью. Я прямо священнодействовал от удовольствия. Это для меня большой кусок канифоли, светясь прозрачной желтизной, притворялся драгоценным жрече-

ским камнем. Электропаяльник раскалился, и крошки канифоли, плавясь на меди, маслятели и тотчас испарялись голубой струйкой. Запахло терпко и весело новогодней елкой.

Подготовительную работу я проделал еще вчера. Установил на панели полсотни реле, закрепил выпрямители, трансформаторы, шаговый искатель, нарезал разноцветных проводников. Поначалу пайки застывали шероховато. Их приходилось снова и снова повторять, плавить.

Потом появилась точность пальцев. Паяльник брал олова ровно каплю. Прикосновение — и серебряный шарик соединял проводник с контактом.

Шаговый искатель-«еж» отрастил «иголки», топорщился сотней проводников. Я читал схему и переписывал ее металлом. Час за часом, день за днем графические линии по ватману превращались в тонкие разноцветные провода; точки карандашных соединений становились блестящими шариками олова; условные обозначения реле — тугими катушками и звонкими пластинами контактов.

Мысленно я пускал ток по схеме, следил до того места, которое проторил паяльник, и продолжал работать. Каждая пайка прибавляла автомату умение что-то делать. Если меня отрывали, я долго молчал, словно выныривал на поверхность, хлопал глазами... Мир стал звуконепроницаемым.

Даже когда мы встречались с Нинкой, я все время помнил про автомат. Так он засел в мозгах. Очень часто, вдруг, перед внутренним зрением возникала схема. Я заочно копался в ней, перепаивал, изменял что-то. И улыбался. Вот закончу, тогда посмотрит! Нинка очень подозрительно относилась к внезапной моей скрытности. Но сама — как обрезалю — ни слова не спрашивала о причинах. И в минуты моей задумчивости

подчеркнуто обижалась и уходила. И я молчал, я хорошо помнил ее насмешливость. Быстрее бы закончить машину!

Наконец. Вот он — великий день. Никто в мире об этом не подозревал. Сегодня — день рождения сигнального автомата. Сегодня ток впервые оживит схему. Хотя ну что такого в этом значительного? Я дивился, на себя глядя. Если разобраться — неказистый ящик, набитый электротехникой. А ощущение, что у меня — первое свидание с девушкой. Боюсь, что сравнение звучит поэтически. Внутри было проще, но именно так. И еще одно появилось чувство. С утра вся бригада была занята. Я мог бы сам, один, включить автомат. Глянуть хоть глазом на ожившие блоки... Но радость «первого тока» хотелось поделить. Иначе радость — не радость. Когда я, бывало, зашивался со схемой, а самолюбие мешало просить о помощи, ребята все понимали: и где загвоздка, и почему я молчу. И обсуждали вслух, словно между собой, мои проблемы. Мне нравилось знать, что они тоже получают удовольствие от первого тока, мои болельщики. Каждый норовил взять в руки какой-нибудь узел автомата, повертеть так и этак, вникнуть в суть вещи и, только насытившись удовольствием понимания, положить обратно, непременно присовокупив полезный совет.

Пока собрался кворум, я весь извелся. Бригадир с утра задергали, закрутили. Но вот наступил великий момент. Еще торопливый, по инерции, голос бригадира прозвучал торжественно. Он подал знак пускать. Я перекинул небольшой рубильник. Сразу возник комариный зуд трансформаторов, дескать, мы свое дело делаем: понижаем напряжение, делаем его съедобным для электроники. Та пропиталась напряжением до последнего нерва, проснулась. Точно так же, как человек: проснулся,

но не знает еще, что делать. Если можно сравнить фотоэлемент с глазами, то они раскрылись и ждут. Бригадир помахал пальцами перед фотоэлементом. Внутри откликнулось — щелк, щелк, щелк... Столько раз, сколько он махнул, каждый палец пересчитан. Жила машина, работала!

Через пять минут спина заняла от дружеских хлопков.

— Завтра можешь на работу не выходить, — сказал Капустин. А голос у него был до того чудной, что за милю чувствовался подвох. Тогда он повернулся к бригадиру:

— Правильно я говорю? Пусть гуляет теперь.

Бригадир промолчал. Он в эти игры не играл. Может, из-за отсутствия легкомыслия, может, слегка опасаясь за авторитет. Тогда Щуров пришел на помощь. Они часто выступали дуэтом. Один чудит, другой реплики подбрасывает, затравки.

— Почему? — спросил Щуров. — Почему ему можно гулять, а нам нет?

— Ты автомат сделал? Нет. А он за себя теперь автомат оставит работать. Пусть автомат работает, он железный. Хотя... — Капустин задумался, озабочился и вроде огорчился за меня: — Все равно придется ему два раза в месяц приходить.

— Зачем ему два раза в месяц приходить, если за него автомат работает?

— Ты совсем какой-то несообразительный стал. Зачем, зачем! А затем, что зарплата два раза в месяц. Или зарплату автомат сам будет получать? Если бы кошелек был сделан у автомата, тогда другое дело. Кошелек-то нет.

— Ах вот оно что! Кто бы мог подумать? А на вид приличный молодой человек, старший научный сотрудник... Ведь в схеме кошелек был?

— А как же! Я тебе и толкую...

И они сделали вид, что ищут в схеме, на ватмане, пресловутый кошелек. И оба были донельзя довольны. Даже бригадир улыбался и покачивал головой.

— Пора испытать умственные способности автомата, — сказал он. — Пусть принесут с подстанции график сигналов и часы.

График сигналов принес дежурный монтер. Им сегодня был Сильванович, щедушный и безрадостный тип. Сам график вырисован любовно-бюрократическим стилем с виньетками, в стеклянной рамке. Этаким вечный, важный, стационарный атрибут подстанции. Дежурный стал поодаль со скептическим выражением на лице. Оно и понятно. Обидно ему так сразу согласиться, что вот этот ящик может делать его работу. Ту самую работу, которая придает дежурному особую значительность. Дежурный прищурит глаз на часы, этак лоб сморщит и гордо включит обед какому-нибудь прядильному цеху. Мановение его руки — и несколько сот человек бегут в столовую. И вообще, на кой черт он, дежурный, учился в школе, жил, зубрил электротехнику, набирал опыт и все превзошел, а главное — получал зарплату. Вот ведь что важно! Ему годами платили зарплату, и за что — за здорово живешь? Ну, хорошо — сегодня придумали автомат. А если бы не придумали?! Он бы так и работал до пенсии на этом графике, подавал сигналы и считал, что делает важное дело. И, уходя на «заслуженный отдых», знал, что жизнь не зря прожита, а полезно она прожита. С чистой совестью он ставил бы внукам себя в пример. И вдруг — автомат! Обидно...

— Итак, начинаем, — сказал бригадир. — Двенадцать ноль-ноль.

Стрелки часов поставили на двенадцать. Раздался тихий щелчок. Мгновенно ожил еж, шаговый искатель: щелк, щелк... замер. Звякнули релюшки. Усилитель на-

тужился, пропуская сквозь себя команду. И раздался тонкий, нежный зуммер.

— Двенадцать сорок пять! — приказывал бригадир.

Зуммер.

— Тринадцать тридцать!..

Зуммера не было. Случайность, подумалось мне. Пылинка попала между контактами или пайка отстала. Сгоряча пальцы рванулись снять кожух. Но проверка только начиналась. Пустяк, решил я, потом исправлю. А автомат опять промолчал! И еще раз... В сердце закрадывалась тревога.

Через час выяснилось, что точно по графику автомат гудит не всегда. Более того, он делал это в порядке исключения. А, как правило, гудел, когда следовало молчать.

Бригадир снял кожухи, сам полез в нутро. Побежал глазами по схеме, пальцами по проводникам. Еще через полчаса стало ясно, что монтаж полностью совпадает со схемой. У меня слегка отлегло от сердца. Значит, не моя бестолковость тому виной. А у бригадира вытаращились глаза.

— Не может этого быть! — ахнул он ладонью о стол.

И в самом деле: полнейшая дичь! Представьте, к примеру, как по аэродрому, по взлетной дорожке, катит трамвай. Дико! Иначе не назовешь. Но мало того! В конце бетонной дорожки трамвай хладнокровно уходит в воздух, оставляя позади себя инверсионный след.

— Правильно по телевизору говорили, что машина не может заменить человека, — подал голос дежурный монтер. Я промолчал. Я сел в такую галошу! Так вляпался со своим пижонством, белой рубашкой и демонстративным галстуком, так вляпался! Рот и силой не отворить. Зато Капустин взъелся, как будто сам паял схему:

— Сам ты телевизор. Бубнишь, бубнишь...

Бригадир схватил чертеж и молча побежал прочь. Я — следом. Цеха, коридоры, дворы... Бригадир был в шоке. Остановился. И молча же повернул обратно. Не совершивши героического открытия, мы прибыли в точку отправления. Он уверенно подошел к столу, будто затем и бегал, и выдернул придавленную автоматом кепку, напялил ее и сказал проснувшимся головам:

— Не может этого быть!

Этот сакраментальный возглас вскоре стал нашим девизом, лозунгом, заклинанием. В общем, с этого дня и началась настоящая работа. Парадная схема покрылась рубцами правок, сетью условных соединений. Паяльник не остывал.

Изредка заходили дежурные. Чаще других — Сильванович. Этих визитов я не любил. Он взял моду инспектировать, как идет работа. Его отношение к автомату менялось прямо на глазах. Он уже выражал неудовольствие, что машина еще не сделана. Долго ему еще заниматься дурацким делом?! Какой-то паршивый автомат не могут наладить! Он ведь человек в конце концов, у него есть занятия более важные, чем давать сигналы.

Я тоже изменил свое отношение к автомату, перестал пижонить. С готовностью давал объяснения; вот общий принцип: глаза, память, руки. «Глаза» действовали безотказно (фотоэлементы с усилителем на транзисторах), самый простой узел. «Память» тоже работала добросовестно, давала команду: пора, дескать, гудеть. А вот «руки» были шкодливые. Руками я представлял мысленно те полсотни реле и в каждом шесть пар контактов-пальцев. Шестьсот безответственных пальцев, и каждый сам по себе. Очередной «инспектор» кивал:

— Понятно... в общих чертах. Ну, я пошел. А ты не тяни резину, скорее заканчивай автомат. — И я ретировался из мастерской.

Довольно часто подсаживался к столику бригадир. И начинал охоту за импульсом. Удалось нащупать главного врага. Порок выглядел так: первое реле включало, скажем, третье, которое обязано отключить четвертое, лишнее. И оно отключало..., когда это четвертое было необходимо. На практике это значило, что сигнал вообще не включится в цеху, или включится в другом цеху, или загудит в двух лишних местах.

Мой бригадир пытался, целился карандашом в схему и, убедившись в моем внимании, начинал контроль схемы. Мы хором тянули: «Контакт пять — реле шесть. Есть? Есть. Первое включилось, сорок второе разомкнуто. Так? Так? И так далее.

В голове держалось десять, ну, пятнадцать вариантов... причем только одной цепочки. Потом в голове мутилось, автомат казался порождением марсианской техники, а паутина линий — фантазией грустного идиота. Подозревалось, что им был я. Бригадир некоторое время бодрился, потом в сердцах предлагал:

— Давай испробуем новый метод, экспериментальным путем проб и ошибок. Заводи машину!

По живой схеме мы гадали спичкой. Отсюда отпать, а сюда припать. Сигнал есть? Нет. Тогда сюда припать, здесь отпать. Есть? Есть. А быть его не должно...

Мы отпаивали и припаивали. «Не может быть!» — повторял бригадир свою сакраментальную фразу. И снова убегал по цехам. А в свободную минуту, отрешившись от горящих забот, подсаживался ко мне. На некоторое время даже он пал духом. Неуверенно рисовал на схеме новую линию, а я гордо и независимо рисовал другую. Мне казалось — так надо. Он внутренне противился, я чувствовал, моим дерзаниям, но молчал. Случалось, что моя линия отключала его линию. Монтаж распухал на глазах. В конце концов все так перепуталось, что

уследить за всеми узлами схемы не стало никакой возможности.

— Чем отличается автомат от человека?—патетически возглашал Капустин. — Только тем, что не принимает деформированных монет. Ха, ха, ха! А вы чего не смеетесь? Не смешно? Вы просто не обладаете моим чувством юмора.

Бригадир на эти выходки откликнулся только тем, что фыркнул, но без прежнего добродушия.

— Итак, подведем итоги, — сказал бригадир однажды. — Автомат не работает. Автомат обязан работать. Надо еще раз крепко пошевелить мозгами. Плюнем на мелкие неприятности. Главное — держать в голове основной принцип схемы. А детали приложатся. Вот таким путем. — Он с сожалением посмотрел на часы. Кончался обеденный перерыв, и ему следовало заниматься своим прямым делом: налаживать новую линию станков, писать наряды. — Я выберу, конечно, время. — В моих глазах была просьба, и он почувствовал ее очень тонко: — Но попробуй все-таки разобраться сам.

Я не поверил в идею бригадира отрешиться от мелочей монтажа. Схема целиком и так все время перед глазами.

Но в один прекрасный день, держа в одной руке паяльник, а в другой цветной проводник, я уже не знал, куда его паять. Оставить конец болтаться или спрятать наобум не хотелось, — профессиональная гордость не позволяла. Интеллект был беспомощен, и я включил интуицию на всю мощь. Я аккуратно припаял жилку и решил проверить из чистого любопытства, какую шутку выкинет автомат. Как ни странно, в большой точке он сработал гладко, четко отозвался зуммером.

С этой минуты в душу вкралось подозрение, что мы нечаянно наделили автомат строптивым характером.

Интересно, думал я, может быть, эта штука имеет психологию капризной девушки? Чувство противоречия она усвоила в совершенстве. Так куражиться над создателем нельзя без умысла. И я с трудом подавлял искушение разбить автомат на тысячу запчастей. Казенная машина, нельзя. Но ведь мог автомат, когда захочет, сработать правильно!

Я вспомнил совет бригадира без особой веры в успех: отчасти подчиняясь авторитету его, отчасти для личного успокоения: мол, исчерпаны все мыслимые возможности. И очень мешал мой внутренний психологический тормоз — необходимость думать по принуждению (не важно, чужое оно или свое собственное). Я оставил паяльник, не мучил больше схему. Ходил по двору, курил, думал. Если не думалось, просто дышал воздухом, смотрел на небо. Надоедало — помогал товарищам в монтаже моторов. А потом в мозгу что-то щелкнуло, стали проявляться погрешности и несуразности в монтаже. Видение машины в целом, взаимодействие всех частей становилось отчетливей и яснее. И я бегом бросался в мастерскую, хватал паяльник, пока видение не ушло. Несколько раз я прозевал конец рабочего дня, чего раньше за мной не водилось. И чудо — день от дня автомат становился ручнее, покладистее. Однажды он дал сигналы точно по графику, все сигналы. Я не поверил, прогнал еще разок все обеды и чистки, открытия и закрытия, субботы и воскресенья. И только тогда позвал бригадира на демонстрацию.

Бригадир усомнился радостно: «Не может быть!» — и облапил меня, забывши авторитет.

Автомат установили на подстанции, подключили к цехам. Дежурные периодически смахивали пыль с верхних кожухов. Любопытство постепенно улеглось,

иссякли толпы «туристов». Я еще спрашивал по утрам, как здоровье моей машины. Дежурные монтеры снисходительно отвечали, что самое лучшее, и вроде бы удивлялись: какое отношение имеет этот молокосос к их сложной вотчинной автоматике?

Бригадир, чуть смущаясь, выдал мне однажды зубило и брезентовые рукавицы.

— С удовольствием! — обрадовался я. — Давно мечтаю.

...Не жизнь, а физика: ведь Нинка мне тоже объяснилась начистоту.

«Как я могла поверить, что такое из-за работы? Я думала, что у тебя другая девушка. Но если ты утверждаешь, будто во всем виноват автомат... — в голосе чувствовалось сомнение и солидная доза негодования. — Я и автомат!? Нет, ты должен обещать, что больше никаких автоматов!»

Я засмеялся и обещал исправиться. Я с удивлением за собой заметил, что перестал стесняться зубила и брезентовых рукавиц. Стал чуть-чуть умнее. А это не так уж сложно, когда поверишь в себя.

Постепенно подвиги мои на стезе автоматике забывались. Капустин вернул в обиход то самое специальное зеркало с подстанции и прозвище Любимчик. Но иногда!.. Автомат вдруг отколет номер: гудит не ко времени, молчит не к сроку. Фабрику лихорадит. Перерывы, чистки, обеды — неразбериха. Провозившись час другой, асы электротока вспоминали, что есть какой-то молокосос.

— Справитесь сами! — ядовито-вежливо отвечал я.

Они умильно просили:

— Забарахла машина, твоя ведь машина. Может, глянешь?

Я делал вид, что поглощен зубилом и молотком, хотя, признаться, соскучился по электронике. Их тон изменялся еще более:

— Проверь, пожалуйста, бригадир просит.

Тогда вроде нехотя, с напускной важностью я шествовал на подстанцию. Мыл руки, вытирал их тщательно и, только выкурив сигарету, приступал к анализу повреждения.

Хворое место находил я довольно быстро.

— Будет работать! — хлопал я автомат по кожуху. А про себя добавлял, страхуясь: «Если сам захочет».

Мне ли не знать причину этой его строптивости: автомат тоже соскучился без меня.

ЗОЛОТЫЕ РАЙДЫ

Они росли могучим кустом за изгородью у колодца. Наклонно, в разные стороны расходились вороненные стволы, упругие ветки никли к земле, а иные вздымались высоко вверх, высматривая что-то едва различимое на самом краю горизонта. Зима еще на дворе, а на райдах — жуками набухшие глянцевые почки. Чуть потеплеет — раздвинутся жучьи крылышки, проклюнутся белые пушистые комочки, будут расти, хорошеть день ото дня и, наконец, в одно ясное утро, когда на солнцепеке расцветет мать-и-мачеха, они превратятся в солнышки. Райды станут сплошь золотыми. Прилетят пчелы, запоют тяжелые шмели.

...Двенадцати лет я собрал котомку и пошел по белу свету. Я ходил так долго, видел и слышал так много, что даже забыл само слово «райда» и, когда вспоминал светящееся чудо на задворках отчего дома, не знал, как его назвать: ива, верба, ветла, ракета? Тусклые, казалось мне, неточные слова, а того забытого звонкого слова и в словарях я найти не мог!

И вот я на родине!

Все здесь теперь по-другому: люди потянулись к центральной усадьбе колхоза. Нет на месте ни дома, ни изгороди. На груде мусора — молодая крапива, лопущ-

ки, да фонариками горит развеселая мать-мачеха, а поодаль, как и раньше, — медвяное облако, запутавшееся в густых ветвях да расходящихся в разные стороны поседелых стволах.

Пожилая колхозница, которую помню невестой, стоит с ведрами у нашего старого колодца.

— Батюшко ты мой! — выговаривает она. — Родина-то, видать, влекет?

Глаза у нее полным-полны, морщинки у рта лихолетние; в ведрах вода скляная, и над золотыми райдами плывет густой шмелиный гуд...

ЗАЯЧИЙ ГОСТИНЧИК

— Ты чево-то ушки-то встопорил? — спрашивает меня мать.

Я молчу, настороженный, с полуоткрытым ртом и вдруг, отчетливо услышав скрип полозьев на улице, сваливаюсь с печи, подбегаю к окошку, припадаю губами к замерзшему стеклу и, торопливо счистив ногтями корочку льда, смотрю в глазок. В нем я вижу снег, березы, потом вижу Карюху и бревна, привязанные на дровнях обледеневшей веревкой.

Потом я слышу голос отца:

— Но, но! Пошла-а-а-а!

Дровни ползут быстрее, а мне не хочется, чтобы они ушли из моего глазка.

— Карюха, тпру-у-у-у! — кричу я и взвизгиваю, увидев, что Карюха остановилась. Умница — услышала, послушалась! Мохнатая стоит, вся в белом инее, и клубами пускает из ноздрей белый пар.

Потом я вижу отца. Он сваливает бревна, выпрягает Карюху. Вот потрепал ее по гриве, развязал чересседельник, ослабил супонь, ловким движением снял дугу и увел Карюху во двор.

В глазке — искристый снег, бревна у берез и пустые дровни.

Отец хозяйничает во дворе. Я знаю, куда он кладет шлею, куда седелку, знаю, на который из двух деревянных гвоздей, вбитых в стену, повесит хомут, знаю, сколько даст Карюхе сена.

Холодом пахнуло, овчиной и горячим потом. Это в избу вошел отец. Он смахнул с бороды сосульки, бросил на лавку рукавицы, снял тулуп и шапку. Я смотрю на отца, но не бегу к нему, хотя сердце у меня стучит, как наши старые ходики, когда их потянешь за гирию.

Отец скупой на ласку.

— Поклон тебе привез, — говорит он мне сдержанно. — Выстрекнул с-под елки заяц, пушистый, белый. Ты, дядя, спрашивает, знаешь ли Олешку? Такой... сопливый, лупоглазый. Увидишь — кланяйся, да вот — передай гостинчик!

Я шмыгаю носом, и верю и не верю. Смотрю — отец не смеется, роется в кармане, глядит искоса, хитро. Глаза сощурены, блестят!

— Ты что? Не веришь?!

И он подает мне завернутую в тряпку мерзлую горбушку хлеба. Пахнет от нее морозом, лесом и немножко — махоркой.

Я эту мерзлую горбушку с наслаждением грыз. Я и сейчас ее вкус чувствую.

ИСТОРИЯ

В школе тишина, все ребята ушли домой, я один ползаю в классе на четвереньках, пишу лозунг и думаю о старине и о том, как интересно быть учителем истории. Коленкам больно, поэтому я иногда встаю, отдыхаю, люблюсь творением своих рук, декламирую во весь голос: «Ленин и теперь живет всех живых!» Потом

снова принимаюсь за дело, а закончив работу, кладу кисточки в свою холстяную сумку с книжками и, в последний раз взглянув с удовлетворением на замысловатые вавилоны букв, ухожу.

Дома сумерничают — берегут керосин. Мать, свесив босые ноги с лежанки на печке, почти вслепую вяжет рукавицы отцу. Мне не терпится рассказать ей о древних славянских мужиках. Рассказываю, какие длинные белые рубахи они носили, какие у них были большие бороды, как они пахали землю и в это же время топоры и рогатины рядом в кустах хоронили на случай, ежели нападут кочевники.

Мать слушает внимательно, не перебивает.

— А ты знаешь, мама, какие роскошные хоромы они князьям строили? — говорю я, примостившись рядышком на лежанке. — А у самих-то избенки плохонькие, глядеть не на что! Вечером придут, при лучине поедят хлеба с квасом и валяются с устатку, как пьяные!

В сумерках на теплой печи, когда в трубе гудит ветер, а за окном шебаршит вьюга, оживали рассказы учителя Ивана Михайловича.

— Мама, ведь мужики построили Киев, — говорю я. — А ты знаешь, какой это Киев? Тот самый, до которого язык доведет!

Звонят колокола, мужики и мужицкие жены насмерть сражаются с татарами, падают замертво тысячами у крепостных стен. Русь лежит безлюдной пустыней...

Мать, отложив вязанье, испуганно крестится:

— Батюшки-светы, неужто взаправду все это было?

— А как же? — волнуясь я. — Не станет Иван Михайлович врать! Он говорит, все было! Да, говорит, только рано радовались супостаты! Из осиротелых, говорит, младенцев сызнава выросли мужики и бабы и поставили белокаменную Москву! А потом и вовсе татар разгромили на Куликовом поле!

Мать дивится моей учености.

— А я-то, старая, — говорит она, вздыхая, — век прожила, ума не нажила. Расписаться не умею!

Я закусываю удила.

— Да ты слушай, мама, что дальше-то скажу! Вот ведь побороли мужики татар, а жили-то все одно плохо. Работали на царей, да на бояр, да на господ. Ты небось слыхала про Стеньку Разина? Не стерпела его душа этого гнету, собрал он мужиков и пошел войной на царя! Только получилось плохо. На плаху попал! Потом объявился у мужиков свой крестьянский царь Емельян Пугачев. Поднял он мужиков и пошел на Москву. И опять получилось плохо! Казнили и его.

И мне кажется, я вижу огромную площадь, заполненную народом, в середине ее на высоком помосте стоит Емельян Пугачев, кланяется народу в пояс и говорит:

— Прости, народ, что поднял тебя на господ, да не осилил!

Палач в красной рубахе взмахивает топором, и мне хочется реветь от жалости и горя, что народ не знал тогда, как бороться за свободу и как без царя жить.

— Как же это народ не знал? — удивляюсь я. — Ведь это же очень просто!

На темном лице матери чуть поблескивают мудрые глаза.

— Просто-то стало, сынок, не сразу. До Ленина не просто было! — говорит она тихо.

ОДНОГЛАЗЫЙ МУКОМОЛ

За деревней, на лугу, вклинившемся в рожь, была круглая непересыхающая ляга. Она существовала вечно. И деды, и прадеды ребятишками катались в ней на самодельных плотках, вылавливали лягушачий нерест, жу-

ков-плавунцов, а повзрослев, ради шутки и озорства, прямо в платьях купали своих сердечных зазноб. Ранней весной бабы белили на ляге холсты, а как только растает снег — здесь от зари до зари вся деревенская ребятня.

Недалеко от ляги на десяти камнях стояла колхозная ветряная мельница. В июне весь луг около мельницы зарастал бубенчиками — купальницей. Девчонки навьют венки, ярко-желтые шаровидные бутоны — как бубенцы! Кажется, легонько шелохни головой — и поплывет по лугу негромкий глуховатый перезвон.

Бубенчиками зарастали пологие скаты горушек, обочины влажных канав, ольховые перелески. Густая зелень травы расцвечивалась их солнечной желтизной.

Я бегал по лугу около мельницы, взбрыкивал, как только что выпущенный на волю жеребенок. Не зная, как совладать с неистовой радостью, раскинув руки в стороны, я кружился на желтом от бубенчиков лугу. Я кружился до изнеможения и падал в траву, и мельница медленно кренилась набок, потом на другой, поле качалось из стороны в сторону, кружево недалекого леса то опускалось, то поднималось, а в небе захлебывался жаворонок, в лесу куковала кукушка, и ее «ку-ку!» падало в звонкое небо гулко и чисто, как первая весенняя капель в проталину перед окном.

— Кукушка-воробушка, скажи, сколько лет мне жить? — нараспев кричал я.

И добрая кукушка старательно куковала...

Мой отец был бесшменным мельником, а меня с собой в мельницу никогда не брал.

— Там Одноглазый Мукомол живет! — говорил он мне. — Он замарашек не любит! Ка-а-ак взглянет! И полетишь вверх тормашками!

Отец поднимался по шаткой лесенке, а я оставался внизу. Прибегала Ольгунька. Мы смотрели, как нетороп-

ливо и размеренно шли по кругу широкие мельничные крылья; прижавшись ухом к нагретым на солнце брезнам, мы слушали, как всем телом подрагивала мельница, словно живая. Она перемалывала зерно.

— А может, это Одноглазый Мукомол жует? — шепотом спрашивала Ольгунька.

— Ничего он не жует! — уверенно отвечал я. — Он мельничает! Борода у него большая, в муке, глаз плоской во лбу горит, бровь-то — во-о-о! Как сосулька повисла! Одна рука — метелкой, другая — лопатой! Муку метет, зерно сыпет!

У Ольгуньки удивленно округлялся в колечко ротик.

— А чем же он тогда жернов-то крутит?

— Чем-чем! Эх ты, девчонка! Знамо дело — задней лапой! Мохнатая такая, с когтями, и тоже — вся в муке!

...Мельница — она трудница. Не отверни ее от ветра, не привяжи крепко-накрепко веревками — будет работать и работать. Сама ни за что не остановится! Она — как мой отец. Он тоже ежели возьмется за что — не остановить. Да и другому не даст прохладиться!

— Нехрестьянин ты, вот что! — упрекал он моего старшего брата, застрявшего на пашне. — Ишь, белый мосол!

— Девки, вы чего расселись? Только на полосу пришли! Жните! — покрикивал он на односельчанок.

Отца боялись и уважали.

— Старик, передохнул бы ты! — просила мать.

— Молчи! — обрывал ее отец. — Мерин отдыхает, а человек работать должен!

Отец ревностно следил за мельницей. В непогоду ночью встанет не раз, выйдет из избы, посмотрит, не переменился ли ветер, пойдет к мельнице, попробует крепь, подправит, — не оборвалась бы!

После смерти отца председатель колхоза мельницу поручил колченогому Василью, и, то ли от небрежности,

то ли от неопытности нового мельника, зимой среди ночи мельница загорелась. Люди сбежались со всей деревни с ведрами и баграми, а подступиться к мельнице было уже нельзя: она горела, как сухая вересина. Проломились балки, и рухнул вниз, раскололся надвое тяжелый каменный жернов, а потом мельница дрогнула и, словно раздумывая, куда упасть, медленно повалилась набок. Взметнулся сноп искр, зашипели в снегу горящие бревна...

Настала весна, потом пришла другая весна, и погорье сплошь заросло бубенчиками, но я больше не кружился на лугу и ни о чем не спрашивал лесную вожжею. Наверно, я повзрослел, и, когда Ольгунька однажды спросила меня об Одноглазом Мукомоле, я ответил:

— Да что ты, Олька! Никак он не мог сгореть! Утри слезы-то, дурочка! Он ушел на село, живет там в другой мельнице! Вот пойдешь в школу, я тебя сведу к нему! Мы опять послушаем!

...Мне и сейчас хотелось бы послушать Одноглазого Мукомола.

ВЕЧЕРНИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ

Широко расставив босые ноги, отец сидит на бревне перед избой и отбивает косу. Далеко разносится металлический звон. Ему отвечают такие же, только приглушенные расстоянием звоны: мужики, придя с работы, готовятся к утреннему покосу.

После ужина в конце деревни собирается принарядившаяся молодежь. Парни в вышитых косоворотках, позубоскалив, подхватывают девушек и шеренгами идут вдоль деревни с песней:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе!

Мы, ребяташки, бросаем лопаты, пристраиваемся сзади. Колонна выходит за околицу, идет по проселку мимо ветряка, поднимается на взлобок, а оттуда — рукой подать до другой деревни, тихой, чуть забеленной вечерним туманом.

С «Интернационалом», с «Варшавянкой» мы идем по самой середине улицы. Отворяются окна, женщины сдвигают на подоконниках горшки с красным перцем и геранью, мужики бросают свои дела, выходят на улицу, ребята со всех сторон бегут к нам, приноравливаются, печатают шаг.

Революция идет по деревне!

Я пою, шагая рядом с поющей Лидией, босоногой, в ситцевом платьишке до колен. Волосы у нее прямые, русые, ровной линией спускаются к плечам; руки — сильные, добрые, а глаза — большие, искрящиеся, светло-зеленые, как только что распутившийся тополиный лист.

Лидия, моя сестра, — комсомолка. Это она придумала вечерние демонстрации на большаке, а родись она пораньше — была бы революционеркой, не побоялась бы бомбу в царя кинуть, за народ пошла бы и в Сибирь, и на смерть!

Вот такая моя сестра Лидия! Она и вышивать мастерица, и по дому все может, и на поле работница, и что ни спроси — все знает! А как она представляла попадью на спектакле! Народ — впокатушку! Животики надорвал! Недаром ребята за ней гужом! А ей — хоть бы что! Бедовая, смеется. Я, говорит, люблю только тебя!

Широкими шагами я иду рядом с Лидией, украдкой взглядываю на нее.

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног! —

несется над притихшей деревней, и, мне кажется, от этой песни, от нашей дружной поступи старый мир

сжежился, скорчился, забился в щель, как таракан, и даже усиками боится пошевелить!

В сумерках мы возвращаемся домой, влезает в окно. Мимоходом я получаю от матери подзатыльник, ложусь в постель, гляжу в черную темноту, и долго во всем теле у меня пульсирует песенный ритм, а в ушах, постепенно затихая, плывет песня.

ЯБЛОНЯ МИХАИЛА ФРОЛЕНКО

В темные осенние ночи быстро растет репа. Лида под вечер сбегает в поле, принесет полную корзину намытой в ручье репы, поставит корзину на лавку и скажет:

— Ешьте!

А в избе уже горит семилинейная лампа, черные тени колышутся на стенах и потолке. Корзина с репой стоит на свету. Я подбегаю первый, тороплюсь выбрать самую красивую. Вот — желтая, ровненькая, с тонкой кожуркой, вот — синяя, вот — пестрая, словно ее кто-то обрызгал фиолетовыми чернилами. Беру пеструю, кручу ею в воздухе за длинный белый хвост, а Лидия говорит:

— Нельзя за хвост держать: горькая будет!

Коровы подоены, лошади убраны. Настало то непродолжительное время вечернего отдыха, когда закончился день, а ночь еще не наступила. Семья собралась в избе. Все одиннадцать человек: трое взрослых мужиков, я, бабы, девки — все едят репу, только отец подтащил к свету хомут, подшивает войлок. Проткнет дырку кривым шилом, с обеих сторон просунет в нее дратву со щетиной, затянет стежок, снова проткнет, просунет, затянет. На хомуте ложится ровный прямой шов. Косоворотка у отца распахнута, рукава закатаны выше локтя, руки темные, как сосновые корни. На груди колечками

лежит борода, глаза из-под мохнатых бровей смотрят внимательно и серьезно.

Михаил вьет веревку, хрустит репой и с азартом рассказывает смешные и страшные истории. Его жена Дуня укачивает в зыбке маленького. Очеп скрипит сначала так: «Скрип-скрип-скрипотуха, на селе жила старуха!», а потом начинает скрипеть по-другому: «Скрип-скрип, нога! Скрип, липовая! Все по селам спят, по деревьям спят!»

А у матери зубов нету — скоблит репу ножом, улыбаясь слушает невероятные бывальщины сына о попах, разбойниках и мертвецах, разгуливающих по кладбищу.

В один из таких вечеров Лида сказала:

— Хватит тебе заливать-то, Мишка! А я вот настоящую бывальщину знаю!

Лида ходила в седьмой класс, читала интересные книжки, и она рассказала об отважной революционерке Софье Перовской, которая боролась за народную волю. Софью царь приказал казнить, а ее товарищей заточил в тюрьму, которая была не тюрьма, а могила для живых людей! Кто попадал в нее — умирал в темных каменных мешках. Даже выхода у тюрьмы не было, был только вход. Она была безысходная! И человека везли в нее, как покойника, в кибитке, наглухо зашитой рогожами, и никто не знал, кто этот человек и за что везут его в эту могилу, и люди, встретившие по дороге такую кибитку, в страхе крестились и молились за упокой души безызвестного страдальца.

Тюрьма находилась на диком Ореховом острове угрюмого и беспокойного Ладожского озера. Она называлась Шли-ссель-бург.

Я прислушивался к этому чужому, непонятному слову, и мне представлялось, будто бежит черная ледяная волна, шипит, свистит, пенится, и вдруг с грохотом

разбивается о камни: «Ш-ш-ш-лис-с-сель-бург! Ш-ш-ш-лис-с-сель-бург!»

Много людей сгнуло в этой тюрьме. Александра Ульянова тоже там повесили, на старом тюремном дворе, а потом какой-то узник посадил на этом месте яблоню, и она выросла, и сейчас растет, и дает такие яблоки, каких нету нигде, до того они крупные, румяные и сладкие...

Я спрашиваю Лидию, за что повесили Александра, кто был тот узник, который посадил памятную яблоню, что теперь находится в этой страшной тюрьме, и ночью не могу спать — лежу, думаю, слушаю... А на крышу неуверенно падают острые капли дождя, потом стучат настойчивее и вдруг обрушиваются сплошной лавиной. Мне кажется, что бушует Ладога у стен безысходной тюрьмы: «Ш-ш-ш-лис-с-сель-бург! Ш-ш-ш-лис-с-сель-бург!» В шуме ливня мне чудятся какие-то хрипы, стоны, вопли. Кто-то бьется головой о сырой каменный пол, кто-то кричит безумным криком. А там, в темном карцере, заживо горит герой-народоволец! Облил себя керосином и... подпалил! Плывет по тюрьме удушливый запах, шумят в камерах заключенные, окровавленными кулаками стучат в железные двери своих одиночек...

Засыпаю непонятно когда, и мне снится — стоит у дороги бородатый мужик в лаптях и крестится вслед проехавшей кибитке, обитой рогожами, и шепчет молитву, и смотрит на дорогу, по которой обратно не возвращаются...

Потом вижу неширокий двор. И я знаю — это тот самый двор, который 8 мая 1887 года не вместил виселицу для пятерых — троих вешали, двое — Александр Ульянов и Петр Швырев — стояли, смотрели, ждали своей очереди...

Я вижу во сне этот двор, вижу растущую во дворе яблоню с большими красными яблоками...

ЧЕМ СОЛНЫШКО ПАХНЕТ

Откинулся полог, прохладные Лидины руки усадили меня в постели.

— На сенокос в Бараново пойдём! Солнышко-то какое! До чего пахнет!

— Не обманывай! — бормочу я спросонья. — Солнышко не пахнет!

— Да что ты! — смеется Лида. — Оно такое духовитое! Разве ты не знаешь?

Я бегу поветью к широкому бревенчатому спуску — по нему на поветь может въехать Карюха с огромным возом сена. Солнце уже поднялось над лесом, с улицы плывет запах березы, из избы тянет только что выпеченным хлебом.

Трехрожковый глиняный рукомойник повешен на крылечке, рядом на гвоздике висит холстяной, в пелухах, утиральник.

Дома никого нет. Все до свету ушли на покос, а Лида сварила ячневую кашу, напекла пирогов с картошкой на тоненьких сочешках (картофниками они называются), смазала их, макая в топленое масло пушистой заячьей лапкой. Выпекла хлебы. Большие ровные караваи обмела со всех сторон голубиным крылом, сбрызнула водой, положила на полку один к одному, накрыла полотенцем. Вся изба наполнилась хлебным духом.

Мы с Лидой едим пироги, запиваем молоком.

— А чем солнышко-то пахнет?

— Да разве скажешь, чем? — улыбается Лида. — Самому надо учуять! Ужо я сведу тебя на горушку...

— А где горушка-то? На Баранове? Давай-ко тогда живо собираться! Поди наелись! — заторопился я.

...Мы идем сначала полем, потом лесом по мягкой, уже нагретой дорожной пыли. Я несусь в Лидином бе-

дом платке каравай и берестяную солоницу сапожком, Лида — корзину. В корзине — чугунок с кашей, кувшин с молоком и высокая стопа горячих пирогов.

— Надо после полудня на горушку-то идти, — объясняет Лида. — Да не болтать! Тишком-тишком! Смотреть да слушать, а то ничего не разберешь.

Заслышав вжиканье кос, мы пускаемся бегом.

— Тятя, приканчивай! — кричу я. — Картофники стынут!

Отец вытирает пучком травы косу, неторопливо шагает лугом, босоногий, большой, ладный, широкоплечий; подходит к нам, садится на землю. Над смоляными бровями у него — капельками пот, пряди темных волос прилипли ко лбу, слились с бородой, упругими завитками легли на могучую коричневую шею. Бабы на деревне судачат про него: «Ох и жук! До чего баской! Глазницами-то как зыркает!»

Подошла мать, подбежала с граблями Людка, пришли с косами Лизавета и Дуня, а Михаил принес пчелиное гнездо, найденное в прокосе, — соты, полные душистого меда...

Наелись-напились косари, и опять завжикали, запели косы. Мы с Лидой с девчонками да с ребятами принялись ворошить сено. Я не смел напомнить старшей сестре про солнышко, ждал роздыха и время от времени старательно принохивался.

...По склону горушки, заросшему розовым вереском, спускались оранжевоствольные сосны. Было уже за полдень, и солнце висело над лесом раскаленной добела сковородкой, на которой во ржи скрюченная Кикимора поджаривает баловных ребятишек. Я неслышно крался за Лидой, не замечая под босыми ногами острых сосновых шишек.

И вдруг Лида остановилась.

— Гляди-ко! — шепнула она. — Земля дышит!

Изогнутая хребтина горы мелко вздрагивала: дрожали кусты, розовый вереск, колебались ровные, золотистые линии сосновых стволов. Прилетел в красной шапочке дятел, сел на сосну, затукал, забарабанил — не понравилось, полетел дальше...

Мы поднялись на взлобок. Сосны на нем разбежались, образуя широкую жаркую поляну: на поляне — островки брусничника и вереска, старые пни, сухие ворохи сосновых шишек, тлеющими угольками везде — земляника.

Я взглянул на Лиду.

Она смаковала запахи, и лицо у нее было такое, словно она опять лакомится Мишкиным медом...

Пахло нагретой смолистой сосной, горячей сухой землей, земляничкой, муравейником и еще чем-то пряным, тонким и радостным...

СЕРДИТЫЕ ЩИ И КРАСНАЯ РОЗА

Осенью отец заколол свинью. Мать широким ножом разрежала каравай, разложила на столе одиннадцать деревянных ложек и поставила на середину стола одно большое деревянное блюдо наваристых щей.

Притихли все, и большие и малые. Радость радостью (ясное дело, не каждый день в доме скотину бьют!), но коли сел за стол — соблюдай порядок, ешь не спеша, уважай хлеб насущный и не лезь наперед отца, если не хочешь получить по лбу.

Отец неторопливо взял ложку, легонько ударил ею о край блюда, зачерпнул щи. Десять ложек одна за другой потянулись к блюду, но порядок смешался — щи были так горячи, что у отца брызнули слезы. Есть было нельзя, и главное, щи никак не хотели остывать: мешал плотный слой жира.

Отец строго посмотрел на мать.

— Что ж ты такой кипяток на стол подала?

На выручку матери поспешила Лида. Она проворно схватила блюдо со стола и через полминуты в материнском цветастом сарафане до самых пят и в платочке, повязанном по-старушечьи, плясала перед окнами на середине дороги вокруг дымящегося блюда со щами. Помешает их ложкой, попробует и опять — в пляс! Дробит быстрыми пятками, выбивает, босоногая, ровный кружок в первом, только что выпавшем пушистом снегу.

Соседи прильнули к окнам.

— Батюшки, да никак Наталья-то спятила! Гляньте-ко, что старуха выкомаривает!

Отец улыбался, а Лида принесла блюдо, церемонно поставила его на стол и поклонилась:

— Кушайте, гости любящи — толсты губищи!

...У дороги в поле напротив елки, под которой в сентябре я каждый день находил рыжики, была песчаная яма. На краю этой ямы, поросшем подорожником и ромашками, мы с Лидией клюквой и песком чистили самовар, поливали его водой из ковша. В сверкающей меди самовара качались растянутые ромашки, гримасничал мой веснучатый нос.

— Лида, расскажи о революционерах! — просил я, хоть по ее рассказам уже давно знал о народниках и декабристах, о Радищеве и Чернышевском, о Карле Либкнехте и Розе Люксембург.

У нас была книга «Красная Роза». Лида читала ее по вечерам вслух, и я думал: откуда берутся эдакие люди? А те, что пишут о них книги. Кто они? Неужли доподлинно, как мы? Так же едят, так же пьют чай, спят? Что ж у них слова-то другие? Человек тетивой от них напряживается, радость из него прыщет, а когда — горе его знобит и слезы из глаз каплют, никак не унять!

Когда Роза сидела в тюрьме, к ее окну прилетела синица и запела: «ци-ци-дзень! ци-ци-дзень! ци-ци-дзень!» Роза слушала вольную птаху, а заботилась не о своей воле, — о свободе для всех людей!

Потом я много раз слушал звонкое дзеньканье синиц и всегда при этом думал о Красной Розе. Ее убили враги. По-звериному, жестоко, прикладом... Так было написано в этой книге... И я ревел, ревел... Хоть это не к лицу мужику...

— Лида, расскажи о революционерах! — просил я, натирая клюквой самоварную конфорку.

— Я тебе все рассказала, — отвечала Лида. — Ничего не знаю больше.

— А ты валяй сызнава! — не унимался я. — Сызнава-то разве не знаешь?

И Лида рассказывала сызнава, а увлекшись, отставляла в сторону самовар, бросала на землю тряпку, встряхивала русыми волосами и начинала декламировать «Нелюдимо наше море». Сейчас я понимаю, почему, — ей не хватало своих слов. Тоненькая, прямая, упругая, она читала стихи! Она стояла в песчаной яме, как в быстрокрылой ладье под парусом:

Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!

В этих стихах о смелом безымянном пловце мы с Лидией видели и Пестеля, и Желябова, и отважную Красную Розу.

Прошли годы, я стал юношей, и, когда в первый раз услышал по радио песню на эти стихи, мне показалось — два молодых, дерзких голоса, летящие навстречу буре, зародились в нашей деревне; их, как птиц из клетки, выпустила на волю озорная деревенская комсомолка.

ДВЕ МАТЕРИ

Моя мать не стала горожанкой, даже навсегда поселившись в Ленинграде. Ее одолевали крестьянские заботы.

— Листопад-то ноне поздний, хлеба не померзли бы. Зима лютая будет! — говорила она.

На Марсовом поле у братских могил мать проходила молча, строгая и печальная.

— Каменья-то какие вытесаны! Батюшки!

Я объяснял ей, что эти камни привезены от Зимнего дворца, там из них была сложена ограда сквера.

— Царя, значит, они сторожили! — удивлялась она. — А теперь усопших героев охраняют, народу служат... А у Ленина-то мать где похоронена? Вот бы съездить к ней на могилку!

...Мать купила несколько красных гвоздик перед тем, как ехать на Волково кладбище. Одетая в длинное, темное платье, она неловко держала цветы негнувшимися пальцами...

О чем она думала? Может, примеряла судьбу Марьи Александровны к своей материнской судьбе и, потрясенная, не умея высказать своих чувств, в уме складывала какие-то корявые, жалостные слова? А может, она просто молилась?

— Злодеи! Сыночка-то Сашу повесили! — после долгого молчания сказала она. — А матери-то, горюше, каково было?

И она вытерла слезы кончиком завязанного под подбородком черного ситцевого платка...

Сейчас величественный памятник установлен на Волковом. Люди идут к нему, несут цветы, удивление, любовь. Я тоже недавно был там с такими же гвоздиками в руке, с какими тридцать лет назад моя мать стояла перед скромной могилой.

ВЕЛИКАЯ ВЕРА

Меня будит яркий оранжевый свет. Не отрывая глаз, я с удивлением вглядываюсь в него и, когда до сознания доходит, что это — солнце, неумемный восторг сбрасывает меня с постели. Шлепая босыми ногами, я бегу к распахнутому окну, забираюсь на лавку, грудью ложусь на подоконник и вдруг замираю от неожиданности — на улице пушистыми хлопьями падает снег.

Я бегу к матери.

— Мама, глянь-ко, — зима!

На дворе стоит лето. Не снег — райдовый пух кружит в теплом воздухе.

А мать готовится посадить в печь овсяную кашу. Каша стоит в кринках на столе, совсем еще не похожая на кашу. Мать протопит печь, выгребет из нее уголья, чисто выметет помелом глиняный под и ухватом, одну за другой, отправит кринки в жаркую печь и закроет ее железной заслонкой. Там, за этой заслонкой, произойдет чудо: молоко превратится в густую, ароматную кашу. Пенка на ней поджаристая, вздутая пузырями.

Такая каша у нас не часто, а на завтрак обычно — картошка да хлеб с чесноком. Мать ворчит:

— Был бы сам-то живой, не позволил бы крестьян обижать! Где это видано — молока детям нету!

Отец макает картошку в соль, насыпанную на столе, натирает чесноком корку. Я тоже ем картошку, грызу чеснок и думаю: «Кто это Сам?»

...Незаметно я стал парнем. Затерялся в траве холмик отцовской могилы, мать состарилась. Крестьянка, она тосковала по земле... Она ходила по шумным городским улицам, по магазинам, в которых полки ломились от всякой всячины; она удивлялась и радовалась жизни, как я когда-то солнцу и райдовому пуху. Принеся домой полную сумку разной снеди, мать первым делом раз-

резала пополам буханку свежего ржаного хлеба и подносила половинку к моему носу:

— Олеша, сынок! Ты понюхай, как пахнет!

Других слов у нее не было, но я все понимал. Мы дышали теплым хлебным духом и видели одно и то же: суслоны ржи, накрытые горячим куполом неба.

Мать говорила:

— Жисть-то какая стала у народу! Вот бы сам-то взглянул да порадовался!

И она истово крестилась.

Сейчас вижу ее, черную, высохшую, на крыше блокадного ленинградского дома... Вот она сбрасывает зажигалки... Вот — грозит костлявым кулаком в серое воющее небо:

— Прохвосты! Убийцы! Что они делают?

А вот — сидит с лопатой в руках у ящика с песком и молится:

— Господи, боже мой милостливый! Помоги нам одолеть этого окаянного Гитлера! Был бы сам-то живой, — шепчет она, — не позволил бы проклятому разбойничать!

Она сидит с лопатой в руках, смотрит с высоты на израненный город, думает о жизни, о своих воюющих и уже отвоевавших детях...

...Она и умерла на крыше, сжимая узловатыми пальцами лопату, извечное орудие земледельца.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ ХОЛМЫ

У меня была мать и целый мир, огромный и радостный.

У моей матери был только я, младший.

Я это понял с опозданием, когда она погибла.

Я вспоминаю теперь ее неустанную заботу, которая казалась докучной, слезы, которые казались смешными...

Я вспоминаю её крестьянское лицо, прозрачные глаза, жесткие, потрескавшиеся от грубой работы руки.

Я жалею, что не целовал этих рук, заставлял плакать эти глаза и, стыдясь нежных слов, не говорил матери «мамочка».

Мою мать похоронили в обширной и тесной могиле Пискаревского кладбища, у самых ног Матери-Родины.

Приходя туда, на то горькое поле, я смотрю на Мать-Родину, навеки застывшую с гирляндой цветов. Я вспоминаю неумолкающий звон жаворонков над прелой землей, знойные волны ржи, лес, пропахший сосной и земляникой, я чувствую давние запахи дикой ромашки, дегтя и горького дыма, слышу тележный скрип, тонкое ржание жеребенка...

Я ходил по земле, живя её нуждами: ждал то дождя, то ведра, ворошил сено, вывозил на поля навоз и не знал, что такое Родина. Я не чувствовал ее, как не чувствовал свое сердце, пока оно не болело.

Сейчас мне понятно: у меня была одна-единственная на всю жизнь мать, и есть — одна-единственная на всю жизнь Родина. В трудный час я лягу к ее ногам, как легла моя мать.

ЖИТЕЙСКОЕ

Повесть

Сызмала Павел Бухалов не имел в себе терпения жить на селе как положено, потомственно. Род его, славный усердной домовитостью, испокон тверскую землю обрабатывал и любил, неизвестному за околицей не завидовал. А в Пашке вот почему-то взыграло. Все-возможные книжки о сторонах дальних, краях иноземных, а также о городах, механизмах и тому подобной замысловатости оскоромили вековую бухаловскую закваску, одолели вконец. Еще мальчонкой, лет десяти, отважился Пашка на шоссейку выйти. Сунул краюху хлеба за пазуху, два яйца крутых в карман, один огурец туда же — вот и готов путешественник. От шоссейки, думал, и до стран неведомых рукой подать. Лишь бы не перехватили в пути свои, деревенские.

Единым духом отмахал двенадцать верст, и открылась ему у села Медное в натуральном виде дорожная красотища: голубая лента асфальтовая ровнешенька и беспредельна — во все миры. Напросился малец в молочный грузовик — историю себе сочинил: из Торжка, мол, катался бабку проведать. И доставил его тот грузовик в город огромный и многолюдный. Ахнул путешественник да не успел развернуться, глазом не

моргнул — в милиции очутился. А там дядьки догадливые. Мигом уличили Пашку в недозволенном бегстве, тем же днем возвратили с позором домой. В довершение всех неудач молчаливый отец задал Пашке жару сыромятной уздечкой...

Но что тебе выучка, что тонкие соображения, когда в ногах бесчинство, в сердце неистребимая маета и родная деревня — пятнадцать дворов — кажется убогой, всеми забытой пустошью.

Во второй раз Пашка исчез со знанием дела. Только через полмесяца обнаружился в городе Калинине у брата жены дяди Степана, — и то на чердаке, где его содержал на сухомытке и обещаниях лучшей доли родственник одноклассника Юрка. Для начала и порядка выдрали обоих. А потом Бухалов-батя задумался, обескураженный, о своем блудном: в кого тот пошел и что из него случится дальше? Зимой спустя, решив: сколько волка ни корми... — дал он полную волю беспутному Павлу: валяй на все четыре, хлебни шильцем патоки.

Отчий дом покинуть — не шутка. Одно — удирать наперекор всему, знать при этом, что догонят, вернут. И уж совсем другое, когда на прощание материнские слезы, всеобщий пересуд, когда Шарик, и речка Зайчиха, и лес, и беспощадно зеленеющие поля, и Колька-друг — все в последний, может быть, раз. Трудно уходил в свои дали Пашка Бухалов, но ушел: дали превозмогли.

Было ему в ту пору четырнадцать.

Поначалу в Калинине на родственных харчах и попечении жилось Пашке вольготно и радостно. Ремесла интересные осваивал, кино, мороженое употреблял в полной мере. А то, что по хозяйству требовалось крутиться, опять же в школу ходить, в вечернюю, так это не беда, не огорчение. Огорчение и тоска подвалили оттуда же: тесно стало вдруг Пашке в освоенном городе. Вновь

раздвинулись, разбежались миражные горизонты, напомнили о себе недостигнутые дали, яркой звездой путеводной замаячила в мечтах парня сказочная Москва. Каждодневно призывала она Пашку вкрадчивым радиоголосом, музыкой томительной и ласковой, всем существованием своим.

Бросив налаженное житье, очертя голову ударился Павел Бухалов в столицу. Обалдевал сперва: до крыш глазом не докинуть, улицы впятеро шире калининских, и по ним — население, небывало резвое, озабоченное сплошь и поголовно красивое. А еще по улицам автомобили лавиной — каких только нету! Вечером, что ни шаг, огненные буквы, со значением все. Страсть как понравилась Пашке внушительная Москва! Поступил он в техническое училище, выучился вскоре, начал сам возводить громадные дома.

Эх, и любо работалось ему в бесшабашной высоте! Вся Россия проглядывалась насквозь, и получка за месяц выходила немалая. Уж и Таня-отделочница — глазки-васильки — потревожила Пашкино сердце. Но тут пришла ему пора служить в армии, и не где-нибудь, а, словно в поблажку устремлениям, на самом Дальнем Востоке.

А как воротился на гражданку демобилизованный сержант Павел Бухалов, заподозрил он что-то неладное в строении собственной души и характера: не увидел прежнего простора Москвы. Понависли над головой бетонные громады, в ушах щекотало от кромешного гама городского, сквозь уличную толчею, казалось, и вовек не прodrаться. Значит, опять принялись за старое суетные мечтания — затрубили поход, разбередили неутоленную Пашкину бесприютность.

И заметался Бухалов по Союзу: Ухта, Норильск, Средняя Азия, Чукотка-полуостров... Но нигде, ни в каких причудливых и привольных землях, не находила

покая его отпетая натура, не екало сердце эхом на гостеприимный зов тех земель. Поразмыслив однажды, убедил себя Павел, что не пустое было подозрение про неестественность характера и души. Быть ему век скитальцем, решил, а потому от обиды на судьбу и бездомность начал он слегка водочку попивать. Сперва с приятелями по маленькой, дальше — больше, азартнее, уже сам с собой...

Таким вот и приехал странствующий Павел в поселок Надеждино Деревянского леспромхоза. Ничего не ждал, ни о чем не гадал, просто приехал — и ладно.

Надеждино словно кто с прохожей тучки сыпанул ненароком: кругом леса километрами, и вдруг — три десятка домиков. Зачем, почему, какая в них надобность? А присмотришься: постройки чинный ряд держат, улицы помечая, в тупиках груженные сцепы своей очередности ждут, вырубки окрест лежат, тракторные дороги вдаль уходят — и понятным станет смысл здешнего живого скопления. Пуповиной рельсов связано оно со всей Карелией и дальше. И хотя кажется хилым, непрочным малоколейный, в один тараканий ус, путь, а он-то именно и дает зримое объяснение долголетней стоянке лесорубов, кочевых людей.

Еще из вагонного окошка обвел Павел Бухалов глазом развернувшуюся картину, обмозговал предстоящее житье и не очень все это одобрил. Однако, не изменив своей всегдашней бодрости, скаканул на землю надеждинскую с улыбкой, с улыбкой же огляделся по сторонам.

Пустынность места не удивила Павла: середина рабочего дня, в тайге все, ясно. Паровозик-финн, «Сделано в Тампере», отпихнулся от вагона, в котором прикатил Бухалов, стал хлопотливо собирать порожние сцепы

И тут перед Павлом возник человек. Откуда вывернулся? Был он в штанах, закатанных под колено и мокрых выше колен, был белоголов и бос, но исполнен пронзительной важности. Стоял руки в боки, лупил на приезжего светлые безбровые глазенки — снизу вверх.

— Ты кто? — спросил наконец.

— Тракторист, — ответил Павел, посмеиваясь.

— А я Кораблев.

— Вот как? Очень приятно! Веди меня в контору, Кораблев.

— Дойдешь, не маленький. У меня своих делов полно, — он посучил пяткой о щиколотку, добавил, осуждая: — Ездют, ездют, а чего? Ты вот к кому, в ботиночках?

— Жить буду, работать.

— А-а-а, — потеплел тогда Кораблев и разрешил деловито: — Ну, живи, живи, ладно.

Подцепил Павел свой потертый чемоданчик, зашагал улицей. Навстречу женщина с ведрами — не пустыми, к примете, а с водой. Павел к ней: как, мол, в контору проследовать, есть ли начальство днем, столовка тут где? Женщина ведра наземь, сама в улыбку взаимную, настроилась поговорить с аппетитом. Еще бы: новый человек, притом из себя ладный да молодой, глаза веселые. Но не довелось ей и словом перекинуться, встрял меж ними Кораблев.

— Чего ты, — сказал, подбежав, — чего ты? Я сам тебе покажу, за мной давай топай.

— Топайте, топайте, — хохотнула женщина непонятно. — Он вас куда хошь проведет и выведет.

Они пошли. Кораблев, страдая от мелкоты своего шага, весь в мужское усердие погрузился, чтобы в ногу ступать. Павел сверху фонтанчик белесых волос на его макушке облюбовал. Потрогать хотелось. Спросил:

— Лет-то тебе сколько, Кораблев?

— Все мои, значит.

— Да? Ну, а в школу ходишь?

— Зимой ходил. Только они выпихнули, паразиты. А чего? Место зря пропадает, никто не сидит. Да я бы!.. Я до десятка считать могу и буквы знаю писать. А они...

Рассердился малец, обиду припомнив, насупил редкие бесцветные бровки, запыхтел в нос.

— Я тому Федьке, — заговорил буйно, — во рыло побил! Еще дам, пусть попадетсЯ. Учителыша ничего, это Федька ее подначил. «Тебе, — сказал, — в детсад надо, в школу не пора»...

Чтоб отвести малого от расстройства — не утешать же такого самостоятельного мужичка! — задал Павел отвлекающий вопрос:

— А какие ты буквы знаешь?

— Ого! — мгновенно переменялся Кораблев. Заскочил вперед, запыллил по дороге наоборот пятками, размашисто замелькал руками, свою грамотность наглядно излагая: — Во, это «п» — как ворота. Смотри, буква «о» — колесом. А это тебе стропила с перекладиной — значит «А». Понимаешь?

Было забавно видеть эту такую возбужденность мальчонки. Однако подумалось Павлу, что не много исчертит он воздуха, движась таким вот манером.

— Погоди, кувырнешься ведь... — начал Павел, да не успел.

— Спасибо, я уже! — крикнул Кораблев чьей-то шуткой и рассмеялся с земли. Потом вскочил на ноги и, отряхнувшись, сказал успокоительно: — Ты не робей, я привычный. Давеча вот с крыши летел — шею было не сгибнуть...

Честно говоря, Павел опасался запоздалого рева. С малыши это бывает: сгоряча крепятся, а спустя время грянут. Потому он и посщрил скорее беспримерную стойкость Кораблева:

— Ну, молоток! Так шмякнулся, и ничего. Ну, герой!

— Будет тебе, — отмахнулся мальчонка. — Ты вот постой, я слово нарисую. Прочитаешь? Я сейчас.

Он покружил, щепочку выискивая, нашел ее, присел самолично совершить чудо письменности. Долго резал дорожную пыль — лопатки ходуном, — благоговел и восторгался собой, заслоня до поры свое творчество. Когда же осилил задуманное слово, встал, любуясь им.

— Во! Теперь читай.

— Па-па! — торжественным голосом произнес Павел, чтобы порадовать грамотея. — Здорово пишешь. А твой отец кем здесь?

Обронил это Павел и тотчас понял: напрасно. И ведь всего досадней, что вопрос свой сунул без интереса и цели, ляпнул просто так. А мальчонка, несмышлениш уязвимый, сразу нахохлился весь, подобрал губы в тонкую недетскую ниточку, свет в глазах потушил. Потом затоптал раскосые буквы на земле и лишь тогда ответил:

— Твое что за дело? Я про твоих детей не спрашиваю.

— Да ты чего это, брат? — беспокоился Павел.

— Ничего. Контора. Пришли.

Нарушив суровую степенность, Кораблев припустил к административному дому, вспорхнул на крыльцо, дверь настежь откинул и весь конторский люд с порога оповестил:

— Во! Тракториста привел нового. Нател!..

Павлу же, всходившему следом, все-таки ублажил душу миролюбием.

— Ладно, — сказал, — ты тут давай не мусолься долго. А я к коменданту. Велю, чтоб он матрас тебе дал хороший, не плохой. Сам посмотрю, а то он подсунет мякину, жлоб старый.

Обычно новые места и люди ненадолго утоляли в нем жажду перемен. Два-три месяца Бухалов довольствовался неосвоенным уголком планеты и непримелькавшейся публикой. Но уже полгода спустя замысливал он дальнейшие маршруты и самые невероятные точки на карте. Подивиться можно, как такого ветроногого человека брали всегда и всюду на работу. Правда, был Павел Бухалов не рвач — рубли не догонял, характер имел для общежития удачный, а к тому же специальными отличался нужными позарез в любом отдаленном крае. Ну, а то, что шастал по свету налегке, без ответственности и неприкаянно, так кому до этого дело? Вреда и обид за ним не числилось, даже наоборот: уволил он с каждой жизненной стоянки по несколько фамилий и адресов в записной книжке, да только забывал раскрыть ее потом на нужной странице.

Лишь немногие попрекали его за все это.

— Экое ты явление природы, — говорил в сердцах один уральский философ, сторож овощехранилища, — смотреть больно! Бежишь, бежишь, а куда? Деньгу зашибаешь, а зачем? Потому без жены и друга. А человечеству такого права нет! Всякая сообразительная личность должна знать свой корень, и смысл, и назначение...

Павел возражал:

— Может, оно и есть мое назначение — землю исследовать! Все узнать хочу, все изведать. Для того и ноги человеку.

— Чтобы землю изведать, не обязательно ее ногами топтать, — втемяшивал Бухалову старик. — Ты умом простирайтесь научись! Вон даже космос через посредство мысли решили. А ты... блажь твоя, вот что.

— Ну, не сидится мне, дед! Не пойму я тех, кто в своем болоте всю жизнь. Годами одно и то же, одно и то же. Не могу так!

— Э, сможешь. Без привязки, это да, невозможно. Не нашел ты пока.

— И не найду!

— Эка! Оно ведь и само тебя отыщет. Еще неизвестно: человек за счастьем ходит или оно за человеком. Ты не рыпайся лучше, жди...

Тот уральский философ, задумчивый и проникновенный из-за долгих караульных ночей, оказался прав. Свернул Павел в Карелию только лишь песни ради: несравненные края, сниться будут и прочее. А вышло — и сам до конца не уразумел, что и как вышло. Уезжать, во всяком случае, из Надеждина он не хотел. Работалось ему здесь отрадно, спалось отдохновенно, и окоянные дали не мерещились больше. Мирно ехал он утром на участок, трелевал с удалью, в лучшие сразу выбился. И не нашлось промеж обойденных им трактористов ни одного завистника: безоговорочно оценили все рабочую сноровку новичка.

А бригада его — три мужика и две умелые бабы, по сучкам спецы, — прямо-таки души в нем не чаяли. Понятно, с Бухаловым их зарплата в гору полезла, да и вообще. В обеденный перерыв или перекур не то что свои, с других делянок сбегались работяги послушать бухаловские бывальщины — не зря он Россию исколесил.

А среди дня, как переключка, разносилось по лесу:

— Бухало! Эй, Бухало! Идет помощничек, идет!

— Ну, чего блажите? — сердился Кораблев, подходя. — Не потеха я вам...

Влезали в кабину оба, трудились до вечера вместе. Павел рычагами ворочал, песни орал во весь голос. Кораблев машиной руководил: «Задний! Помалу! Лебедкой тяни!» Еще чекеровщиком командовал, гаечными ключами распоряжался. Всего более ликовал он, когда трактор, упершись лафетом в землю, вставал

на дыбки от непосильной тяжести зацепленных стволов, а после валился мордой вперед, укротив сопротивление груза. Ухало сердечко Кораблева при этом, и кричал он с уверенностью:

— Нет, хочу трактористом!

— Что? — сквозь моторный гром отзывался Павел.

— Трактористом, как ты!

— А летчиком?

— Летчиком потом, сперва трактористом!

— Ну давай!..

Сухой летний лес падал, изводился вокруг, но не замечал Павел в его крушении отчаяния гибели. Полезность дела освобождала от греха, трудовой восторг побеждал всяческие сомнения, а рядом елозил на сиденье обстоятельный и незаменимый для души человек. Павел нет-нет да и улыбался ему безмятежной, невольной улыбкой. Кораблев, забывая всегдашнюю суровость, тоже сиял в ответ серыми глазенками.

— Еще парочку соберем, а?

— Во, спрашиваешь! Конечно. А то план не натянем.

Пошабашив, шли они, усталые, довольные собой, вдоль составчика из трех вагонов-маломерок, которые возили повальщиков на участок и обратно.

— Э, мужики! — звали их. — Садись, пока без билетов! Не наскучило пехом-то шпарить каждый день?

Павел помахивал на прощанье рукой, Кораблев мимходом огрызнулся:

— Не ваша забота! У нас, поди, семеро по лавкам не пищат.

Напрямик до поселка верст пять считалось. Путь этот уматывали они за два часа — не торопясь, с привалами. Дорогой беседовали, дивились по сторонам, доверяли друг другу мечтательные секреты, будущность свою представляя по-всякому.

— А что, в лесники мне податься? — размышлял Кораблев.

— Дело, — соглашался Павел. — Хорошее дело, я уж сам для себя прикидывал, — и дышал, дышал полной грудью.

Тропы тенисты, и коридорчик юрко спешил в глубину леса, но не спешили зачарованные путники к скорейшему развороту ожидаемых чудес. Они блаженствовали, смаковали природу глоточками. Ведь столько всего!..

Вот мотылек осенним листком трепыхнулся, муха незаметная, басовитая резанула воздух некомнатным зудом. А вот певчая птишка, на гибкой ветке себя раскачав, затинькала с упоением, будто росными каплями в чистую лужицу. Другая где-то над ухом закрутила спиральную трель — мелкие серебряные завитки, все крупней, ленивее, — и оборвала со звоном натянутую нить. А еще одна взбередила лесную гладь дробным пулеметом, еще — жеребеночком нелепым взыграла, еще — запрыгала голосом вверх-вниз, как по струнным ступенькам, спотыкаясь, забавы ради, кидаясь к началу, все настраиваясь на особый лад, и вдруг — забыла себя...

— А птицей хотел бы ты? — запуская свои мысли в полет Кораблев.

— Спрашиваешь!.. — только и мог Павел.

— И я! — Мальчонка для сравнения глаза в землю утыкал, тут же интересовался: — А мурашом?

Сам он был не прочь воплотиться в любой образ: деревом стоять, жучком-крохотулькой в травяных дебрях шмыгать, даже лягушонком скакать не брезговал. Одного только камня роль, замшелого, обреченного, недвижимого, не соглашался принять Кораблев, обзывая его пребывание в мире неласковым словом. Зато всевозможную растительность, от мала до велика, хоть она

тоже с положенного места не страгивалась, без труда оживлял мальчонка в своем представлении. Цветы и травы у него слушали землю, знали загадочную суть произрастания. Кустарник и подсад тянулся взвысь — также похвальное занятие. Ели-вековухи в даль просторов глядели, тайны многолетия хранили, мудрые разговоры вели.

— Ты замри, — говорил Кораблев, — замри и на востри ухи. Слышишь, буквы тянутся: фффу, шшшу, хххы — и еще разные. Это они нам сказать хотят, да не умеют. Все буквы не знают, вот у них и не получается.

Оживляя воображением встречные деревья, он даже характеры их распознавал. Одинокую, тревожно кряхтящую сушину — скелет без ветвей — звал Кораблев Жлобом, а еще Комендантом. Скособоченная, изглоданная старостью, в шишках грибковых наростов береза была у него Мачехой. Гуляками именовалась резвая поросль со свечками молодых побегов на кончиках упругих лап. Вставали также на пути друзей-приятелей и Мастер, и Учительша, и Васька Ковтун, и Печник Тимофейч, — все в древесном замысловатом обличе.

Под Степанихой они присаживались пошебаршить натруженными ногами в опрятном, поспешном ручейке, понаблюдать течение вод, потолковать подробней о разном. Кораблев глубокомысленно заводил:

— А вот пойти за водой — к морю выйдешь?

— Выйдешь, — отвечал Павел.

— А к какому?

— К Белому, наверно.

— Чего? К белому? Оно что, как молоко? И берега кисельные, да?

— Нет. Это ему название такое, морю. Есть и Черное, и Красное...

— Ну да? А далеко? А Черное тоже не черное или как?

В другой раз спрашивал Кораблев о пауке: почему в нем столько нитей липучих, где они помещаются — такая уйма, откуда выходят наружу и для чего? Еще про муравья интересовался: сильный ли — экую травину прет! — зачем живет скопом и что будет, ежели в человеческий рост вымахает? Все это Павел разъяснял шутя, по собственному усмотрению. Но случалось и так, что было не подыскать удобного ответа для таких, например, вопросов:

— А зачем петух курицу топчет?

В подобных затруднительных моментах Павел кидался спиной на траву, обращал свой взор к облакам или же прикрывал глаза, — мол, отдохнуть захотелось. Кораблев рабочую усталость уважал, хоть и не шибко верил мгновенной надобности покоя. Все же отходил он в сторонку, чтоб не мешать и попутно отправлять на щепочке какого-нибудь ретивого жука в дальнее плавание к цветным морям. Но потом опять-таки выбирал минутку, ошарашивал Павла:

— А что, если бы у нас зеленая кожа?

Павел, охраняя свой авторитет, сбивал любознательность малого на доступное разуму. Про города говорил, про дальние края, где и без выдумок полно всяких диковин, заводил речь обо всем, что когда-то озадачило его самого. Однако не ахал исконный надеждинский гражданин неопишваемым штучкам, ему и под боком чудес хватало. А про город он сказал с чужого, бывалого голоса:

— Чего там? Жилье впритык. Теснота и шум. Пропадешь за копеечку.

И Павел, отнюдь не согласный с мнением Кораблева, все же его не оспаривал. Боялся возбудить в малом опасное тяготение к бродяжничеству. А может, не сознавая того, и сам он, пресытившись скитаниями, исподволь порывался душой к устойчивому существованию

в оседлом, домовитом мире. Ведь думалось же ему порой: «А что, в конце концов? Жениться на Ольге, и все тут!»

— Слышь, Колька, — говаривал Павел, вроде бы шутя, — ты в отцы меня взял бы? Гожусь я тебе такой?

— А чего? — Кораблев глядел на дело всерьез. — Ты хороший, иди, я ничего не скажу. И мамка тоже, я знаю. Давай иди, не робей.

С чего же повелась та поразительная и симпатичная всему поселку дружба? Какие порывы и влечения связали, по беззлобному выражению некоторых, черта с младенцем? Ходили на сей счет мнения, по мере болтливости и устройства натур догадчиков, разные: дескать, характерами совпали, одиночество Бухалова заело, через Кораблева к его матери метит бездомный мужик в примачи. Возможно, и была в этих предположениях доля подспудной правды, только сами приятели о том ничуть не задумывались.

Просто на третий или четвертый свой день в Надеждине столкнулся Павел с Кораблевым возле магазина. Вернее, тот натолкнулся с разгона, замарал ржавым обручем парадные брюки Павла. Ну и сконфузился, конечно, не только для порядка: знал цену вещам Кораблев. В целях компенсации существенного урона протянул он Павлу проволочную правилку, обод боечный.

— На. Покатай, — сказал испуганно.

— Ладно, — отмахнулся Павел. — Все равно штаны стирать придется. Дуй своей дорогой, не волнуйся.

Мальчонке, знакомому с подзатыльниками, такая душевность приезжего пришлась неожиданной, понравилась. Воспринял он духом, обнахалился и потому даже требовать стал:

— Нет, покатай, покатай! Оно у меня во, круглое, глянть! По всему поселку не сыщешь такое хорошее колесо. Ну бери же!..

— Некогда мне, в другой раз, — вертелся Павел в смущении.

— Что надо сегодня, не складай на завтра.

С этим затейливым афоризмом начал Кораблев напирать ржавой железкой, снова угрожая чистоте Павловых брюк. И тогда признался Бухалов, что просто стесняется бегать за обручем у взрослых на виду. А Кораблев тут же возразил: не способен, дескать, не способен! Такого укора Павел уже не стерпел. Разгорячился он, раззадорился, схватил мальчонкино приспособление и помчал по тропинке, и завалил колесо в пяти шагах от старта.

— Не густо, не густо! — шумливо расхохотался Кораблев. — Я все улицы могу обкрутить, а ты сразу. Куда тебе, не можешь!

— Надо говорить «не можешь», — попробовал Павел замять свое посрамление. — Большой, а по-русски не научился.

Но Кораблев не клюнул:

— Пускай — не можешь. А все одно — упало. Эх ты, руки-крюки! Тракторист называется...

Чтобы сбить с малого спесь, отыгаться как-то, вспомнил Павел хитрую задачу: поглаживая левой рукой собственную голову, правой живот похлопывать, опять-таки свой. Причем все это нужно производить одновременно и не сбиваясь — координация движений.

— Ага! — возликовал он, предвкушая оплату. — Пойдем упражнение тебе покажу. Если сделаешь то же — твоя взяла. А нет — умолкни про колесо и не смей!

Кораблев согласился: чего ему терять? И потому как не захотели впутывать в дело прохожих, отошли они с глаз долой за магазин. Там и продемонстрировал во

всем блеске проворную ловкость своих рук Павел Бухалов.

— Ну, — сказал с торжеством, — а ты?

— Хоп что, — снебрежничал малый, чересчур уверенный в себе.

Для удачного свершения фокуса заглотнул он побольше воздуха, приладился, начал, да не вышло. Ошеломленный внезапным неповиновением рук, заупрямился Кораблев, — не терпел он неподвластных ему дел, — стал оглаживать и лупцевать себя, не щадя ни макушки, ни брюха, но все не так.

— Ну, будет, будет, — сказал Павел, насмеявшись досыта. — Отобьешь кишки и мозги с непривычки.

— Пстой! — Кораблев даже ногами затопал. — Сейчас... во! Нет... во! Ну!.. во-во... гляди, — и задохнулся от досады.

Сколько ни пробовал Павел унять страстного ученика, не удалось. Так и ушел он, оставив малого в тщетных потугах овладения навыком.

А наутро, еще до раннего выхода на работу, влетел в общежитие победный Кораблев, крикнул Павлу:

— Эй, глянь! Глянь! Уже могу! — и представил упражнение без ошибки.

— Ну, ты даешь! — изумленно похвалил Павел. — Долго ли осваивал?

Непоправимо рыжий, конопатый и, вероятно, потому неистово ехидный слесарь Матвеев посмеялся над ними с издевочкой. Мол, дурью маетесь, приятели, больше ничего. Мальчонка, утратив мимолетную радость, не сдержал внезапного гнева. Лютым взглядом стегнул он обидчика, плюнул на порог и сбежал, чтобы порезветь, быть может, где-то в уединении.

— Что же ты, — осудил Павел рыжего слесаря. — Нашел над кем остроумием сверкать. Беззащитный ведь...

— Ничего себе «беззащитный!»! — уперся слесарь. — Такому палец в рот, а он по локоть отхрюпает. Ты, Бухало, не знаешь. Этот Кораблев еще тот фрукт — ранний! Не слышал разве, как он меня?

Тут, правды ради, необходимо упомянуть кое-что, предшествующее последним событиям. По причине ли безотцовства, а может, и по другой, но был Кораблев действительно сильно замечен своим неуправляемым нравом. Про иную ребятню, помимо собственных Сашек да Машек, взрослые и понятия-то никакого не имели, путали даже соседских детей. А вот Ольги Кораблевой постреленка весь поселок издали узнавал. И неудивительно. Числом преступлений и разного свойства okazji, с ним происшедших, забивал Кораблев всех сверстников своих. Ну, высаженные стекла, смятые грядки, упущенные в колодец ведра и прочие ценности, а также падение с дерева или крыши — это у многих бывало. Зато ни один надеждинский житель дошкольного сословия не ночевал в запертой кузнице, не разрисовывал охрой слишком белого живого петуха, не разламывал радио в детском саду и не проваливался в отхожую яму. И уж, конечно, никто не пользовался запретными возможностями взрослого языка на манер осмелевшего рано Кораблева.

Поэтому из детсада Кораблева турнули — как испорченного ребенка, склонного к разложению коллектива. Ольга, мать, хоть и опечалилась, но не предельно. Ее малый, вполне жизнеспособный и без воспитательного руководства, умел к тому времени варить картошку, резать хлеб. Чего еще надо? Сам Кораблев тем паче не горевал на свободе.

Обреченный на бесконтрольную вольность, бегал он поначалу дразнить своим счастливым положением узников детского сада, но скоро ему надоело. В мире то и дело что-нибудь случалось: поезд приходил с Де-

ревянки, трактор не чинился, в магазин привозили всякую всячину, — и нужно было повсюду успеть первым. Он успевал: подсоблял везде и всем, кому мог или даже не мог. Своей неиссякаемой энергией, мужским обхождением и всеобщностью приобрел он себе веселую популярность, коей потеснил в поселковых умах саму Ольгу Кораблеву. Уже не он состоял при матери, а, наоборот, мать при нем — так представлялось людям.

Понятно, что столь знаменитая личность не случайно запала в душу Павла Бухалова. А позднее, когда удачливый тракторист прославился трудом, а биография Кораблева стала ему известна до тонкостей, взаимное их тяготение друг к другу обрело некоторую форму товарищества. Возможно, в порывах и нескладности малого подозревал Павел ту же закваску, какая в нем самом доигрывала хмельное кружение. Может, и напротив: приверженность к родной местности очаровывала. Одно лишь было наверняка и вразрез досужим гаданиям: в Ольгин дом Павел вторгаться не хотел, никогда не помышлял даже.

Кораблев как-то предложил:

— Пошли к нам. Мамка велит тебя привести. Давай пошли, а?

— Зачем я пойду? — искренне удивился Павел. — Я ее и знать-то не знаю, твою мамку. Выдумал тоже.

— А ты узнай, обознакомься.

— Да зачем?

— Ну, какой ты! Мало ли... Тем летом у нас примак жил, конфеты мне давал, и ты вот... Ну, не бойсь же!

Разговор этот случившийся неожиданно, так ничем и не кончился. А поводом к нему послужила нечаянная встреча в лесу. Еще впервые для обозрения округи и культурного отдыха шагал Павел с участка в поселок по лесной тропке. Подле ручья, под елкой разлапистой,

увидел он издали Кораблева — щуплый комочек человеческого смятения. И хотя было в его позе и уединенности нечто Аленушкино, а все же не тихую задумчивость — боль и скорбь заподозрил Павел по мальчонкиной спине. Кораблев что-то бормотал дрожащим голосом, и Павел замер, не дойдя.

— Водичка, водичка, уплыви меня. Иголка, иголка... а твоя мамка кто? Ты почему сама?.. Ты тоже?..

Но тут, предавая Павла, хрястнул под сапогом иссохший сучок. Кораблев дрогнул вихрастым затылком, посмотрел себе за плечо, показав пугливые прозрачные глаза, и опять скрючился, всему посторонний.

Чутьем неугасшего детства разгадал Павел Бухалов великое мальчишеское горе. Опустился рядом на волглый бережок, молчал, не тратя утешительных слов, ждал. Но Кораблев безмолвствовал упорно, и эта истовая скрытность несчастья тревожила Павла сильнее слез, промытые следы которых сохраняла упругая щека мальчонки.

— А я могу пятак в руку затереть, — начал Павел безоблачно. — Смотри!

Кораблев продолжительно вздохнул, отер сухие глаза рукавом.

— Ну, смотри, смотри! — Павел разыгрывал жизне-радостность и восхищение фокусом. — Вот, беру на ладонь, тру, тру, тру, — хоп! Не вышло. Тру, тру, — хоп! И нету. Пропал пятак, ага!

Уголочком взгляда поймал Кораблев таинственное исчезновение монеты. Еще храня в глазах тени усталой грусти, чуть подтянулся Кораблев, приподнял голову, с хрипотцой выдал:

— Ну-ка, снова...

— Пожалуйста! — Павел уже ликовал неподдельно. — Спешите видеть, граждане! Неподражаемый Пал-Бух дает последнее представление! Хо-оп!..

Пятак неправдоподобно и начисто затирался в рукав и даже в голый локоть иллюзиониста — раз, другой, третий. Дальше Кораблев терпеть не мог.

— Мне втери, — потребовал без улыбки и подставил ручонку.

...А через полчаса, когда сущность этого и еще нескольких фокусов и загадок на спичках была выявлена, заговорил он доверительно:

— А чего? Стенка-то не железная. Я за гвоздь не тащил, он сам вытащился. Я хотел посмотреть, какое оно сзади, зеркало... А она как закричит: «К покойнику, к покойнику!» Потом ругаться стала... Я и сказал, потому что врет... А она как даст!.. Говорит, батька от меня уехал. Говорит, я ее загубил. Видеть не хочу, говорит...

И еще, и еще разматывал свои бесконечные обиды, большие горести маленький человечек. Возможно, мнилось ему, будто, пересказав все такому внимательному мужику, Бухалову, опростается он навек от прошлых бедствий, а с тем и дальнейшее его пребывание на земле просветлеет, достигнет счастливых пластов. Впервые так изливался мальчонка, и впервые слушали его по-серьезному, на равных, без взрослой конфетной ухмылочки. Ну, как тут смолчишь?

— Федька байстрюком дразнит... Наташке самокатку на три колеса купили, велосипед называется... Вот воротится и мой, я им покажу! Смеются с меня... А мне батька все привезет, у него денег прорва. Не веришь?

Чтобы не переполниться, не захлебнуться и самому тоской безотцовства, пробовал Павел отвлечь малого от его злоключений. Про себя намекал: как беспощадно жилось и ему. На головастика, в ручье забавлявшихся, внимание обращал. Чукоткой опять-таки дивил, Сибирью и песчаной Азией. Кораблев принимал все это вполуха,

без азарта, а потом снова углублялся в душу свою, словно хотел достать самое доньшко.

— Мамка — что? Вот вырасту и женюсь на ней. У всех мужики, а у мамки нету. Худо бабе без мужика. — И вздыхал протяжно, по-взрослому. — Мать меня любит, я знаю. Сперва надает, а после сама ревет, и плачет, и целует...

Долго просидели они у ручья. Уже стало им скучно и надоел скорбный разговор, но ничего другого не хотелось — ни фокусами бодриться, ни домой идти. Но приканчивал жаркие краски дня торопливый вечер, суматошные птахи устраивались просмотреть свои птичьи сны, стихал сквознячок в вершинах елей, множились комариные ватаги. И наконец, встал Павел на ноги, потянул за руку Кораблева.

— Двигаем, брат. Заболтались мы с тобой. Мать-то уж ищет, наверно.

— Не ищет, — пасмурно ответил мальчонка. — Куда я денусь? Знает...

И вдруг, все еще сидя на земле, сопротивляясь подъему, но не отбирая ладошки своей из Павловой, сказал Кораблев странным голосом странные слова:

— Ну, погладь меня. Погладь по голове, ну!

Это так не привязывалось к его непримиримой стихийности, звучало так жалко, просительно, хоть и с настойчивой грубостью, что усомнился Павел в смысле внезапного требования. Когда же осознал, а осознав, потянулся осуществить простую ласку, нужный момент уже иссяк. Кораблев выдернул пальцы, взвился сердитой пружинкой, и Павлу ничего не осталось, как проворчать, разыгрывая небрежность:

— Чего тебя гладить? Не котенок ведь. Давай лучше на плече прокачу.

— Сам, — буркнул Кораблев, устремляясь вперед, — не маленький.

Павел в один шаг настиг, сгреб, подкинул легкое мальчонкино тельце в вытянутых ручищах.

— Ну, ты!.. Не гуди, Колька! — И заботливо устроил его верхом себе на шею. Ударил оземь каблуком, точно копытом.

— Ладно, ладно, — все еще несговорчиво кряхтел Кораблев, — уронишь. Бочки бы на тебе возить! Во разбаловал...

А сам сжимал шершавые щеки мужика, чутко ловил ладонями большое, сильное человеческое тепло и, замирая в забвении, старался продлить секунды незнакомой сумятицы чувств, отчаянно радостной и пугливой.

— Шибко едешь! Ты потише, потише, стропило!..

— А вот я рысью! — крикнул Павел и действительно рванул по тропе лихим жеребцом, хохоча и подскакивая.

— Ветки, ветки! Глаза повыколем!

— Пригнись!

— Ой, бухнуть! Ой, спотыкнешься! Ой!..

— Не трусь, Колька! Аллюр!..

Они хохотали оба. Они кричали всякие невольные, бездумные слова, но было в этих выкриках не меньше значения и взаимной, проникающей понятливости, чем в горестных рассуждениях возле ручья. Может, именно тогда, при сумасбродной скачке сквозь вечерний лес, и народилась их утешительная потребность друг в друге, и сговорились они клятвенно обо всем сокровенном языком души.

Руки Кораблева пахли смолой, к лицу прилипали. Его колени азартно тискали Павлово горло. Но казалось взрослому чудачку, что помчал бы он и дальше, и дальше вот так: со счастливой ношей на плечах, с ответственностью за нее, со смехом и легкостью в сердце, — все дальше, всю жизнь...

На выходе к поселку заворошился Кораблев, заскандалил опять, стыдясь наблюдательного народа.

— Пусти! Пусти, тебе говорят! Хватит. Ну, хватит! Чего я тебе? Я не твой сын и не маленький — на чужих ездить.

А когда пошли рядом, минуя людские взоры, пригнулся мальчонка, потянул Павла за рукав.

— Ты вот куда, в общагу? Ты давай лучше к нам иди. Мамка хочет...

Павел отказался, посмеиваясь, чтоб не выдать необъяснимой смущенности. Проводил приятеля до дома, на прощание в лес позвал на тракторе кататься. А тем временем выпорхнула на крыльцо быстрая Ольга Кораблева, вроде бы сыновним отсутствием разволнованная. Исхлестала малого бесчеловечными названиями, изображая материнскую строгость, потом оборотилась к Павлу с улыбками:

— Спасибо вам, большое спасибо, что пригнали моего баламута...

— Он и сам пришел бы, — сказал Павел неласково. — И чего ты его ругаешь, не пойму?

— Будто вы своих не ругаете.

— Своими не обзавелся пока.

— Ой ли! Все вы так говорите. Лишь за порог и уже холостые совсем. Мой вот тоже где-то холостым прикидывается. А вы сами откуда будете? Не земляки слушаем?

Слово за слово — побеседовали подле калитки. Ольге, конечно, в удовольствие: вдруг то начало значительного, долгожданного, да и у соседок на глазах. Ну, а Павлу хитрые женские вздохи и тому подобное обольщение как раз не внове и вовсе ни к чему. Другая была у него на примете в ту пору. Но Ольга, не понимая неприветливости или делая такой вид, все зазывала к себе на чай, на пироги домашние с грибами, на рюмку чего-нибудь покрепче, в конце концов.

Павел отбрыкивался шуткой:

— Слышь, а зачем ты меня во множественном числе? Двоится?

— Скажете тоже! Я ведь малознакомая с вами. Для вежливости.

— Да? А в дом пускаешь малознакомого. Не боишься?

— Может, потому и пускаю...

— Шальная ты баба. Иль не терпится?

— Ну, зайдите, так узнаете, хи-хи...

— Вот уж в другой раз.

— Когда это, если не секрет?

— Когда? А после дождичка в четверг...

Ох и лупцевала Ольга уходящую спину Павла Бухалова осатанелым взглядом! Даже плюнула мысленно промеж могучих, в косую сажень, плечей. А прозиравшись — не заметит ли соседская Тонька, — и натурально тьфукнула нестерпимой горечью и досадой вослед «толстокожему бегемоту». Потом колыхнула впалую грудь тоскливым вздохом, состарившись, побрела в дом.

А Кораблев, запомнив насмешливое слово Павла и разумея его на простецкий ребячий лад, стал поджидать хорошего дождя на тот день, который четвергом называется...

Ольга Кораблева взирала на вертящийся вокруг нее мир сквозь постоянную озабоченность замужеством. Все сущее помимо этой коренной загвоздки было как будто лишь постольку-поскольку. Правда, она любила сынишку, плоть свою и кровь, любила самозабвенно, однако неровно: с избыточной строгостью и надрывом, со жгучей слезой над полночной постелькой. И в работе Ольга кипела, отдавая себя полные восемь часов остро звенящему топору, тракторному гуду, ароматной хвое

и усталости. Зато все остальные часы и дни — выходные, праздничные, людям на радость, — подставляли неустроенной женщине сумрачные бока, какие-то задворки, где и могла только разместиться единственная мыслишка о муже, хотя бы завалившем.

Ее законный, случайно и без радости произведя на свет Кольку, сбежал поспешно, едва малыш начал орать по ночам. Прислал письмецо: вернись-де, когда придет конец невозможному младенческому крику. Но минул год, второй, третий, а муж не объявлялся, и тут уж Ольга убедилась, что исчез он прочно, навсегда. Она и не заметила, в какую предательскую пору, под какой настрой, вкралась и прижилась в ее думах та окающая забота. Только вот уж три года, хочешь не хочешь, видела Ольга в каждом свободном парне свою запоздалую судьбу и, не умея совладать с обольстительной мыслью, изводилась вконец.

Павел Бухалов, кудрявый веселый здоровяк, золотые руки, а кроме того, человек обходительный и задушевный, в два счета затмил собою Ольгин белый свет. Имея в видениях райские картины совместного будущего, засуетилась, заболела она неотвязной мыслью, как бы призорожить ничейного холостяка. Уж на что не пускалась, самой стыдно! И слушать его рассказы бегала по лесу, и перед глазами мельтешила, мельтешила, и здоревалась-то по пять раз на день, и улыбки значительной не жалела — ох!.. А Павлу на это хоть бы что. Привычный к женскому обожанию, да и вообще с некоего времени в любви не ретивый, он даже не улавливал ее страстных стараний, может и нарочно.

Терялась Ольга: что ж такое? С Колькой, сынишкой, он не разлей вода. Отсюда, пожалуй, прямоком к ее дому дорога и ко всему прочему. А Павел, словно куражась, все ускользал да ускользал, бередил сердце обидным невниманием. И еще, того больней, посмеивался

даже, бегемот проклятый, точно знал, до чего необходимо Ольге добыть мужа, и, зная это, выжидал, когда кинется навстречу сама. Вот она и рискнула сама, но чем обернулась ее отвага? Бухалов ушел, показав кукиш, который «после дождичка в четверг» именуется...

Не меньше месяца истекло с того вечера. Ольга уж и не ждала солнышка для своей потайной любви, изверилась вся, доказала себе, что не про нее этаким красавец. И хотя не мирилась душа, не выветривался он из сердца, но глаза-то ревнивые зорко подмечали: за Лариской-бухгалтершей ухлестывает Паша. А Лариска и фигурой заметна, и лицом хороша, молодая совсем, грамотная да еще и в законном девичестве. Куда там Ольге тягаться с бухгалтерскими преимуществами!..

Тем неожиданней случился для нее откровенный разговор однажды на делянке. Их бригады соседствовали тогда в работе, и Павел простаивал из-за отсутствия чистого леса. Сидя на пенечке в тени, он, не таясь, щупал глазами проворное Ольгино тело, принимал ее сторожкие взгляды неспесиво и улыбочиво.

— Заришься! — крикнула она, смелея с отчаяния.

— А что, — ухмыльнулся он, — нельзя? Ты ведь ничья. Кто заступится?

— Я и сама по себе зубастая, не думай.

— Ну? А зачем так? Лучше бы ласковой была, мягкой...

— Для кого мягкой-то мне быть, — обмирая, сказала Ольга. — Для тебя, что ли, бегемота?

— Почему бы и нет? — Павел встал, потянулся мочуе. — Не сгожусь?

— А кто тебя знает?..

Дальше больше, бессовестней и напропалую. Ужасаясь в душе, презозмогла себя Ольга, не свернула с выбранного пути.

Словами достигли уже они греховных пределов, и

породнились будто, и сблизились, и не осталось меж ними преград.

— Так придешь? — не веря счастью, но уже с требовательностью обвенчанной, спросила она под конец.

— Приду, — плутовски усмехнулся Павел, — коли так, то приду.

В любви он изгорячился единственный раз, и то себе на беду и урок. Она была студенткой из Ленинграда, практику в Сибири отрабатывала, носила брючки и обожала писателя Хемингуэя. А Павел про того Хемингуэя не слыхивал, позорился тверскими «эва» и «айда», о чувствах своих рассказать не умел. В общем, ничего у него с Аллой не вышло, несмотря на пылкость, настойчивость и невероятную любовь.

Не сказать, что после сердечного поражения сник Бухалов духом или положил себе не жениться, поскольку разуверился в наличии высоких чувств на свете. Однако стал он чрезмерно подозрителен ко всяческим девичьим сигналам и скуп в увлечениях до прижима души. Оказываясь у девушек на замате и понимая это, не летел, голову очертя, на призыв, а поскорей разводил мосты, чтобы не свыкнуться, не терпеть, коль по первому взгляду не екнуло в грудной клетке.

Лариса-бухгалтерша, наливная девица лет двадцати трех, с каштановой прической, в новомодной — всему поселку на обсуждение — юбочке, и верно, понравилась Павлу сильнее других. Как-то он танцевал с ней в клубе, потом провожал, потом в кино бок о бок сидели, коленями касаясь. Однако дальше дело не пошло. Лариса воспротивилась его напору и даже объятий не допустила. Тут-то и вклинилась Ольга Кораблева в их неспределившиеся отношения. Не ведая особой разницы меж той или иной случайной зазной — Лариса, Ольга, кто

еще? — поддался Павел Ольгиной готовности, поскольку связь с нею не грозила кабалой, не ставила условий, казалось, была проста и естественна.

— Приду, — сказал он и понял, что действительно придет.

Ведь еще ему следовало побывать в этом доме по причине твердого обещания, которое дал Кораблеву. Так получилось. Не посмел мальчонке отказать.

Явился он как-то на участок, влез в кабину и, не приветствовав Павла, огорошил хмурым вопросом:

— Вот какой сегодня день, говори?

— Пятница, — что-то подозревая, несмело ответил Павел.

— А вчера?

— Вчера четверг, ну тебя...

— Ты не нукай, не запряг. Ты говори лучше: вчера дождик лил?

Тут и припомнил обескураженный Павел недавнее приключение, показавшееся тогда рядовой проказой Кораблева. А было так...

У заведующей клубом, городской барышни, распределенной в Надеждино на два года, некий злоумышленник спер зонт. Веселое следствие на общественных началах быстренько прикинуло: лесорубам та штукавина — что петуху гармошка, без пользы. Даже бабам надеждинским, самым расфуфыренным, она вовсе ни к чему. В подозрении осталась детвора. Побежали ловить Кораблева. Но ведь прежде чем словить, нужно отыскать, как известно. Ну, искали его, искали — все без толку: ни мальчишки, ни зонтика. Зато натолкнулись на свидетеля, который показал, будто видел на дороге гриб о двух ногах — он приплясывал и пищал что-то напевное. Свидетель полюбопытствовал, нагнувшись, и опознал в грибе Кораблева. Малый направлял небу требовательные песни насчет дождя, чтобы грянул и удался пошибче.

Когда похитителя все-таки настигли в чьем-то огороде, отобрали покражу, то и спросили, интересуясь: как все это понимать? Кораблев, угрюмясь от собственной лжи, заверил взрослых, что обыкновенно летал по воздуху при помощи уворованного зонта. И никому не пришло тогда в голову, даже Павла не осенило, что пустился мальчонка на ухищрение, дабы подтолкнуть безучастную природу посредством зонтика к нужному свершению.

Зато теперь, мгновенно сопоставив обстоятельства и глядя в осуждающее лицо Кораблева, он испытывал изрядную неловкость, обремененную еще и тем, что нависла негаданно. Пуще всего виноватило Павла именно это: с Ольгой пошутил, а мальчонку и во внимание не принял.

— Ты знаешь, — сказал Павел, отводя взгляд, — дел у меня было...

— Я знаю, — еще смурнее надавил Кораблев. — В конторе которая с голыми ногами — все дела. Под брезентухой по улице шлындали.

Не помнил Павел, как давно краснел, а тут вдруг набрякли уши его совестливой кровью и щеки жарко зардели. Выметнулся он вместе со срамом своим из кабины, принялся без надобности греметь чокерами, чтобы переждать в душе смятение. После влез в трактор, дергал рукояти управления с напускной прилежностью. Но как ни ловчил перед собственной совестью и Кораблева законной обидой, говорить-то все равно было нужно.

— Слышь, Колька. Давай вот на чем сойдемся. Виноват я, прости... И теперь я к тебе обязательно приду, это точно. Но, понимаешь, не знаю когда. Ты погоди. Ведь мамка твоя...

— Чего мамка? — перебил Кораблев. — Она ж тебя звала.

— Звала, — признал Павел. — Но этого еще мало. Тут, брат, соображения разные, не твоего ума. Не всегда можно делать то, что хочешь...

— Во выдумал! — не поверил мальчонка.

— Так ведь люди! Болтать начнут.

— Пускай болтают. Язык им на что? Ты себя хорошо знай. Ну, ладно...

На этом произошло у них замирение, и последовала вдумчивая беседа о сложностях жизни: каким надо быть, каким в народе слыть и чему себя подчинять. Не хотел Кораблев перенимать путаную мудрость взрослого, но и Павел безоблачной ребячьей простотой не смел очароваться, хотя была она ему по нраву. Остались они при своих взглядах, однако до главного все-таки добрались. Пообещал мальчонка к обеду наведываться в лес, если отпустят дела, чтобы вместе работать и с работы вместе ходить, пока не решается Павел даже по дружбе запросто посещать дом Кораблевых.

С той поры и повелось:

— Бухало! Эй, Бухало! Идет помощничек, идет! Бойся, тайга!..

И тогда Павел, поразмыслив, изловчился в педагогике, сказал без пристрастия:

— Слышь, Колька. А задвинь-ка ты им по-немецки в ответ. Они пристанут, а ты им: «Гутен таг, геноссе!» Вот рты поразевают!

Заковыристая новинка весьма понравилась Кораблеву. Выучил он таинственную фразу досконально и вскоре шарахнул ею усердных крикунов:

— Гутен таг, геносы полосатые!

Лесорубы и правда обалдели.

— Чего, чего? — накинулись. — Это по-какому же ты нас материшь? А ну, сказани еще.

— Хватит на сегодня, — заважничал малый. — Много будете знать.

Нашлись грамотеи, объяснили несведущим смысл нерусского оборота. На другой день уже многие приветствовали Кораблева на его же манер:

— Гутен таг, помощничек!

— Бонжур, мадам! — восхищаясь своей умственностью, отвечал он.

Еще через день здоровался по-английски, потом по-казахски, потом извинялся опять-таки на всевозможных чужих наречиях, нисколько не сожалея об отринутой «матной», как говорил, ядерности. Очень гордился Павел преодолением дурной привычки своего дружка. И тем паче было радостно, что не просто изничтожил зряшное сквернословие, а разумным обучением его подменил. Ведь мальчонка о народах и языках разных даже представления раньше не имел, всех подряд вкупе с немцами понимал да сюда же «белых» причислял вражеской нацией. Теперь из Павловых уроков извлек он массу полезного и, чрезвычайно тому удивляясь, все дальше и дальше в загадочность мира внедрялся.

— А как по-ихнему хлеб будет? — спрашивал.

— А казахи, они что — совсем чернущие? — учитывал уже азиатскую жару.

Пуще прочего хотелось Кораблеву натурального «негру» поглядеть и пощупать, если тот позволит, исключительной окраской не кичась. Даже слон, у которого нос как хвост, увлекал малого несравненно меньше. А еще из рассказов Бухалова относил он в разряд первостатейных интересов фейерверки и автоматы, дающие за монетку сладкую воду без вмешательства продавца.

Случалось, не являлся Кораблев на участок день или два, и тогда у Павла рвался трелевочный трос, трактор на пень садился, вообще все шло кувырком по причине дурного настроения. А бессердечный малый объяснял свой прогул восторженно и просто:

— Ого! С Тимофеичем такую печку складал, во! Ногда было с тобой работать. В три колена труба!..

А на другой раз:

— Совсем запарился! Забор белым цветом вымазал — Митричу помогал. С Федькой дрался до вечера. Я ему как дам!..

Слушая все это, не чуял Павел в себе солидарного восторга, скорее обиду терпел: значит, и без него Кораблев обходиться может, от скуки, значит, водит дружбу с ним. Муторно становилось в такие моменты. Неужто фокусами да байками держит мальчонку подле себя? Сам-то ведь он души одинокой тепло и щедрость малому не жалеет, все время думает о нем, про будущее даже загадал кое-что...

Ну, а про это, раз уж пришлось, так размышлял Павел Бухалов по вечерам на койке общежития. «Ох, Кораблев, — размышлял, — как же нам с матерью-то быть? Человек себе лицо не рисует, в лавке не покупает, оно природой дается без обсуждения. Правда, с лица не воду пить, а жить с характером. Но характер не поцелуешь? Так что?.. Нам не по семнадцать, когда вся любовь только в губах содержится. Возраст! Да и чем, по совести, Ольга плоха? Какое преимущество у той же хотя бы Лариски перед нею?..»

Рассуждая так, вернее, все это чувствуя несловесно, а про себя держа на уме нечто другое, о чем столковались в лесу, завернул Павел одним воскресеньем в дом Кораблевых. Мальчонки, как на грех, не оказалось, и Ольга, зарумянясь навстречу гостю, долго не понимала, что ей говорить и делать.

— Вот пришел, — сообщил Павел, и сам внезапно потеряв уверенность.

— Пришел! — наконец ахнула она и засуетилась по хозяйству, извлекая лучший провиант к его поллитровке.

Пока кидалась то на кухню, то к зеркалу, то в сенцы, оглядывал Павел уютную комнатку конфузливо и с пристрастием. Мнилось ему, будто здесь что-то не так, настороженность какая-то в стенках хоронится, недоверие к нему. словно знали необщительные углы и стол, за которым давно не сиживал мужик, и сонные слоники на старинной горке — все вместе знали они тот лесной уговор и, безгласные, немотно протестовали видом своим против коварного умысла Павла. А Ольгины родственники, остолбенело пребывающие в рамке за стеклом, и вовсе пучились, грозили Павлу напряженными фотовзорами, в крик осуждали его беспутство.

По тому ли, по сему, но отпала у Бухалова охота вспоминать беззастенчивое условие встречи. Сообразил он, что и Ольга, вопреки наговору на себя, ни о чем таком не думает, а лишь одному рада — его посещению. Тут вроде бы озадачиться следовало Павлу: не выгорело, пропащий день... Но получилось наоборот: смиренная легкость на него снизошла, едва отрешился от первоначального настроения. И стены вдруг подобрали, и родственники на них оттаяли взглядами, стали по-дружески хвастать наручными часиками, мотоциклом, костюмом с иголочки, фикусом за спиной.

А когда пропустили по рюмке, потом по второй, заедая аппетитным соленьем, то почувствовал себя Павел в полной мере свободным и хорошим. И было ему гораздо покойней сидеть вот так за столом званым гостем, нежели вероломным ухажером, и вести разговорчики без отношения к любовному делу, подразумеваемая в Ольге просто необходимого человека — не бабу.

— Ты знаешь, — хмелел Павел с выпивки и чрезвычайного душевного состояния, — так по родине скучаю — жуть! Четыре года глаз не показывал дома.

Четыре года... На письма я тоже не горазд. Только переводы родителям отсылаю. А их, может, и нет уже...

— Ой, что ты! — восклицала Ольга и, будто зная Павловых стариков, доказывала: — Они у тебя крепкие, сто лет проживут.

И он соглашался:

— Это да. Что да, то да. Отец у меня богатырь! До сих пор на груди лом сгибает. Да и матушка моя могучая женщина.

— В них пошел, стало быть?

— В кого ж еще? Не в прохожего цыгана. У нас в деревне все здоровые на подбор. Эх, благодать у нас в деревне... Тишина-а-а. А по весне дух такой — хоть ложкой хлебай вместо меда. И леса вокруг светлые, плодовые, не то что здесь.

Кто другой, возможно, урезонил бы Павла: чего ж ты, парень, от благодати своей сбежал? Но не до того было Ольге в ее решительный час. Иные сомнения тревожили.

— И зазноба, поди, заждалась, а?

— Нет у меня зазнобы. Один по свету мотаюсь. Всю дорогу один, — пожаловался вдруг Павел.

— И я вот одна...

— Ну, у тебя Колька.

— Что ж — Колька. С ребенком-то замуж попробуй.

— Выйдешь еще, найдется кто, — посулил Павел.

Тут он вспомнил прошлые свои намерения и попробовал поглядеть на Ольгу теми глазами, но не смог. Тогда ему виделась неудачная женщина в бесцветных бровях над прозрачными до незаметности глазками и с жидкими, кудельками, волосами на маленькой голове. Чего уж ей упираться, блюсти себя? А теперь обернулась она же милостивой в своей скромной простоте, дивно хрупкой, хоть на руках носи, и очень даже согласной воображению о суженой.

— Мне, например, — сказал он, трезвее, — ребенок при матери не помеха. Может, и наоборот, коль на то пошло.

— Посчастливится кому-то, — вздохнула Ольга.

Она склонилась над тарелкой, опасаясь выдать себя лицом, и ждала, замерев, надежного слова. Но Павел все равно как притаился у входа в ее чаяния. Он думал: не игра ли хмельной фантазии, не бездомная ль тягость шутит с ним шуточки, приспособливая Ольгу к его судьбе?

— Странно, — ответил Павел давним своим мыслям. — Вот ездил я, ездил, всю Россию промерил, а зачем? У людей в мои годы все есть. А я? Ни кола, ни двора, ни для кого живу. Повидал много? Толку-то. В общагах мужиков рассказами удивлять — одна польза. Не долю свою догнал, от доли бегал, дурак! Может, и совсем упустил...

— Господи! — вмешалась Ольга. — В твои годы! Сейчас только и жениться, ума набравшись. Это я дуры была — в девятнадцать выскочила.

Не слушал Павел, свое тянул:

— А человек везде человек, и земля всюду земля, хоть в Азиях, хоть в Сибири. И притом, разве ж теперь загорись? И поцелую, и остальному всему не та цена, что в молодости. Жениться, говоришь? Женюсь, конечно. Только без пыла и страсти, а по расчету. Чтоб хозяйка была, чтоб внутреннее содержание, не вертихвостка что-бы. А на черта? Любви-то уж нету!

Не укладывалось Павлово отчаяние в Ольгиной голове. Какой там пыл да огонь? Встретились друг дружке по душе — оно и есть любовь, чего еще надо? Однако, чтоб не выставить себя сразу настырной спорщицей, придержала она самостоятельные мысли, завздохала согласно:

— Да... годы не воротишь...

И грустно им сделалось обоим и смятенно. Под чахлые реплики осушили до дна бугылочку, пожевали для приличия и без вкуса, потом и вовсе растерялись: чем заполнять поникшее свидание?

Но смилостивилась судьба над Ольгой, не обошла своей заботой, постаралась на сей раз. Бурно втокнула в притихший дом шумливого Кораблева — нос в крови, на лбу ссадина, — а с ним и оживление, и новую значимость обстоятельствам придавала. Взыграло все вокруг.

— Ой, батюшки! — привычно крикнула мамаша. — Обратно дрался! — И была в ее огорчении доля лукавой радости: малая беда оттеснила большую.

— Федька изловчился? — захохотал и Павел.

— Что — Федька! Да я его на все лопатки! — пыхнул оскорбленный Кораблев.

— А кто ж тебе заехал?

— Никто. В рюхи баловались, отлетело.

— Вон что! Хорошо побаловались. Ну, здравствуй, тогда, заждались.

— Здорово, коль не шутишь.

— Умойся, умойся, — притопывала Ольга ногой. — На кого похож, чучело!

Кораблев поплескался у рукомоЙника, помочил нос, но не больше.

— А лоб? А уши? В пылище весь! — опять потребовала Ольга. Однако малый имел собственное мнение.

— Уши не в кровянке, — сказал.

— Ну, стряхни пыль, — снова заржал Павел.

— Чего?

— Стряхни пыль с ушей, говорю!

— Налакались уже, — не приняв юмора, кивнул Кораблев на порожнюю бутылку. Потом задал Павлу уместный вопрос: — Понимать можешь?

— Смотря что.

— А вот. Иди сюда. Иди, прилип сидеть, что ли!

Ухватил он Бухалова за палец, силой стронул со стула, потянул в кухню. И хотя мать негромко призывала Кольку к обеду, он лишь отмахнулся: не к спеху, дескать, не оголодал пока, есть занятия поважнее.

В кухонном уголке под настенным ковриком, на котором пара оранжевых львов пучеглазо следила за стрекозой величиною с орла и девой в купальнике, стояла кровать солдатского уклада — для персонального ночного местожительства Кораблева. Сравнив ее с пышной Ольгиной постелью там, в комнате, и задумавшись о причинах такого разделения, ощутил Павел в себе некоторое расстройство — уже ревнивого порядка. Но не дал мальчонка углубиться в опрометчивые домыслы. Извлек из-под кровати фанерный посылочный ящичек, приземлился возле него и гостя купеческим жестом призвал:

— Во, гляди, мое все!

Болты и гайки, железки разноконтурные, обломки заводных игрушек — свидетельство пытливого ума, чудесный радиохлам и кое-какой инструмент не сразу подчинились соображению Павла. Только с помощью подсказки Кораблева уразумел он сокровенный смысл и жизненную необходимость незаметных, бросовых вещей.

— Гляди, гайка. Вот это гайка! — говорил владелец богатств, не устав удивляться в который раз. — Я ее в кузне подобрал. Не веришь? А вот палец с резьбой. Гляди! Чужая гайка ему впору. Он от сцепа, она — не знаю. А пришлись — во!

— А эта хреновина, — выудил пластинку буквой «ш», — к магниту лучше всех липнет. Трубка еще — горюхом плеваться. Провод золотой — колечки мастерить. А вот волшебный глаз. Сюда зырить — радугу кажет. Сюда — желтое все как есть. И ты, и мамка, и плита, и кошка — ну все! Хочешь?

Павел взял граненую стекляшку, щурко посмотрел на Ольгу сквозь желтизну. Даже в нереальном, обманчивом свете было заметно, как исполнена она тихой счастливой удовлетворенности. Улыбка не таяла у нее на лице, глаза нежились в безмятежном доверии. Сидя в сторонке со сложенными под грудью руками, недокучливо сторожила Ольга мужское взаимопонимание. И столько самоотверженной надежды, скромной сердечности разглядел Павел вдруг в маленькой некрасивой женщине, что ахнула незнакомо его душа, и восхитилась, и вынудила смолкнуть холостяцкий рассудок, который все еще пытался что-то возразить.

Тот желтый осколок, и правда, обернулся волшебным глазом...

Шагнув Павел к Ольге, сказал, поперхнувшись смятением:

— Слышь, это... Ты... давай я тебе что-нибудь... Ну, по хозяйству. Накопилось, наверно, без работника-то?

— Еще бы! — вспорхнула она птахой навстречу. — Кадушки порассыхались, топор соскакивает, в сарае крыша течет...

Дел неотложных оказался непочатый край. Выбрал из них Павел те, что не на людях — дабы не судачили, — и накинуся совместно с Кораблевым стучать, пилить, строгать. Ольга тем временем хлопотала возле печки, песни вполголоса мурлыкала, а вся кухонная утварь вторила ей жестяными припевками.

Часы летели незаметно и ладно. То да се — поужинали вдумчиво и степенно, как полагается. Даже Кораблев не рвался из-за стола, чтоб не порушить отрадной общности. А после сбегал Павел в магазин и, на удивление продавцам, отоварился не в винном отделе — в кондитерском. Почаевали и за беседой, и в хорошем молчании. Когда же настала пора Кораблеву отбыть ко сну, то и Павел спешно засобирался

— Пойду я, — сказал он, не смея взглянуть на Ольгу, сам с собою люто сражаясь: как быть?

Знал ведь наверняка свое бесспорное право переночевать тут, но противился искушению всеми возможными силами не только души, но уже и разума. Корабль за стенкой, Ольга теперь не та, — как раньше-то не подумал?

И невдомек было Павлу в этот трудный момент, как нелепо его противоборство с собой. Разве постельных страстей жаждало холостяцкое сердце? Требовалось ему лишь одно: рядом с кем-то дышать, шептаться о жизни, чують телом жизнь тела другого...

— Пойду, — заблудясь в своих чувствах, нахмурился Павел, — надо.

— Так и пойдешь? Все-таки пойдешь? Паша...— Ольга и радозалась и сожалела одновременно, тоже не понимая себя.

— Да, Оля. Пойду. Спокойной ночи тебе.

В сенях тиснул он ладонями ее жаркие плечи: все хорошо, мол, и прости, если что не ладно. Потом, торопясь, рванул дверь, метнулся через три ступеньки за один шаг и сгинул в надеждинской, без фонарей, тьме.

Шли дни, свершались всяческие события. Остановила как-то Павла посреди дороги учительница Галина Алексеевна и с ходу в наскок:

— Повлияйте на своего Колю. Он подрывает мой авторитет абсурдными вопросами. Подумайте, что я могу ответить? Он спрашивает, кто сильнее: трактор или великан? Он говорит: давайте проходить миллион! А его поведение...

И смех припер Павла, и какое-то особое раздражение в нем заворожилось. На полуслове перехватил речь строгой учительницы, сказал:

— Он столько же мой, сколько и ваш. Извините, конечно, только не по адресу, — и зашагал прочь, предоставив учительнице сердиться вхолостую.

В общежитии давно не давали Павлу прохода с тем же самым. Побывал он у Ольги всего-то раз пять, а каждый мазурик, мало-мальски в приятелях числившийся, уже пошучивал о назревающей свадьбе, подмигивал пронизательным глазом: мол, гульнем, эх и гульнем, ежели пригласят! Что касается Кораблева, о том и вовсе напрямик брякали:

— Твой-то опять рванул капкан! В ларь для инструмента напихал свору кошек. Ну и концерт задавали всю ночь — капитальный! Полпоселка не выспалось из-за твоего Кораблева.

Не то злило больше всего, что любое озорство надеждинской ребятни приписывалось одному лишь Кольке, иногда и непричастному. Выводило Павла из себя неделикатное ходкое «твой-то». С одной стороны, это было даже приятно: всяк утверждал его несомненную, исключительную роль в мальчонкиной судьбе. Но с другой, какого черта напирали, кому не лень, на его личное, нерешенное дело? И как могли они знать то, чего сам он не знал, особенно в последнее время?..

Обучаясь теперь в школе, не посещал на работе Павла занятый Кораблев. И в досуга вечерние часы, урезанные поздней осенью, дождливой и сумеречной, редко виделись друзья-приятели. Томился Павел, ошибочно полагая, что малолетнее зазнайство Кольку обуяло или, что хуже того, потерял к нему мальчонка сердечный интерес. Однако помнили его щеки хватку ласку Колькиных ладошек там, на тропе, когда скакали, хохоча и присягая на верность друг другу. Еще и недавнее — поездку за канцелярскими товарами для оснащения в первый класс — никак не мог позабыть растроганный Павел. Как он жался, цыпленок, всем телом к руке!

Как он льнул на скамейке в вагоне! Чтоб не выдать не-смелую нежность, заныривал Кораблев под мышку, будто в сонной усталости, а сам — ни в одном глазу — сверкал счастливыми звездочками и улыбку спрятать не успевал...

Да что о подспудном толковать, когда Кораблев и напрямик заводил речь не однажды.

— Ну чего ты ходишь туда-сюда? Живи у нас, говорю, места хватит.

— погоди, приткий, — серьезно отвечал на это Павел, — за общежитие уплачено. Вот досплю свои кровные, тогда будем посмотреть...

Принимал хозяйственный мальчонка такой резон: коль уплачено, значит, должно вылежать до упора. Ну, а Ольга лишь вздох пересиливала, понимая и шутку, и досадные колебания Павла. Но что она сделать сумела бы? Павел все еще взвешивал свое, не постигнутое прозрением, будущее: куда перетянет. То чудилось ему, что распрекрасно сойдется он с Ольгой, и новые годы потекут в уютных берегах домовитого покоя. А то, как ускользавшую рыбу, превозносил он пред собой дивные преимущества холостяцкой свободы. Этакая чересполосица чувств и настроения, конечно, к добру не вела. Присовокупив к ней кораблевскую небрежность в дружбе, а также и нескромную дальновидность посторонних людей, которая путала его собственное мнение, опростоволосился растерянный Павел в конце концов.

Как упоминалось, потреблял он прежде спиртное, и даже здорово. Однако в Надеждине из-за душевных перемен это дикое пристрастие постепенно изживало себя, без сожаления отходило в неустроенное прошлое. Не хотелось Павлу запивать и куролесить теперь, когда рядом существовал Кораблев, и Ольга, понятно, не одобряла неблагоприятной привычки. Не хотелось, а между тем...

Чтобы отметить по-старому, как водилось, полумесячный заработок, совпавший к тому же с выходными, начал Павел с товарищами по общежитию, полагая при этом утолить и тревогу последних дней. Начал угрюмо, но резво: в час бутылку опустошил, всю компанию опередив. Тут и прорвало его откровенностью, хмельная ясность вдруг обуяла.

— Слышь, ты! — обратился к рыжему слесарю. — Вот ты говоришь, неженатому лучше. А я говорю: стоп! Попробуй сына родить совсем без жены. Э-э!.. Как это — зачем? А для чего ты живешь сейчас? В чем твой символ на земле? Вот то-то и оно, не знаешь. Не знаешь, а говоришь...

Слесарь, задумчивый от выпитого, сидел молча, ни о чем таком не заикался даже. Павловы рассуждения застали его врасплох и отнюдь не пришлись к стати.

— Брось. Не ломай мне кайф, — сказал он. — Может, еще скинемся?

— Конечно, — сбывчил Павел отяжелевшую голову. — А только не в красоте главное. Человечность — вот главное в человеке. Что?

Нерадивый слушатель вдруг вскочил и переметнулся к гитаре, поющей про то, как погибал один кочегар на пароходе. А Павел, разобидевшись на неотзывчивость к своим болям, тоже поднялся, приказал ногам на выход ступать, чтобы хоть в стороне найти чуткого собеседника, раз товарищи общежития предали ни за грош.

— Черти! — грохнул дверью в буйном раздражении. — Эгоисты безразличные! Кочегара придуманного им жалко, а меня вот нет...

Улица промозглым холодком остудила досаду Павла, выстроила его суматошные мысли хоть не ровным, но безропотным строем. Нет, не друзья повинны в неувязке, сам он от холостяцкой ватаги откачулся, не заметив

того. Зарплату прошлую у Ольги просидел, не отпраздновал обычаем. По вечерам не шары бильярдные гонял — с Кораблевым в киношной темноте на экран любовался. Так кто ж виноват, что потерял свойских парней расположение? Вот потерял, утратил, а чего достиг в возмещение потери? Эх!..

Для пущей сообразительности и с горя, как возомнилось, забежал Павел предварительно в магазин, потом в столовую к пиву отправился. Там, знал он, болтунов неравнодушных пруд пруди, а в день полочки — тем более. И верно, едва переступил порог, со всех концов призывно закричали:

— Пашка, сюда! Эй, подсаживайся! Бухало! Подвливай к нам!

Осмотрелся Павел растроганно, избрал Вовку Пчелкина с приятелями. Этот Вовка, сорока лет, поселковый электрик, плодовитый мужик — пять сыновей, две дочки, — мог хорошо объяснить все семейное, и потому-то Павла к нему потянуло. Ну, пристроился он на уголок, расплеснул свою бутылку по стаканам. Крякнули дружно — чтоб не в последний! — заели казенной котлеткой. Санька Белорус, смешливый малый, тотчас к Павлу с требованием прицепился:

— Расскажи, как ведмедя трактором давил, а? — и захохотал заранее.

Однако не шли на ум озабоченному Бухалову никакие потешные бывальщины. Отмахнулся он от Санькиной назойливости, заговорил с Пчелкиным. Сначала поведал свои сомнения да разумения с одной точки, и опытный семьянин, прослушав с интересом, вынес такой приговор:

— Женись, Пашка, женись!

Тогда обрисовал Павел картину с точки другой, и Пчелкин решительно сказал:

— Нет, не женись, Пашка, не женись!

— Так что же ты! — зашумел Павел. — Издеваешься? Ребусы вкручиваешь? Я тебе свою рану, а ты... Сам ведь живешь. Говори — как?

— Да вот так, — заробев, но все же бодро ответил Вовка. — Восьмого с Натальей сработали, кажись. Весело живем, жалоб не имеем. Команду футбольную скопим, тогда...

Не дослушал Павел, подхватился бурно и, опрокидывая стулья, подался прочь от людской черствости. Вечерняя прохладная атмосфера уже не смогла пересилить скопившееся пьяное неистовство. Позабыв причину ярости, кинулся Павел отыскивать каких-либо недругов, чтобы какие-то счеты свести под горячую руку. Водился за ним во хмелю этакий грех, и пригнал он под окна десятника, чья злокозненность и ехидство стали вдруг ясны и убедительны, как на ладони.

— Эй, выходи! — забарабанил Павел в раму. — Будешь принимать наш лес без помехи? Как еще рубить? Заподлицо обрубано! Выходи скорей, лохмоногий, — в морду дам!

Десятник чинно пребывал дома в ту пору, однако на приглашение Павла не отозвался. Зато, откуда ни возьмись, явился на шум кто-то подозрительный, тоже недруг, по всей вероятности. На беду, не распознал Павел в случившемся человеке дружинника Погорелова и речей его точный смысл не уловил, только почуял оскорбление и обиду самолюбия. А коль так — размахнулся по-русски да саданул меж бровей, всю свою злобу в старательный удар вложив.

— «Крокодил»? Да я из тебя такого крокодила сделаю — бумаги не хватит кости завернуть!

Как известно, на происшествие люди берутся прямо из-под земли. Немалая кучка сгрудилась вокруг разгульного Павла: кто совестить принялся, кто общественностью грозил, а кто и при помощи рук угомонить его

пытался. Но крепко стоял Бухалов на ногах, и сдвинуть с облюбованного места этакого бугая недоставало сил даже коллективных.

— Куда я пойду? Ну куда? — почему-то со слезой в голосе орал он. — Лучше рисуйте в «Крокодил», вешайте сразу на стенку — все одно!..

У публики уж и руки в немощи опустились. Но раздвинул тут собою вялые фигуры Колька Кораблев, подступил к Павлу командиром, суровых глаз ни на миг не отводя.

— Хорош гусь! Во налакался... Денег-то, наверно, пропил! А теперь чего? Чего мне с тобой делать теперь? Иди домой, говорю, после разберемся...

И дивно: унялся могучий мужик под напором слабого мальчонки, уменьшился весь, пообмяк мускулистым телом. Пьяно-неловкой пятерней обшарив карманы, извлек он увесистую шоколадину, сказал виновато:

— Вот... Тебе... Не забыл!

— Ишь, помял-то весь, — проворчал Кораблев и вдруг на праздных свидетелей пыхнул досадой: — А вам тут чего? Не видели? Сами глушите — можно, а на других волками кидаетесь?

С этим выговором ухватил он уже покладистого Павла за рукав и повлек за собой, словно речной катерок неповоротливую громоздкую баржу.

— Во дает! — с умилением глядели им вслед сконфуженные очевидцы.

Просыпался он в сладкой, истомной неге, но с чувством какой-то тревоги одновременно. Ощущали его бока, привычные к пружинной впадине скрипучей койки, мягкую просторность незнакомого ложа. Осторожно прозрев одним глазом, убедился Павел: так и есть, слоники по ранжиру, герань...

Кораблев будто подсматривал пробуждение, возник перед ним свеженький, улыбчивый.

— Здоров ночевать, — сказал без подковырки, ради приветствия. — Во ряху-то помял, уютгом не разглядеть!

Переживая неловкость положения и вчерашний срам, который хоть не детально, а помнился, спросил Павел глупо:

— Я тут и спал, что ли?

— Тут. Где ж еще?

— А мамка?

— Мамка со мной на кухне.

— Эх! — крикнул Павел недовольно. Потом, стараясь замаять смущение, добавил: — Да... Значит так... Ступай-ка отсюда, я оденусь.

Кораблев хмыкнул, однако вышел вон. Когда Ольга вернулась из магазинной отлучки, Павел, умытый, собиравшись уйти.

— Куда это еще? — уверенным голосом спросила она.

— Побриться надо, — заюлил Павел. — Башка трещит...

— Побриться не к спеху, и так хорош. А для похмелья вот пиво.

Выставила Ольга на стол трехлитровый бидон, закуски утренние собирать начала, отрезая тем самым путь отступления Павлу. И он смирился. А как смирился, так стало ему легко и просто. Хотя подумал, что вот и влип бесповоротно, что теперь обременил себя вечным долгом, но, как ни странно, этакая напасть показалась вдруг отрадным освобождением от всех его трудностей. Не нужно больше ссориться с собой, не нужно измерять и взвешивать доводы, — сама судьба позаботилась, довлекла до благополучной, может быть, завершенности. Вот и хорошо...

Вкусно с освежающим пивком позавтракав, повеселел Павел окончательно. Загорелые руки Ольги, Кораблева белесый вихор, уют и порядок, где всему свое время и место, душевный отдых и тихая любовь, о которой только мечталось, чувство гражданской полноправности, а не постылый гон за неизвестным — все это отныне принадлежало ему на долгие годы счастливого пользования. Так чего же еще?

— За приданным сбежать, что ли? — балагурия, обронил Павел.

— За каким таким приданным? — не понял Кораблев.

— Ну как же? Гардероб у меня в общежитии, сундук.

— Сундук? А чего, тащи, конечно.

Ольга от разговора такого похорошела, потупилась, как невеста. Потом, для приличия совладав с радостью, сказала в тон Павлу:

— Подводу-то подавать?

— Сами донесем, — решил Кораблев и приготовился действовать без оттяжки. — Пошли давай!

— Да уж вечером, — Павел замялся. — Не горит ведь сейчас. Надо еще узнать, что мне за вчерашний скандал причитается.

Он ушел, а вечером так и не появился, на другой день тоже. Обманутый Кораблев искал Павла всюду, однако встретить не мог. Ольга на работе попробовала напомнить обмолвку, но, из боязни спугнуть достигнутое, настолько отвлеченно и робко, что самой было не понять, понял ли ее Павел. Когда же он все-таки пожаловал в гости, Кораблев, не признающий неясностей жизни, сразу пырнул вопросом: в чем дело? Павел отшутился, как сумел, а Ольге с глазу на глаз пояснил, что неловко и страшно у всего поселка на виду так моментально сходиться, причем незаконно даже. Вот привыкнут люди к их отношениям — он теперь станет часто

бывать у них, — тогда и переехать можно, в порядке вещей.

Не лукавил Павел ни перед семьей своей будущей, ни перед собой.

С нетерпением и даже пылкостью, об утрате которой напрасно сетовал прежде, выжидал он некий подходящий день, общественное мнение пока приучая. Для того у всех на глазах разгуливали втроем по улицам и кино посещали так же. А вечерами, нарочно окон не зашторивая, чаевничали подолгу — опять-таки на обозрение всем интересующимся. Уже пригласил Павел кой-кого и на свадебную гульбу, и деньжонок попридержал для этого дела. Но сложилась внезапно, замыслы перечеркнув, вся игра по-иному...

Со снежком да морозцем румяным подослала в Надеждино вероломная судьба тоже румяного, франтоватого Дмитрия Кораблева, беглого мужа и отца. Прикатил он утренним рабочим поездом, и мало кто в посадочной спешке узрел давнего знакомого, а тем более опознал в лицо. И все же среди дня подкараулила Павла ошеломительная новость, ударила по сердцу, как бандитский кастет...

Кинул он трактор на произвол, побежал, себя не помня, к Ольге на делянку. Там, в бригаде, взглядами сострадавая, сказали, что нет, не вышла по такому случаю. И тогда, все на свете забросив к чертям, рванулся шальной Павел к отходящему с груженными сцепами мотовозу. Дорогой измотался мысленно, как составчик на расхлябанной колее: все туда-сюда, все противоположные решения принимая. А прибыл в поселок, встал столбом и долго стоял без проблеска в голове: что совершать и куда теперь мчаться?

Наконец, себя презирая, но не видя лучшего шага, а вернее, на большее поначалу не отваживаясь, пустился Павел опрометью к неминуемой водке. В магазине с до-

сужего языка узнал, что и Митька Кораблев произвел всяческие закупки, чтобы отметить с женой замирение разлада...

Битый час просидел Павел в столовой с бутылкой наедине, однако не оправдались возложенные на нее надежды. Не захмелев, но все же обретя некоторую направленность замыслов, он вышел на улицу, стал прохаживаться перед Ольгиным домом взад-вперед, наподобие караульного. И ведь понимал непростительную глупость своего шатания здесь, а пересилить разумом окаянную прикованность не хотел и не смог бы в то время.

Падал снег... Звякали ведра у колодца...

Вдруг без шапки, в рубашонке одной, подскочил Колька Кораблев и, поеживаясь то ль от холода, то ль от постыдной своей задачи, заговорил с Павлом, не ему в лицо:

— Чего ходишь? Ну, чего, чего!.. Мамка мается, пальцами хрустит. Он смеется с тебя, обзывает... Не трусишь — зайди в дом, а нет — ступай быстро.

— Куда? — спросил, задыхаясь, Павел.

— Куда, куда! Сам знаешь.

— Не знаю.

— Ну — в столовку, в общагу, в контору, мало ли? А здесь не надо. Срам за тебя, не понять разве? Ну, иди!

— Сейчас уйду...

— Вот иди!

— Ладно...

И будто не он, не тело его, а надеждинская перспектива с домами, заборами, сараюшками совершила под ним крутой разворот. Чтобы удержаться на текущей встрече верткой тропинке, двинул Павел огруزشими сапогами, вроде пошел. Не знал, не заметил, как далеко оттащился, и только вялое удивление шезельну-

лось в нем, когда снова предстал перед ним Кораблез, весь какой-то туманный, дрожащий.

— Ты не думай. Я с тобой дружбу не брошу. Ты это... мужай! Ведь батька он мне... Даже родной...

— Понимаю,—Павел сделал улыбку.—Беги. Простынешь. Беги...

Никогда прежде не случалось Бухалову бывать в Петрозаводске, и потому рассчитывал он отзлечь себя от нестерпимых дум разной особенкой города. Оно и правда: то улицы любопытное название, то финская надпись, то обширная ямина посреди жилого квартала или гора, лихостью застройки напоминающая Торжок, — было на что поглазеть. Однако все это и даже кино-театр по имени «Сампо», где показали ему что-то индийское с песнопениями напролет, не могли приглушить в голове Павла последние Ольгины слова:

— Эх, Паша, Паша! А ведь сам один виноват...

Шла она об руку со своим законным, принаряженная, но поникшая вся—даже издали заметно. Павел догнал их, встал на пути, не понимая бессмысленности затеи. Раскрыл было рот, чтобы сказать что-то чрезвычайное, да не справился. Скорчились его губы судорогой на мучительно искаженном лице, кулаки ненавистью набухли, и все запасенные фразы брызнули—не собрать при одном только взгляде на счастливого Митьку.

— Оля!..—только и выжал из себя Павел в конце концов.

Они стояли друг против друга и даже на глазах Дмитрия Кораблева не умели затаить взаимную любовь и муку в своих кричащих глазах. А семи молчали, всматривались в лица, не ощущая хода времени и словно не помня присутствия законного мужа. Но

вот нарушил несуразное безмолвие уверенный в себе Митька.

— Что же вы? Покалякайте, покалякайте в последний-то раз, — промолвил великодушно. — Есть о чем, как я фактически предполагаю. — И пошел вперед без опаски, потому что законный.

А она, совершенно обезумев от бесцельной пытки роковой встречей, рванулась вослед прямо по сугробу, но перехватил Павел ее иступленный бег.

— Ольга! Ольга! Ну как же!.. Ведь люблю я... Решили ведь...

Тут и сказала, не сказала — проплакала Ольга те окончательные слова:

— Эх, Паша, Паша! А ведь сам один виноват... Пусти!

Хотела сказать что-то еще, да не получилось. Качнуло ее, будто ветром, и отбросило от Павла навсегда. Догнала Ольга супруга, прижалась к нему, ища в неверном плече спасение и защиту от себя самой же. Так и ушли они вместе...

Но не ушел, не забылся, не утих ее страдающий голос, этот вопль души, обидой и любовью исторгнутый. Вот уже много дней жил он в неостызающей памяти Павла Бухалова: изводил и проклинал, жалел и прощал, раз другого исхода не было. Как драгоценную книгу перелистывал Павел свое недавнее, ювелирно разбирал все, что ему предлагала судьба и чего не потрудились взять безвольными, предательски осторожными руками. Ну, конечно, не Митька, — сам, сам он виноват! И не жизни ошеломляющий зигзаг, а собственная нерасторопность и недоверчивость к возможности счастья — вот причина!

А все же, пересматривая летопись воспоминаний, планируя заново события, которых уже не повернуть вспять, не умудрился Павел дойти до тех страниц, где

вразумительные итоги. «Как, почему, что я мог сделать?» Эти вопросы, по-прежнему безответные, заполняли усталую голову.

Однако урок есть урок...

С транзитным билетом до Торжка покачивался Павел в тамбурном грохоте, всматривался в заоконную карельскую тьму, будто прядущую неизвестность там наблюдая и с нею советуясь. Надеждинская боль была еще рядом, но с километрами отставала от скорого поезда и, отставая, не противилась прощально тихому произрастанию умиротворяющих мечтаний. Даже напротив, горечь утраты удобряла собой почву для новых, предначертанных всходов. И всплывали в памяти из былого философские доводы уральского сторожа. И явствовало из опытов жизни, что сыта душа скитаниями по далям. Что у себя ли на родине, в дивной деревеньке по имени Бережок, а может, и еще где — какая разница! — давным-давно поджидает его самое настоящее, обыкновенное счастье в образе собственного Кораблева. Он, будущий, уже теперь требует от Павла крепкого оседлого бытия, чтобы со светлым домом и лаской матери. Он, только он, сулит взамен окончательное истребление житейской неутоленности Павла. Так в чем же дело?

— А что?.. Назову его Колькой, — громко сказал Бухалов повеселевшему двойнику в дверном стекле.

НЕЗАБУДКИ ДЛЯ ТОМАСА

Солнце вздувалось на горизонте огромным шаром. Притихшее море лежало в заливчиках, отсвечивая багровыми красками. Майстер Пуур, приложив ко лбу руку, посмотрел на солнце и сказал:

— Придется далеко топтать, салака ушла...

Капитан Карл кивнул.

— Море — не салон дамских шляп. — В голосе его сквозило раздражение, недовольство тем, что рыбу придется искать далеко, что сейнеры все ушли до восхода, лишь они задержались, благодаря Рутсу, приехавшему поздно из Таллина.

Анк возил на каре порожние ящики со склада, бросал их на палубу. Электрокар замедленно замедлял ход, проезжая мимо бухты каната, на которой стояла, белея ногами, радистка Инга. Анк глупо улыбался во весь рот. Карл смотрел, как механик Рутс с мотористом Иваном нарочно катят бочку с соляром на бухту. Инга вскрикнула, отскочила молодой кошкой. Капитан рассердился — не хватало, чтобы из-за этой девчонки задерживался отход, Анк глазеет, будто век девку не видывал, прикрикнул:

— Кыш, сказала прогноз и топай. Анк не работает из-за тебя. Еще кар утопит, свалится с причала...

Инга покраснела, обиженно вскинула голову, не глядя на Карла, помахала рукой Анку и поскакала по доскам, только платье вихрем крутилось вокруг ног.

— Радистка, а серьезности никакой,— осудительно проворчал Карл и с мостика погрозил кулаком Анку.

Рутс запустил двигатель. Непрогретые цилиндры выпустили едкий синий дым, окутывая рубку и мачту. Люди заторопились. Анк бросил на борт последнюю партию ящиков. Боясь опоздать, прибежала теща Рутса тетушка Мика и жена Пуура Анна—принесли свежий хлеб в мешке.

Машина повернула винт, взбудоражив воду. Анк принял сброшенные с вьюшек тетушкой Микой концы. Сейнер отвалил от причала, и вскоре блеск моря поглотил суденышко.

На душе Томаса было пасмурно, несмотря на хорошее утро,—приснилась покойная Марта, звала к себе, жаловалась, что долго не идет.

Томас, горестно вздыхая, спустился по крутой тропе. На кольях у самой воды висела сеть—вся в дырках, измордованная тюленем.

Томас потоптался вокруг, разглядывая прорехи, подошел к воде и зло плюнул в краба, передвигавшегося по камню. Краб обиделся, выпучил глаза, боком удрал в щель.

— Дурак,—сказал Томас и непослушными ногами заковылял к сараю за рундуком, вернулся и принялся штопать самую большую дыру. Но работа не ладилась, путались нитки, а руки метили не туда.

Ветерок доносил запах дыма с рыбной коптильни, где бабы развели уже печи. Грудью навалившись на

камни, дремала в тихом плеске старая «Марта» — моторный бот Томаса. Им иногда еще пользовались — два раза в неделю перевозили на материк школьников в интернат, баб на базар. А в море Томаса не брали, ботом брезговали. Вероятно, забыли те времена, когда ходили за рыбой на гнилых лайбах. Ус элу — новая жизнь... Люди стали бояться моря, думал Томас.

Стало припекать. Он снял выцветшую куртку, бросил на валуны, потер ладони, порезанные нитками, о заскорузлые от рыбы штаны.

Все раздражало его: и собственная слабость, и то, что люди делают вид, будто он им нужен, дают ему работу, с которой справится самая худая баба. Чтобы успокоиться, он запел дребезжащим голосом слышанную в молодости песню: о далеких морях, в которых так и не побывал, о заброшенной мызе в вересковых полях.

Временами он садился отдыхать, крутил большие сигарки, кашлял и сердито поглядывал на море.

Волны лениво шипели на галечнике. Запахи моря будили глухую тоску. Солнце двигалось к обеду. От кропотливой работы Томас утомился, в сердце закололи тоненькие иголки. Ветер посвежел, стали набегать белые быстрые облака. Томас отогнал от себя мысль, что заболел, но иголки не проходили, вонзались глубже. Смахивая холодный пот со лба, торопился закончить работу.

На причале плотник Антс выстукивал топором — менял подгнившие доски. Из коптильни доносились прозрачные женские голоса.

Эти звуки нехорошо отзывались в голове. Томасу хотелось пойти сказать, чтобы Антс перестал стучать, а бабам — чтобы не галдели, потом лечь на землю и не двигаться.

Передними целыми зубами Томас перекусил капроновую нитку, шершавыми ладонями потер красные веки. Каждый, увидев его в эту минуту, сказал бы, что старик плох, и непременно отправил бы в больницу. Но Томас больницу не любил, ни за что бы не согласился лечь в нее: в больнице умерла Марта. Время стерло в памяти подробности. Он тогда пришел с моря и поехал на материк навестить жену, лежавшую в клинике. Там ему сказали, что она умерла час назад, звала его перед смертью. Подвели к ширме в углу коридора, где Марта лежала, накрытая простыней.

Собрав немудреные пожитки, Томас затопал к сарайчику. Внутри было душно от нагретой крыши, стойко пахло манильскими канатами и бочками, провявшими рыбой. Снаружи сосны глухо шумели. Старая полуразрушенная мельница скрипела разошедшимися крыльями. Мыза, сложенная из плитняка, где жил Томас, стояла на высоком берегу, море заглядывало в дом, и ветер обдувал со всех сторон камышовую крышу, напоминавшую сердитого ежа с растопыренными иглами. «Берлога старого Томаса» — называли дом люди. На острове старика не уважали за угрюмый характер. Говорили, будто он еще до войны погубил родного сына своей жадностью — в шторм ловил рыбу. Его сняли с перевернутой лайбы одного.

Томас поднялся с трудом наверх. Хильда встретила у порога радостным повизгиванием. Он погнал ее прочь, хотя ему было приятно, что у него есть эта собака бурой дикой масти, с порванными ушами. В поселке бабы не любили суку за воровские повадки, клепали, будто она таскает кур. Это была, однако, выдумка, хотя он плохо кормил ее, больше она жила на подножном корму: ловила мышей и птиц в поле. Сейчас Томас вспомнил об этом, вытащил из кармана кусок недоеденной колбасы весь в крошках табака, отер ла-

донью, подул и отдал ей. Вынул сучковатый кол, подпиравший дверь.

Щегол в клетке завозился, пискнул совсем тихо, приветствуя.

Томас сел на порожке, кряхтя стащил сапоги, засунул ноги в обрезки валенок, зашлепал к буфету. Там нащупал бутылку с тминной настойкой, глотнул из горлышка, погонял тупой вилкой сопливые маслята на тарелке. Потом разделся, лег в железную кровать, натянув одеяло до подбородка. Щегол царапал дно клетки, стучал клювом по прутьям.

Третий день сейнер Карла топтался на мелководье в пятидесяти милях от дома. Рыба шла хорошо. Лебедка лязгала шестернями, стрела очерчивала круг, бережно опускала сверкающий на солнце пузырь с рыбой. Шла салака, раздутая от икры, потрескивала под ногами, пищала, лезла в сапоги — люди ходили в серебряном кипятке.

Карл запросил Юхана, тот пожаловался, что у него ни черта не идет. Топать сюда ему не было смысла — синоптики обещали шторм.

Все засмеялись, что капитан Юхан испугался шторма. Чтобы прийти с полным трюмом, стоило потерпеть. Море не салон дамских шляп.

Один Анк ворчал, что из-за этой проклятой салаки они света не видят. Команда скалила зубы, все знали, что дело здесь в Инге. Рутс подтрунивал над ним, рассказывая между делом, будто к радистке, когда Анк в море, приезжает на собственной моторке какой-то тип и увозит ее в Таллин. Анк злился, и все видели, как он тайком ходил к Карлу клянчить разговор с островом.

Подняли последний трал. Ветер уже посвистывал в такелаже. Пока драили палубу, занимались приборкой,

ветер загудел. Карл велел плотно задраить трюм. Часть ящиков не вместились, лежала на палубе. Ветер дул в корму, сейнер шел ходко, кланяясь обгоняющим волнам. Банда чаек орала в пенистый след.

Потом началось. Море мгновенно поседело. Стекла в рубке покрылись водяной пылью. Сейнер охнул и стал валиться на бок.

Лиловый сумрак обволакивал остров. В домах зажегся спокойный свет. Все знали, что идет шторм, но дело было привычное. Только радистка Инга знала, какой силы шторм. Ее беспокоило, что начальство было на конференции на материке и не все суда находились в безопасном месте. Она, притихшая, сидела у аппарата, длинными пальцами настраивалась на волну. Жужжал унформер. Рация попискивала слабой мышью. Шведский пароход «Мальме» вызывал Стокгольм.

Наушники плотно сжимали роскошные волосы Инги.

Первый шквал со всего размаху ударился грудью о высокий глинт острова, на минуту притих, ушибленный, очнулся и помчался дальше, пригибая к земле упругие заросли вереска, выщипывая траву. Сосны сгорбались, затрещали сучья. Басом завыли собаки.

Томас отлеживался в своей берлоге. За окнами неистовствовал ветер. Потрескивала камышовая крыша, за обоями, осыпаясь, шелестел песок. Во дворе повизгивала Хильда. Томас потянулся рукой, зажег свет и посмотрел на латунный барометр. Стекло отсвечивало, он не разглядел и тогда спустил синие ноги в застиранных подштанниках, поджимая пальцы, по холодному полу подошел и постучал согнутой костяшкой по стеклу, покачал голозой. Он мог и не смотреть на барометр, — знал, что ветер перевалил за восемь, и знал, как худо сейчас в море.

Стрелка кренометра доползла до отметки 23.

— Недурно для начала, — сказал Пуур, напрягаясь всем телом.

Судно рыскало на курсе, сбито волной. Тускло светила катушка компаса. Карл расклинил толстыми ногами в палубу, сопел, вода пальцем по карте.

— Мы вот здесь, а маяка не видать. Подыми Анка и закрепи ящики получше.

Пуур передал штурвал, надвинул капюшон и подождал, пока сейнер выберется из ямы, всем телом наскочил на дверь. Рубка наполнилась холодным упругим ветром и сыростью.

Моторист ползал по рифленому настилу, заглядывая во все градусники. Его тошнило, он часто сплевывал в льяла, ноги разъезжались на скользкой от соляра палубе. Рутс у пульта прислушивался к взрывам в цилиндрах. Двигатель был старый, еле выгребал против волны. Временами оголялся винт, и корма сотрясалась от вибрации. Волны дубасили по железному корпусу, готовые расплющить хрупкую посудину.

Рутс вынул затычку, подул в переговорную трубу. Услышал озабоченный голос Карла:

— Все в порядке?

— Не совсем, — сказал Рутс, сглатывая слюну. — Температура поднимается. Надо сбавить обороты... Двигатель в разнос идет...

— Потерпи, — зарычал Карл в трубу. — За грядущим зайдём, сбавишь. Тут черт знает что творится, попали в зубы... Не дотянем, ляжем в дрейф. Потерпи...

— Понятно, — сказал Рутс, с тоской прислушиваясь к лихорадочным перебоям в машине.

Шторм усиливался. Напряженно гудел такелаж. С палубы смыло ящики. Один чудом продолжал удерживаться, цепляясь то за лебедку, то за фальш-борт.

— Мы идем, а нас штивает, — мрачно сказал Пуур позеленевшему Анку. — Попали в переделку... Сколько на лаге?

— Ноль...

— Хм... Не проскочить за грядку.

Карл по радио разговаривал с островом. С бороды и задранного капюшона капала на панель вода. Капитан хрипел в телефон, устало ворочая желтыми глазами, сердился, что плохо слышно:

— Знамя, Знамя, почему не отвечаете?..

Гряда островов приближалась, судя по нарастающему грохоту, хотя ни зги не было видно в аспидной тьме. Самый большой из них назывался Змеиным. На нем жили одни гадюки. В полумиле торчали каменные клыки.

Карл приказал бросить оба якоря. Но каменистое дно не позволяло схватиться намертво. Лишь правый якорь еле держал, сейнер развернуло носом к волне. Рутс остепенил обороты. Карл снова принялся за рацию, прижимал наушники безобразной от вздувшихся вен рукой, жадно прислушиваясь к далекому голосу.

Вдруг суденышко подбросило к самому дьяволу, люди повалились друг на друга, цепляясь за что попало. Никто не услышал, как лопнула якорная цепь. Сейнер поволокло на клыки.

— Что у вас там? — свистнул Рутс в трубу. — Черт бы подрал... Моторист, кажется, руку сломал...

— Еще не легче, — огрызнулся Карл. — Давай обороты...

— В чем дело?

— Якорная лопнула.

— Понятно, — сказал Рутс. — Мертвому припарки... Машина не выдержит.

— А что ты предлагаешь? — заскрежетал Карл. — Влупи на всю катушку, сколько выдержит.

— Добавлю, — скучно сказал Рутс. — Пришли Анка на помощь...

— Пришлю. Иван пусть не высовывается...

Левый якорь не держал. Сейнер карабкался на водяные громады, падал стремительно в пропасти, глубоко зарываясь штевнем. Оборванная у клюза цепь молотила по корпусу.

— Инга молодец, связь держит, — сказал Карл Пууру. — У нее два раза антенну сносило. Грабарь и Юхан за Лебяжьим мысом отстаиваются...

Он не успел закончить — море повалило суденышко, рубка затрещала под десятитонной толщей, вода хлынула в разбитые стекла.

Карл выплюнул соленую горечь, страшно выругался. Пуур бешено крутил штурвал, выправляя положение судна. Из машины молчали, и двигатель работал на тех же оборотах. Пуур побледнел, — Карл понял, по тому как волны стали хаотично клевать судно, что потеряно управление.

Томас вышел во двор по нужде, увидел фантастический огонь на берегу. Ветер выхватывал охапки искр, уносил, закручивая, в темноту. Пляшущие блики освещали искаженные лица, растрепанные волосы, парусом раздуваемые одежды. На гряде, где терпело бедствие судно, вспыхнула красная ракета.

Старик вернулся в дом, оделся и вышел. Ноги в тяжелых рыбацких сапогах слабо нащупывали каменистую тропу. Грудь у него не болела. Он подошел к женщинам, столпившимся на краю земли, ничего не спрашивая, стоял и смотрел. Среди упругой темноты вспыхивал мерцающий огонек. До Змеиного острова было добрых четыре мили. С радиостанции приходили все более мрачные вести. Хотя было известно, что из

Таллина вышел спасательный буксир «Голиаф» и Юхан обещал пробиться.

— В ту ночь, когда погиб сын, тоже было так, — сказал Томас с тоской. — В бурю от Таллина шесть часов ходу, а от Лебяжьего три... Они могут не успеть...

Жена Рутса услышала, набросилась с бранью:

— Старая ворона, сыч, каркаешь здесь!

— Нужно отсюда помочь... — защитился старик.

— Ты, что ли, согнутая кочерга, собираешься? Смеешься над нами! Уходи, пока тебе глаза не выцарапали...

Тетушка Мика ужалила сухую спину старика злым маленьким кулачком:

— Чтоб тебя господь покарал. Чтоб ты подох! Радуюсь чужому несчастью...

— Я знаю Змеиную гряду, — проговорил старик, отступая в темноту.

Гудел огонь. Хлестко, словно огромным бичом, стреляло волнами невидимое море. Томас совсем рехнулся, что-то кричал насупленному плотнику Антсу, и освещенное лицо его было страстно. Приземистый завхоз угрюмо смотрел в землю. Старик плевался и размахивал руками. Антс покрутил у виска пальцем, притихшие женщины с надеждой смотрели в кипящее море.

Никто не видел, что старый Томас спустился к причалу. Подкатывающие волны накрывали пирс, иногда им не хватало силы, и вода горбом вспухала под настилом и фонтанами била через щели.

Томас долго дергал задубевший мокрый брезент, на ощупь запустил мотор. Поблизости залаяла Хильда, прыгнула в раскачивающийся бот.

Пока мотор грелся, Томас сходил в сарай, принес связи веревки и крепкого капронового шнура.

— Слышишь, чертова кукла, пошла прочь! — суматошно закричал Томас, увидев Хильду. Собака упрямо

легла на решетки. Старик шагнул через банку, неожиданная боль пронзила грудь. Ветер сорвал с головы старую тельманку, бросил на дно бота. Опираясь трясушимися руками в скользкую банку, Томас отвязал концы, державшие посудину, оттолкнул нос и осторожно перебрался к двигателю. Труба по-старомодному торчала вверх. Искры вылетали огненными точками, больно кусая лицо и шею.

«Марта» послушно обогнула длинный волнолом, защищавший заливчик от напора бешеных валов. Наверху бабы жгли костер.

Рутс засунул мокрую голову в люк и осветил фонариком в машину, где жирно перекачивалась вода. Мертвый двигатель поблескивал маслом. Зарывшись штевнем, сейнер вздрагивал и звенел, клыки рвали обшивку. Выделявая замысловатые скачки по накренившейся палубе, рыбаки пытались кувалдой забить клинья, чтобы удержать в трюме воздушную подушку. Воздух шипел через брезент, выдавливаемый морем. Молодой месяц жидко освещал рябые валы.

Уже светлело, и море казалось еще страшнее от седой мглы.

Томас приготовил выброску. Бот плясал на волнах совсем близко от черного накренившегося корпуса. У рубки жалась фигуры рыбаков. Старик приподнялся на непослушных ногах, метнул выброску, ветер отбросил ее в сторону. Бот юлил на воде у самых зубов, но камни не давали подойти вплотную с подветренной стороны. Томас бросил еще раз и понял, что ему никогда не докинуть против ветра эту проклятую выброску. Он разозлился, слыша радостные подбадривающие крики

людей, тоже пытавшихся докинуть слишком короткий конец.

Тогда бот вдруг стал обходить, ныряя и проваливаясь в ямы. На сейнере поняли, что он заходит с ветра, но это было глупо, такой скорлупе не справиться будет со шквалом — выкинет за камни одни щепочки.

Но «Марта» упрямо выбирала против волны. Мотор надрывался, от него шел пар, будто от загнанной лошади. Соленые брызги пеленали глаза, Томас плохо видел, но тело его окрепло, в ногах пропала дрожь, только сердце ширилось в груди, ветер упруго забивал легкие, и старик с трудом выдыхал густой плотный воздух.

Новый порыв хлестнул в лицо. Огромная волна вздыбилась под днищем и, удерживая на своей спине, понесла. Томас инстинктивно выкинул веревку до вывиха в плече. Мелькнули кричавшие лица. Бот со скрежетом запрыгал по камням. Но Томас понял, что пронесло, он чувствовал, как в судорожно сжатой руке скользит капроновый конец, обжигая и срывая кожу с ладоней.

На сейнере быстро выбрали прочный канат и закрепили.

Томас немного отдышался и поглядел на гулявшую под ногами воду. «Еще одна такая волна, и моей «Марте» будет крышка», — подумал он и, не выпуская руля, задергал ручку помпы. За кормой барахлил погнутый винт. Капроновая пуповина крепко удерживала «Марту» по ветру.

Старик видел, как с борта отделился человек и, перебирая руками канат, приближался. Волна накрывала, волокла по камням, голова появлялась из пены, отфыркиваясь. Наконец человек вынырнул перед самым бортом, вцепился за холодную костлявую руку старика.

— Все там живы? — пролаял Томас, задыхаясь в ветру.

— Все!.. — выкрикнул Рутс, яростно отплевываясь от соленой горечи.

Гул моря разрывал выкрики...

Они отошли подальше от грохочущей воды и, не сговариваясь, повалились на камни. «Марту» разбило вдребезги — у них не хватило силы ее вытащить. Ветер уже не срывал белую пыль с гребней.

— Не огорчайся, — сказал железный Пуур, — что твою посудину разбило...

Томас печально кивнул, вытащил спички, — последнее, что могло помочь, — отдал рыбакам, отошел в сторону, сел лицом к восходу. Рассвет окрашивал в фиолетовые тона камни. Уже хорошо можно было разглядеть оставленное в полумиле судно, растерзанное бурей, — валы перекатывались через красное запрокинутое днище.

Суровый Карл кашлял и сморкался. Рутс с Анком мрачно дробили просмоленные доски из выброшенных останков «Марты» для костра.

Все услышали сирену и увидели прыгающие в волнах бледные огни подошедшего сейнера Юхана. С судна заметили смоляной дым, сигналили гудками. И собака Томаса завывала, подняв морду с оборванными ушами. Хозяин сидел, привалившись к каменной плите, задрав бороду, и внимательно смотрел в белое небо. Карл кликнул его к огню, но Томас не пошевелился и торжественно слушал вой животного.

Никто не поверил, что старый Томас умер. Каждый подходил, опускался на колени, пытался обнаружить, возможно, притаившуюся где-нибудь в худом теле жизнь и растерянно поднимался в суровом молчании. Вышло так, что человек умер.

Тогда рыбаки взяли остывающее тело и понесли на самое высокое место, положили и скрестили ему руки, побелевшие от соли.

С дрейфовавшего сейнера стреляли зелеными ракетами и смотрели на Змеиный остров в восьмикратный бинокль. Ветер успокаивался и вскоре совсем затих. Весной бури коротки. Только море продолжало горбиться мертвой зыбью.

Уже закричали ожившие чайки, когда подошел спасательный буксир из Таллина и спустил шлюпку.

Видавший виды боцман с «Голиафа» спросил:

— Что с ним?

— Умер... — просто ответил кто-то.

Матросы хотели взять старика, но Карл сказал:

— Оставьте. Мы похороним здесь...

С буксира привезли аварийные брусья и доски. Карл и Юхан сердито стучали молотками, сооружая большой крест и гроб.

Потом все в молчаливом согласии носили камни, пока не вырос большой могильный холм. Сверху положили порыжевшую тельманку Томаса, и Анк принес две бледные незабудки, вырванные из расщелины. Боцман выстрелил из ракетницы, на «Голиафе» и сейнере загудели сиренами и приспустили флаги, будто хоронили заслуженного адмирала. Рыбаки молча пошли к шлюпкам, и, хотя еще качало, они долго не садились, обнажив головы, прощаясь с приютившей их землей, где нашлись всего две незабудки для Томаса.

ШЕСТЬ ВАРЕННЫХ КАРТОШЕК

Почему-то крепче всего запомнились зимние утра. Многое забылось за прошедшие годы, а что помнится...

Встаешь затемно. Свесив голову с полатей, видишь бело забородатевшие изнутри окошки; только верхние стекла голубеют слегка.

У большой, во весь задний угол избы, русской печки возится мать: стучит, гремит, привычно орудует чугунами и ухватами, — спешит управиться по хозяйству. От огня в печи мельтешат на стенах лохматые тени.

Спрыгнешь с полатей, где осталась теплая постель — мешок из холстины, набитый соломой, налялишь одежку, сунешь ноги в валенки — и к рукомойнику. Он глиняный, с двумя рыльцами и на цепочке. Отыскал я его в рухляди, брошенной на чердак, когда пропала последняя надежда починить медный, сделанный отцом из самовара.

Бр-р-р — как выстыла за ночь изба. Ер-р-р — до чего холодна вода. Наспех, для близиру, ополоснешь руки и лицо. Но мать все равно увидит. А может, и не видит, кричит для острастки:

— Рожу-то умой как быть следует!

И тут уж, несмотря на пупырышки по всей коже, приходится умываться по-настоящему. Мать по утрам сердитая бывает, может и ухватом по спине огреть.

Сестры еще не проснулись. Сейчас они спят крепко, а осенью просыпались вместе со мной. Проснутся и заканючат:

— Мама, дай картошечки...

— Мама, дай...

— Да, да, — заторопится мать. — Вот только парня в школу отправлю.

— Мама, дай картошечки-и...

— Мама, да-ай...

— Ох, чтоб вас, — тихонько ругается мать. Сует сестрам по картошине, и возня на печке прекращается.

На пороге и на косяках дверей за ночь выросли бугорки льда. Они растают, когда протопится печь. Я беру косарь.

— В школу опоздаешь, ровно без него не сделаю, — ворчит мать, но по голосу видно — довольна.

Скальваю косарем лед, сметаю его в совок и сбрасываю в лохань под умывальник. Затем сажусь за стол, поближе к коптилке, поставленной на перевернутую корчагу.

Мать несет чугунок, ставит на стол. Картошка исходит паром, мгновенно обсыхает. Горячий пар пахнет подгорелой кожурой.

Славная нынче уродилась картошка. Сухая, разваристая, с искорками крахмала на изломах, она так и тает во рту. Запускаю руку в чугунок, хватаю, обжигаюсь, дую на дымящуюся картошку, перекаत्याю в ладонях.

Картошка, картошка, картошка...

Она для нас — второй хлеб. И так же, как хлеб, никогда не приедается. Прошло голодное лето. После черных лепешек из крахмала перезимовавшей в поле картошки, после щей из крапивы и подорожника, после

толокна из макух — головок дикого клевера, — настоящая картошка хоть кому покажется райской едой...

— Не ройся, — ворчит мать, — крупные-то с собой возьмешь.

Горячую картошку, очистив от кожуры, заедаю холодным соленым огурцом, сочно похрустывающим на зубах. Мать подает и кусочек хлеба, но я отодвигаю в сторону — возьму в школу.

Поел. Надеваю пальтишко, подпоясываюсь, перекидываю через левое плечо на правый бок холщовую сумку. Киваю матери в ответ на ее наказания накормить девок, надавать козе сена и нарубить дров на истопель, когда приду из школы. Сама она вернется со скотного двора поздно, мы уже ляжем спать.

Шапку нахлобучиваю на самые глаза, завязываю наушники. Отбиваюсь, но мать повязывает своим платком нос и подбородок поверх шапки.

— На-ко, сунь за пазушку, все погорячее, — подает мать отобранные картошины. Руки у нее в трещинах, загрубелые и большие, но картошины все равно еле умещаются в них. Засовываю картошки за пазуху по одной: три слева, три справа.

— Зачем столько даешь? Много ведь.

— Бери, бери, ты у меня большой. Скоро работать пойдешь...

Мне хочется что-то спросить еще, но рот завязан — много не наговоришь.

Выхожу в скрипучие от мороза сени, нашариваю в потемках скобу у дверей на крыльцо.

Ну и холодина! Ресницы слипаются, дыхание даже через платок перехватывает. Запихиваю руки поглубже в рукава и топ-топ с крылечка.

Полурассветло. На берегах и черемухах тяжелый иней гнет к земле ветки. Дружно курится дымами наша маленькая, в семь изб, деревня. Она так и называется —

Семидворики. Неужели так было всегда? Я не помню, но мать говорит, что было в деревне до войны побольше изб.

До школы — две версты. Скрипучая, белая до слез дорога. Еловые вешки, как сгорбавившиеся старухи, спотыкаются, не поспевают за мной. Где им за мной угнаться, ведь я уже большой. Сам подшиваю валенки, сам заготавливаю дрова, не считая мелких дел по дому. А после школы работать в совхоз пойду.

От горячей картошки по телу приятное тепло. Будто печка-чугунка за пазухой. Почему мать всегда дает шесть картошек? Не пять, не четыре, не семь, а ровно шесть. В прошлую зиму так не было, это только теперь. Надо будет у матери выпросить.

Деревня немного больше нашей — Потапово. Никто не дожидается у крайней избы, похожей на рассерженного кота: зад двора осел, перед избы врос в землю, крыша посередке вздулась горбом. Темно в двух окошках-глазах. Наверно, Валька опять поругался с матерью и убежал пораньше.

За Потаповом — перелесок, утонувший в снегах до самых подмышек. Елочки похожи на зайцев, а кусты ивняка — на волков и медведей. Страху почему-то нет, хотя вечерами ходить здесь один опасаясь. Но сейчас — все светлее и светлее. Вон уже и с горы видно: там, где большая деревня, небо заалело.

В большой деревне и избы большие. Но школа все равно больше — она двухэтажная. Это уже не изба, а целый дом. Мать говорит, что раньше в нем жили кулаки. Их выслали, а дом отдали под школу. Сюда ходили мои старшие братья и сестра, а после меня сестренки будут учиться.

Под навесом крыльца Валька Мисенин приплясывает в больших, не по росту, задубелых валенках: опять забыл просушить на печке. Поскорей стаскиваю с себя

платок, пока Валька не увидел, засовываю в карман. Я сам сколько раз ему говорил: «Мы не девки, чего нам закутываться».

Валька шевелит посинелыми губами, глаза иззябшие: «Дяденька, скажи моей лошади „тпру“». — «А что сам-то?» — «Да у меня губы озябли».

Ему, конечно, не до шуток. Он всегда мне завидует: «Тебе что, вон у тебя какая matka добрая». Будто я в чем виноват.

Раздеваемся прямо в классе — просторной комнате во весь второй этаж. Половину занимают второклассники, другую — мы. Садимся за свою парту, в первом ряду у окна. Достая из-за пазухи картошку, из сумки — хлеб. Разламываю его пополам, подаю Вальке и три картошины. Кожура сморщилась, но картошка еще теплая. Посыпаем её желтой солью и едим.

У Вальки сразу мутнеют синие глаза, — после холода его разморило. Поев, он спрашивает:

— В пятый класс будешь ходить?

— Не, работать пойду.

— Врешь? — не верит он и вздергивает реденькие белесые брови. У него из-за них и прозвище есть — Ячменный Колосок. — Ты же хотел?

— Верно, хотел. А теперь расхотел. На всякое хотенье есть терпенье. Пропущу год-другой, — повторяю слова матери.

— Вот верно, — радуется Валька. — Учеба у него идет не шибко. — А война окончится, снова станем учиться.

Класс понемногу заполняется. Стучат крышки парт.

— Слушай, — толкаю я Вальку, пока он достает из сумки книжки. — Почему мне мать дает всегда шесть картошин?

— Почем я знаю, мне так matka почти никогда не дает, — отвечает Валька. — А твоя, наверно, чтобы нам

с тобой без обиды было. А чего это тебе в башку стукнуло?

— Вот и стукнуло, — задумчиво говорю я. — Всегда шесть...

Входит Анастасия Сергеевна, и мы замолкаем.

Прежде чем начать урок, Анастасия Сергеевна читает нам газету. Вчера читала о пареньке, почти нашем ровеснике, как он вытачивает гильзы для снарядов не хуже взрослых. Он, наверное, очень маленький, меньше меня: подставляет ящик, чтобы достать до станка. А что это за станок — токарный? Наверно, как наш, на котором пилим с матерью дрова, только большой и из железа.

— А я знаю, — шепчет Валька и тычет меня в бок.

— Чего знаешь? — спрашиваю тоже шепотом.

— Знаю, почему тебе матка дает шесть картошин.

— Так почему?

— Какой хитрый. Сам доберись...

Он такой: ни за что не скажет, пока не помучит. А мне досадно: ничего не приходит в голову.

Валька не может сдержаться радости:

— Эх ты, кумекать надо.

Прикидываю так и этак. Сейчас нас четверо, да четверых нет. Нет, не то. Не восемь и не четыре, а шесть.

Вальке невтерпеж, он подсказывает:

— Батька?

— Пропал без вести...

— Шурка?

— Пропал без вести, — я начинаю догадываться, но Валька не дает передышки.

— Васька?

— А-а, понятно. Трое на фронте, трое дома...

— Какой шустрый. А вот и нет, — поддразнивает Валька.

— Что же тогда? — меня сердит его упрямство.

— Сам доберись...

— Марков, что вы там шепчетесь? — строго спрашивает Анастасия Сергеевна. Хоть и говорят, будто я хожу в любимчиках, она всегда ко мне придирается.

Валька прикидывается дурачком:

— Задачку не можем решить никак.

— Какую задачку? — удивлена Анастасия Сергеевна.

В темном платье с кружевами и серых аккуратных валеночках она неслышно приближается к нашей парте. Рядом с ней мне всегда стыдно своих заплатанных штанов. Хоть бы поскорей мать съездила в город да выменяла галифе на картошку, как прошлой осенью гимнастерку, в которой я теперь щеголяю. Велика не мала, укоротить можно.

— Что с тобой, Марков? — спрашивает Анастасия Сергеевна. — Ты случайно не оглох? Я ведь тебя спрашиваю, а не Мисенина. Задачки надо дома решать, а сейчас — слушать. Разве тебе не интересно, что делается на фронте?

Сама еще не начинала читать, а уже выговаривает. От такой несправедливости слезы сами навертываются на глаза.

— Садись, Марков. — Анастасия Сергеевна снова уходит к доске. Разворачивает газету, читает новости с фронта. Потом на карте, висящей около двери, переставляет красные флажки. Они все дальше и дальше отодвигаются к левому краю. Здорово наши дают фрицам!

А за окном по дороге тянутся возы с сеном. Лошади с заиндевелыми мордами, возчики, укутанные по самые глаза, почти одни женщины. В стеганых фуфайках и таких же ватных штанах они кажутся необыкновенно толстыми. Возов много — насчитал пятнадцать и сбился. Передняя подвода уже скрылась из глаз, а сзади все едут и едут. Сено везут на фронт. Отсюда до станции верст девяносто. Долго им придется шагать.

Учительница диктует задачу, и наблюдательный пункт приходится покинуть. Но разве выдержишь, если за окном везут сено для фронта? Это не ящики с грушами, привезенными колхозниками на базар. Кое-как записав условие, занимаю прежнюю позицию.

Предпоследний воз тащит здоровенный мерин, гнедой и, очевидно, смирный. А рядом с ним, помахивая кнутом, семенит невысокая девушка, худенькая, хоть и в ватных штанах. Вот она оборачивается к школе, читает вывеску, и я вижу, что это парень. И даже не парень, а парнишка. На год, от силы на два старше меня. Выходит, и я мог бы не торчать здесь за партией, а возить на фронт сено? Даже мать говорит, что я уже большой.

Скрылась под горой последняя подводка, а у меня перед глазами все еще парнишка с кнутом.

«Ты у меня большой, — сказала утром мать. — Скоро работать пойдешь». Мать часто повторяет эти слова, но только теперь доходит до меня истинный смысл их. Большой вовсе не то, что старше двух сестер и больше их ростом. Большой — это большак, старший в семье, материна опора. От отца и старшего брата второй год ничего нет, Васька пишет редко. И шесть вареных картошек, которые мать дает по утрам, — за отца и двух старших братьев, которых я должен заменить. Вот как повернулось дело!

Довольный своим открытием, я подмигиваю Вальке.

— Уже решил? — шепчет он.

— Так ты же мне помог, верно?

Валька таращит синие глаза — не понимает.

— Эх ты, Ячменный Колосок, — дразню я, — кумекать надо...

КЛАССИЧЕСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

Повесть

I

В углу небольшого предбанника стояли новенькие весы; голые пятки еще не успели протоптать на них две параллельные плешины. Да и все здесь было новое и блестящее: скамьи, никелированные крючки для одежды, пластиковый пол.

Раздевались двое: сухонький пожилой мужчина, низкорослый, загорелый, — опытный глаз сразу определил бы, что когда-то мужчина был легковесом, «мухачом», и до сих пор держит режим; и роскошного сложения парень в лучшей поре, — такие мускулы только по телевизору увидишь, когда чемпионов показывают.

— Слушай, Ионыч, если бы не шары щербатые, я у тебя бы вчера выиграл! — Парень говорил торопясь, точно боялся не успеть сказать самое главное. — Я б в угол как пулю положил, да в самую щербинку кием попал!

— «Я бы... я бы...» Плохому танзору знаешь что мешает? Проиграл, и точка.

— Нет, давай по справедливости. Положи я тот шар, я бы выиграл? Выиграл!

— Ладно, успокойся, выиграл бы. И давай на весы. Думай, как сегодня выиграть. Чтобы в другой вид не

перейти. А то скажут: «Юрий Сизов? Это который чемпион бильярда?»

Но Сизов не торопился на весы. Он стоял и сосредоточенно мял поясицу.

— Вроде ничего, молчит. И как наклоняюсь, тоже ничего... тьфу-тьфу. А ты, Ионыч, зря смеешься: выигрыш — он всегда выигрыш.

Ионыч отмахнулся и сам встал на весы, подвигал гирьки, объявил с торжеством:

— За двадцать лет триста грамм прибавил. А на Великина посмотреть! Тоже когда-то в «мухе» работал, а теперь не меньше восьмидесяти тянет... Ну, давай ты.

Сизов смотрел на весы с тем же выражением, с каким смотрят на зубо врачебное кресло.

— Не тяни, давай!

Сизов нехотя шагнул на весы. Ионыч осмотрел его критически, сказал преувеличенно сурово:

— Выступаешь, а вон какое брюхо отъел. Не прокнешь! — и вдруг ткнул Сизова пальцем в пупок.

Сизов согнулся, защищая живот неловким женским движением.

— Я ж щекотки боюсь! Перестань! Перестань, говорю!

— А не отъедай.

— Не жир у меня, не жир! Сам не видишь? Пресс!

Ионыч изловчился и снова ткнул в пупок пальцем. Сизов запрыгал на весах.

— Стой ты, не балуй! Весы ломаешь.

— Сам щекочешься!

— Ладно, стой... Ого, ничего себе живой вес! Ну идем. Три литра напотеешь, и в самый раз.

Три литра — легко сказать! Да за что же он так мучается? И все-таки Сизов ждал этого дня, потому что перед соревнованиями сама кровь бежит с веселым звоном, как мартовский ручей. Наверное, так же чувствует

себя старая полковая лошадь, выезжая на маневры. Собираются настоящие ребята и делают истинное мужское дело. Адски трудно поднимать это проклятое железо, иногда просто больно, но как иначе почувствовать напряжение и полноту жизни?!

Ионыч схватил со скамьи веник, взмахнул решительно и открыл толстую, как у сейфа, дверь. Оттуда пахнуло жаром.

В парной уже расположились двое. Один, густо заросший по всему телу черными волосами, блаженно раскинулся на верхней полке. Другой, огромный и совершенно лысый белотелый толстяк, хлестал волосатого веником. От жара и работы толстяк порозовел, при каждом взмахе руки жир волнами ходил под кожей.

Увидев вошедших, волосатый закричал восторженно:

— Юра, дорогой! Приполз, старый инвалид, наказывать всех решил!

— Накажешь, — отмахнулся Сизов. — Одни вундеркинды кругом. Точно не штанга, а фигурное катание. Привет, Реваз.

Волосатый протянул руку:

— Привет... Ионыч, здорово. Чего твой кадр скулит? Где воспитательная работа? Какие вундеркинды? Шахматов? Скажи своему Юре: надерет он Шахматова! Чем он у тебя недоволен? С персональным тренером разъезжает. Я один приехал.

— Я-то подумал, нового тренера Реваз завел.

— Один я. На моего суточные не выписали, пожалели: бесперспективный. Ничего, тяжу размяться полезно, а то он вроде Гамаюнова. Помнишь, Ионыч, Гамаюна?

Сизов лег на полку. Ионыч долго мял ему спину, как бы нащупывая, откуда лучше пот пойдет; наконец решил, хлестнул веником и только тогда кивнул Ревазу:

— Помню. Он раз на спор две пачки масла растопил, долил до литра какао и выпил не отрываясь.

— Точно, он! А как клопа давил! Где сел, там отключился. Как выступать бросил, он же судьей был. Сидит старшим, и храп на весь зал. Парень раз вышел толкать, на грудь взял и бросил, а Гамаюн храпит. Его в бок тычут, он встряхнулся и командует: «Опустить!» Парень давно бросил, а он: «Опустить!»

Все засмеялись. Сизов тоже улыбнулся за компанию — не любил он, когда перед соревнованием сидят как сычи, «настраиваются», — но все же лучше бы Реваз догадался помолчать. Хорошо ему народ потешать: ни на что не претендует, выступит в свое удовольствие и уедет в деревню домашнее вино пить. Как выражаются представители команд, «железный зачетник». Иногда Сизов завидовал Ревазу и думал, что, имей он сам дом в теплых краях, тоже жил бы в свое удовольствие, радовался славе районного силача и не карабкался бы на Олимп. Но долго себя обманывать не удавалось: дело не в доме — в характере; и раз уж с детства такой характер, чтобы непременно быть первым, никаким виноградником его не успокоишь. Тем более когда уже испробовал славы, когда уже был первым и перестал быть. Возможно, правы те, кто выиграет один-два раза и уходят? Уходят в расцвете, чтобы лелеять красивый титул «непобежденного». Но кто помнит, побежденными или нет ушли Новак или Коно? Помнят победы. Но это позже, когда отстоится история, а сейчас, в разгар мучительной гонки за молодыми, нагромоздившими в последние два года фантастические рекорды, многие спрашивают у Сизова при встрече: «Все таскаешь? На первенство ЖЭКа?»

Перед Олимпийскими играми Сизов два года подряд становился чемпионом мира, да так, что соперников видно не было. Кто другой летел через океан

драться, а он уже в Москве садился с золотой медалью в кармане: в его весе второй на чемпионате мира показывал результат хуже пятого на первенстве страны, так что вся борьба дома шла. Правда, на Олимпийских оказалось, что поляк сильнее, чем ожидали, но это дела не меняло: тот уже все подходы истратил, а у Сизова два в запасе — он только что не насвистывал, когда на помост выходил. Ну и с такой силой от радости на грудь выхватил, что гриф не на ключицы лег, а выше, на шею, где сонные артерии. Круги перед глазами пошли, не помнит, как бросил. Ему бы тогда хоть десять минут отдышаться, да все уже кончили, он один остался, поэтому сразу снова вызывают, таймер включен, три минуты на подход и ни секунды больше. Вышел, зал перед глазами плывет, подрыв кое-как сделал и бросил.

Никто не понял, почему Сизов на олимпиаде сорвался — ни среди тренеров, ни в федерации. Рассказал одному Ионычу. Вообще-то Сизов жалости не терпел, но сочувствие Ионыча было необходимо — только Ионыч роковых обстоятельств и всякой там судьбы не признает, материалист стопроцентный.

— Ты, Юра, сам виноват. Техника подзела, — любит прописями говорить.

Раз уж Ионыч, который роднее отца, так отнесся, чего от других ждать? В федерации, конечно, сразу мнение: «Сизов не стабильный, Сизов не волевой». Ну и пошло все вкось. А тут новая волна: Валдманис, Шахматов, Рубашкин. Ребятам едва за двадцать, Сизов в их годы первый разряд ковырял, а эти с ходу рекорд в сумме килограмм на двадцать подняли. Сизов тянется, пять кило прибавит, а те на десять уйдут. Догони! Трудно в тридцать три надеяться. Списали!

Если бы тогда олимпиаду выиграл, может, и угомонился бы. А так нелепый конец биографии получается.

Серебряная олимпийская медаль у него, дважды чемпион мира, в какой-нибудь маленькой стране он бы национальным героем стал, а по нашим меркам — провал. Коновалов, секретарь федерации, два года с Ионычем не разговаривал. А при чем Ионыч? Да черт с ним, с Коноваловым, главное, для него самого, для Сизова, провал! Может быть, из зала не такая большая разница: первая ступенька, вторая — оба молодцы, а для него позор! Поляк кричал, подпрыгивал, целоваться полез, а Сизов на вторую ступеньку как к позорному столбу вышел.

Один американский журналист сказал о чемпионах: «Они не возвращаются!» Пусть это верно для боксеров, но он, Юрий Сизов, должен вернуться! Если по движениям лучшие килограммы собрать, почти мировой рекорд получается, — только не удастся их в один вечер собрать. Пока не удастся... Но должно же когда-нибудь удаться. Да не когда-нибудь, сегодня! История повторяется: опять самое трудное у своих выиграть... Последний год Сизов тренировался как никогда, заставлял себя верить, но в самой глубине души знал, что его время прошло: «Они не возвращаются»... Но в этом глубинном неверии он не признавался даже самому себе.

А складывалось на спартакиаде для него хорошо: Валдманис, нынешний чемпион, вообще не приехал — травма плеча, и такая, что неизвестно, сможет ли когда-нибудь выступить; Рубашкин — у него сейчас рекорд в сумме — прикатил, но этот рекорды на мелких соревнованиях снимает, а когда настоящая борьба, выглядит бледно: воля не та. Опаснее всех Шахматов: и силен, и честолобив, но молод; молодой всегда сорваться может. Да и специальность у Шахматова для штангиста, несерьезная: на физическом факультете парень учится, и, говорят, учится всерьез, не просто числится, как

иные мастера из студентов. До сих пор Сизов о штангистах-физиках не слышал; альпинизмом физики занимаются, теннисом, водные лыжи любят — всё виды красивые, на интеллигентный вкус, но штанга?! Сизов был уверен, что всякие формулы, с которыми имеет дело Шахматов, должны как бы изнутри подтачивать его силу, и в решающий момент интеллигентская мягкотелость скажется непременно: спорт-то у них жестокий, один на один с железом, и никаких сантиментов.

Ионыч отложил веник и теперь осторожно разминал мышцы на спине. Сизову хотелось есть, но еще больше — пить: уже два дня он обедал без первого, а о компотах и чаях говорить нечего. Сгонку он никогда не любил, но последнее время она стала даваться особенно тяжело. Конечно, три кило не так уж много, есть ребята — и по шесть гоняют; но сгонка в двадцать пять лет — одно дело, а в тридцать три — совсем другое... А ведь наступит когда-нибудь спокойная жизнь: ни сгонки, ни тренировок шесть раз в неделю. Только, хоть убей, не мог Сизов представить себе эту проклятую спокойную жизнь! Он еще только по коридору идет — и вдруг из зала звон брошенной штанги. Да для него этот звон все равно что для другого песня жаворонка над родным полем! А запах растирок в раздевалке — никакое сено не сравнится! Да просто надеть штангистский пояс — широченный пояс, настоящий корсет, спрессованный из трех слоев самой толстой кожи, — уже удовольствие! А штангетки — за них все модельные туфли отдать не жалко, что иностранные, что скороходовские, — такая в них надежная опора под пяткой чувствуется!

Выбор спорта всегда чуть-чуть случайность. У Сизова врожденная координация была, так что ему разные виды легко давались — имел разряды и по прыжкам, и по волейболу, и по гимнастике. Ради Ионыча он штангу

выбрал: отца не было, на фронте погиб, так Ионыч вместо отца стал — школу бросить не дал, помог из одной хулиганской истории выпутаться. Так что будь Ионыч в свое время футболистом... Но совсем не стать спортсменом Сизову было невозможно. Потому что какой спорт ни возьми, суть везде одна: бороться и победить! А сколько Сизов себя помнил, всегда он рвался быть первым; когда его валили мальчишки на два-три года старше, он плакал от обиды и лез драться уже не по правилам, тогда его били, но ни разу он не бежал... Хотя совсем маленьким был, конец блокады помнил — уродливое синее тельце с огромной головой отразилось в зеркале; наверное, в этот момент и зародился будущий идеал и будущая страсть: стать сильнее всех...

Блокада кончилась, но еще в шесть лет у него был такой рахит, что доктора предсказывали инвалидность. Хотел бы он сейчас показаться тем докторам... Теперь, когда он слушает рассказы матери о своем детстве и с гордостью видит, каким он стал (а он имеет право гордиться, потому что вылепил себя сам), он все больше укрепляется в мысли, что человечеству тренеры нужнее, чем врачи. Если бы каждый человек регулярно тренировался, больным неоткуда было бы братья, из всей медицины остались бы акушерство и травматология. Сизов часто в шутку говорил, но про себя верил всерьез, что когда кто заболел, тот сам и виноват: грипп — плохо закаливался, желудком страдает, камни в печени — ест неправильно; сердце, гипертония — мало двигается, физически не работает; рак — от курения и неправильной жизни; ну и все вместе от нервов... В чем слабость врача — он делает человека пассивным: глотай таблетки и выздоровеешь, врач работает за больного, а тренер нет, тренер заставляет работать самого. Ну а что активность, работа всегда морально выше пассивности, безделья, — в это Сизов верил свято.

— Ну-ка давай, Юра, сбегай на весы.

Блаженная прохлада в предбаннике! Ионыч осторожно подвигал влево маленькую гирику. Ну, ползи же еще! Нет, остановилась.

— Триста грамм лишних. Да, хорошо бы взвешивание хоть у Рубашкина выиграть. Шахматов-то легкий. Давай назад.

— Обожди, Ионыч, посидим пять минут, отдышимся.

Дверь открылась, и в предбанник вошла еще одна пара: Шахматов со своим тренером Гриневичем. Кому повезло, так это Коле Гриневичу: едва начал работать, сразу такого ученика отхватил. Был в свое время чемпионом Москвы, а в Союзе выше третьего места не поднимался. На два года моложе Сизова, но уже бросил. Да и когда выступал, больше на учебу в инфизкульте нажимал. И пожалуйста, уже получил заслуженного за Шахматова, в федерации ценится, с Кораблевым, тренером сборной, лучшие друзья.

Тренерская работа — лотерейная. ПопадетсЯ талант — выиграл. Потому что из ничего никакой тренер чемпиона мира не сделает. До посредственного мастера можно любого парня довести, лишь бы старался, а дальше — талант.

Сизов Гриневичу не завидовал. Лучше быть заслуженным мастером, чем заслуженным тренером, он так считал. Потому и здоровался чуть снисходительно:

— Привет, Коля. Процветаете? Ногу больше не чешете?

У Гриневича была смешная привычка: возьмет вес, штанга еще над головой, а он обязательно левой ногой правую почешет. Тренеры его ругали, травмами грозили, а он свое. Публике этот трюк нравился. Артист!

Но и Гриневич смотрел на Сизова чуть-чуть свысока.

— Привет ветеранам. Чего сидишь без дела? На пуп медали дожидаясь?

Зато Шахматов здоровался с почтением, руку жал старательно:

— Здравствуйте, Юрий Сергеевич. Как форма?

Сизов поморщился: невоспитанный парень, хоть и интеллигент, — не понимает, что нужно обращаться на «ты» и по имени: раз вместе на помосте работают, значит, равны. Или нарочно возраст подчеркивает? А красивый, черт. От девчонок, небось отбою нет. И смотрит весело, победителем.

II

— Достойная смена пришла! — закричал с верхней полки Реваз. — Гармоничная личность, сочетание физического и духовного!

— Не издевайся, Реваз, — кротко попросил Шахматов, протягивая руку.

— Какие издевательства, о чем говоришь? Пашка Великин в «Совспорте» пишет, а я цитирую. Зря он не пишет, что ты типичный славянин. Как Добрыня Никитич на картинке... Слушай, ты не знал Спартака Мчелдзе?

— Где ему, — махнул рукой Гриневич. — Спартака я едва знал, а Володя тогда пешком под стол гулял.

— Конечно, где тебе Спартака знать. Похож ты на него чем-то.

— На Спартака или на славянина?

— На обоих.

— Насчет славянина точно, — подтвердил Гриневич. Тут мы с ним как-то в городскую баню пошли. Банщик как увидел, прямо заголосил: «Жив русский народ!»

— Знаешь, Коля, чем он на Спартака похож? Выражением лица. Тот тоже большой интеллигент был, ни-

какой грубости не терпел. Раз сидим с ним в ресторане, о килограммах говорим, о Бобби Гофмане. Вдруг пьяный с соседнего столика: «А-а, спортсмены! Знаю вас! Все вы шпана!» Спартак спокойный был человек, говорит: «Не надо волноваться, дорогой, замолчи». А морда у пьяного известная, киноартист! Жалко, фамилию забыл. И не унимается: «Хулиганы вы все, куски мяса!» Спартак спокойно так встал, подошел медленно, выдернул из-за стола, рукой за шиворот, другой за штаны, донес до выхода и такого пенделя дал — сквозь три двери летел. Сидим дальше, вдруг официант забежал: «Клиент... где клиент?» А Спартак: «Не шуми, золотой, нам в счет поставишь». Справедливый.

— И ничего? Все-таки артист.

— Чего артист? Спартак тогда сам — чемпион мира. Володе история про Спартака понравилась.

В детстве Володя силой не выделялся. Он рос типичным профессорским сынком: начитанным, не по возрасту ироничным и хилым. Во двор гулять не ходил: не то что он прямо боялся дворовых мальчишек, просто ему с ними не о чем было говорить; но где-то в глубине души и боялся тоже. Ходили к нему в гости такие же профессорские дети, и спортивный дух проявлялся только в гонках: кто больше прочитает. Лидировали попеременно то Володя, то Стасик Кравчинский, любимец мамы, потому что он изучал не один язык, как Володя, а два. Володя доказывал ей логически, что вся техническая литература на английском языке, поэтому тратить время на французский — роскошь, но мама плохо поддавалась логическим доводам, она мечтала, что сын будет читать в подлинниках классиков (она не решалась сказать вслух — Мопассана). И не было бы теперешнего Владимира Шахматова, международного мастера, если бы не Петька Колбасник.

Володя вообще очень ярко помнил детство, и Петька Колбасник до сих пор стоял как живой перед глазами: долговязый чернявый мальчишка с огромными нахально вывернутыми губами. Учились они тогда в шестом классе. Петька, впрочем, одолевал шестой класс со второй попытки.

Володя прекрасно помнил, что именно в тот день он впервые взялся за Плутарха. Звучало красиво: «Я принялся за Плутарха». Перед обедом он прочитал жизнеописание Цинны (другой бы начал с прославленных Цезаря или Помпея, но Володю заворожило загадочное имя Цинна) и, сунув книгу в портфель, пошел в школу во вторую смену. Володя был отличником, но не был зубрилой, поэтому на первом уроке он читал под партией про Цинну. Читал и представлял лицо Стасика Кравчинского, когда тот услышит, что Володя одолел Плутарха. Нет, Стасик вида не подаст, что проиграл очко, скажет снисходительно: «За древности я примусь как-нибудь в деревне на досуге. Сейчас я занимаюсь символистами. Что ты думаешь о влиянии Соловьева на Блока?» Где еще найдешь таких образованных шести-классников?..

На перемене подошел Петька Колбасник, уверенно, как свою, выдернул книгу из рук, прочитал почти по складам:

— Плут-арх... Плут, значит, по-нашему. Хорошее чтение для Профессора. — Володю с первого класса Профессором прозвали. — Читай, пока не ослеп, дело твое.

И он швырнул Плутарха на парту. Тяжелый том скользнул по крышке и шлепнулся на пол. Володя поднял молча, увидел порванную суперобложку.

— А я к тебе по делу, Профессор. Будешь мне следующий месяц завтрак приносить, — как ни в чем не бывало продолжал Петька, — твое дежурство. Я колбасу докторскую люблю (за это его Колбасником и

прозвали). — Смотри дома кулек не забудь, чтобы фотокарточку тебе не испортить. Я вашего племени пятерых одной рукой скручу, хилых интеллигентов.

Дети из хороших семей покорно носили ему завтраки, потому он и сказал: «твоя очередь». В том, что он облагал данью не одного какого-нибудь несчастного, но всех по очереди, было даже какое-то зачаточное сознание справедливости. Он действительно был силен для своих лет.

Сила силой, но ведь не всех Колбасник облагал! Валерка Толкотня ничуть не сильнее Володи был, но к нему Петька никогда не привязывался. У Валерки отец — моряк, и это его выделяло: Валерка с пеленок усвоил высокие понятия о чести, и если его задевали, бросался в драку, не считаясь с силами обидчика. А Володя боялся боли, боялся, что разобьют нос или глаз, и другие интеллигентские дети боялись боли, слишком высоко ценили свою физическую целостность, точно у них не носы, а хрустальные рюмки. Петькины данники рассуждали здраво: глупо драться, если тебя заведомо побьют, — и покорялись.

Володя тоже рассуждал всегда спокойно и здраво. Он понимал, что глупо бросаться в драку, точно зная, что больно побьют. Но он остро чувствовал унижение, которое его ожидает: таскать неучу бутерброды! Первый раз благоразумие столкнулось с гордостью. И он первый раз пожалел, что не может дать сдачи; первый раз понял, что бывают ситуации, когда весь его Плутарх — ничто против обыкновенного пошлого кулака. Дома у Шахматовых физическая сила не ценилась совершенно, даже наоборот — третировалась как нечто низменное, противоположное Духу. Отец, профессор математики, имел обыкновение, увидев бегающих по двору мальчишек: бормотать презрительно: «Футболисты растут». Отец забыл, что великий Бор как раз

был футболистом. Классным. Матери простительнее, она могла этого вовсе не знать. Она окончила текстильный институт, но никогда не работала.

Рассказать о Петькином ультиматуме родителям Володя не мог: отец пошел бы прямо в горно — он всегда ходил высоко; мать стала бы изобретать немыслимые бутерброды, только бы Петька был доволен и не трогал ее Володеньку. Всю ночь Володя ворочался. И странно: злился он не столько на Петьку, сколько на отца с матерью. Валерка Толкотня хвастался, что отец сам учил его драться и такие приемы показывал, что и восьмиклассник никакой не сунется... На другой день он пошел в школу без дани.

Петька подошел на первой же перемене. Володя хотел выскочить из класса и бежать не оглядываясь, но не мог пошевелиться. Да и к чему?

Вывернутые Петькины губы противно блестели.

— Выкладывай скорей, Профессор. Да смотри лежалую не суй.

Володе хотелось крикнуть Петьке в лицо что-нибудь злое и веселое, но он только выдавил с трудом, виновато отвернувшись:

— Не буду я носить.

Петька даже как будто огорчился:

— Ну тогда придется поучить.

Он не спеша, уверенно схватил Володю за волосы, пригнул вниз и стукнул лицом о крышку парты. Не очень сильно стукнул. Он унижал, а не причинял боль.

Многие еще были в классе, но Володя знал, что никто не подойдет: один на один, все по закону.

— Будешь носить? Будешь?

И с каждым «будешь» Володя ударялся носом о тетрадь по русскому языку.

Володя сам не ожидал, что ударит Петьку ногой. Он ведь с самого начала понимал, что сопротивляться бес-

полезно и опасно. Но ярость, какой он не подозревал в себе, точно взорвалась в голове, затуманила мысли, и он ударил Петьку ногой, не соображая, что делает. Это было как припадок — припадок страха и ненависти. Володя не видел ничего вокруг, не чувствовал боли, он бил, бил, бил — бил руками, ногами, головой; большинство ударов приходилось в парту, но иногда он чувствовал под кулаком костлявое Петькино тело, и каждый такой миг был мигom наслаждения. Сколько-то времени они колотили друг друга, потом Петька отскочил, Володя бросился за ним, споткнулся о чей-то портфель, упал, вскочил, снова бросился.

— Держите, — кричал Петька, — держите, он псих!

Вечером мама была в истерике, хотела раздеть его догола, чтобы осмотреть («на нем живого места нет!»), но он уже стыдился перед матерью своей наготы, а она и не заметила, что сын вырос.

На другой день Володя купил гантели — свои деньги у него с первого класса водились, так что спрашивать разрешения ни у кого не пришлось. Он размахивал гантелями с такой страстью, с какой до сих пор учил английский. Тело его оказалось восприимчивым к нагрузкам, оно жадно впитывало работу, как пересохшая глина — воду.

Через год он мог поколотить Петьку Колбасника одной рукой, но это уже не казалось заманчивым. Втайне он уже мечтал о рекордах, и о том, как девочки будут на него на пляже оглядываться.

В секцию он попал в седьмом классе. Увидел в окне объявление и зашел. Был уверен, что выгонят: где-то читал, что штангой раньше шестнадцати лет не разрешают заниматься. Не выгнали. И не в том дело, что успел за год мускулы накачать, — просто Кузьма Митрофанович брал всех, даже самых тощих мальчишек. Ребята звали его дядей Кузей.

В наш век специализации спорта второй такой секции, как у дяди Кузи, наверное, и не найти: занимались рядом мальчишки, из которых неизвестно выйдет ли толк, и мастера, в том числе два чемпиона Москвы; мужчины за сорок, которые уже бросили выступать, но не могли не таскать железо, и молодые люди, которые никогда не выступали и разрядов не делали, — просто для здоровья подымали свои восемьдесят—девяносто кило. Дядя Кузя был рад всем, а что касается здоровья — считал, что штанга полезна во всех возрастах и при всех болезнях. И его многолетняя практика как будто это подтверждала. Под крылом дяди Кузи все жили дружно, чемпионы не третировали культуристов, постоянно стоял веселый треп, подначивали друг друга, спорили, кто что поднимет (единицей выигрыша почему-то было мыло, и раз Коля Гриневич за три куса «Красной Москвы» снял мировой рекорд). Сам дядя Кузя не был похож на того тренера, какого показывают в кино и по телевизору, — отутюженного брюнета с проседью, волевого, динамичного и почему-то с неопределенной грустью в глазах. Массивный дядя Кузя большую часть времени просиживал в углу на скрипучем стуле, не писал для своих ребят громоздких планов, не прокручивал кинограмм; иногда вдруг встанет, пройдет: «Плечи больше вперед, таз отводи», возьмет гимнастическую палку и, не снимая бесформенного пиджака, покажет движение; а то спросит: «Сколько подходов сделал? Ну еще три, и хватит. Хватит, говорю, я лучше тебя знаю!» И при такой внешней небрежности появлялись своим чередом новые мастера, а Колю Гриневича даже приглашали в сборную.

Володя двигался быстро. В пятнадцать лет у него был третий взрослый разряд — в штанге это не мало. Через год — второй. Он гордился собой. Маленький зал дяди Кузи помещался в полуподвале Дома культуры —

штангисты почти всегда в подвалах занимаются: никакое перекрытие не выдержит, если на него будет постоянно пудов по десять валиться. Наверху часто устраивали вечера, и тогда у входа Володю встречали молодые люди в черных костюмах с повязками на рукавах. Молодые люди интересовались его билетом, Володя взмахивал спортивной сумкой, говорил: «На тренировку» — и презрительно шел сквозь шум джаза и винный дух в свой родной подвал. Он с первого дня стал фанатиком режима: не курил, не пил ни капли, и в этом тоже была его гордость, его избранность.

А мама ужасалась. Она скрывала увлечение сына от знакомых, как позорную болезнь: сын профессора Шахматова поднимает гири! Отец иронизировал:

— Любопытно, о чем ты беседуешь со своими атлетическими коллегами? Ведь бывают у вас перерывы между, как бы это выразиться... поднятиями. Надо же тогда какими-то мыслями обменяться.

Отец был свято уверен, что только вкусы его круга почтенны, только темы, у них принятые, интересны. А Володя принимал все: с одинаковым увлечением он обсуждал только что вышедший роман Фолкнера и смену тренера в «Торпедо».

У них в подвале все время орало радио. И только когда начинали играть серьезную музыку, дядя Кузя говорил:

— Выключи ты этого Бетховена.

Будь на месте Володи Стасик Кравчинский, он бы уточнил вежливо: «Вы имеете в виду Шопена, экспромт номер три соль бемоль мажор?» И это «соль бемоль» прозвучало бы хуже матерного слова.

Володя достаточно насмотрелся на молодых людей, щеголяющих эрудицией перед старушками в трамвае. Сам он любил и Шопена, и Бетховена, и дядю Кузю, который не выносил первых двух. У каждого человека

есть сильные стороны, ими он и интересен: нужно быть полным идиотом, чтобы беседовать с дядей Кузей о модернизме, а со Стасиком о спорте.

Кстати, сильная сторона Стасика его начинала раздражать. Стасик хоть и добрался уже до древних, но любовью его остались символисты:

Идем творить обряд. Не в сладкой детской дрожи,
Но с ужасом в зрачках — извивы губ сливать,
И стынуть, чуть дыша, на нежеланном ложе,
И ждать, что страсть придет, незваная, как тать...

Стасик восторгался. Ему нравилась болезненность. Он, кажется, искренне верил, что жизнь — мука для чувствительной души. Из фильмов он признавал только томительно-скучные, вроде «Затмения»: «Ах, Антониони!» Володя культа неврастении не выносил, и если попадалась книга, где автор ныл, что родиться на свет — всегда несчастье, — бросал сразу. Надо писать, как люди калечат жизнь друг другу, но когда для писателя и поцелуй любимой — мучение, и восход солнца — боль, лучше бы ему доживать в тихом и уютном сумасшедшем доме. Может быть, это неизбежный путь: начинается снобистским презрением ко всему яркому, грубому, телесному, стремлением уйти в чистые сферы духа, а кончается духовной импотенцией, да и физической, как Володя подозревал, тоже.

Успокоились за его будущность родители, когда он поступил в университет на физфак. Ребята в секции заужавали страшно; Володя раз случайно подслушал, как всерьез рассказывали, что ему диплом за кандидатскую зачтут, а в двадцать пять лет он доктором и членкором станет. Ерунда, конечно, — кто хочет в двадцать пять лет доктором стать, не должен пять раз в неделю по четыре часа тренироваться; без хвостов учится, и то спасибо, а вот кем станет — еще вопрос. Спорт легко не

отпускает. Майоровы МАИ закончили, но работают тренерами, а не инженерами.

Правда, иногда Володе казалось, что в нем дремлет настоящий теоретик — не меньше Гейзенберга или Дирака — и стоит ему взяться за науку с той страстью, какой научил спорт, он откроет ту самую систему элементарных частиц, без которой уже начинает буксовать физика. Но он откладывал штурм микромира на потом, ему даже думалось, что есть скрытая связь между штангой и превращениями мезонов и, замахиваясь на рекорды, он непостижимым образом одновременно срывает покрывы с тайн природы. Ведь открытие — вопрос характера тоже, а рекорд — на сто процентов характер.

Коля Гриневич закончил инфизкульт. Ему дали маленький зал при торговом центре (не в подвале!), и он стал набирать группу. С Володей еще перед защитой разговор завел:

— Знаешь, старик, переходи-ка ты ко мне. Дядя Кузя себя исчерпал. Тебе научная методика нужна, сразу килограмм двадцать по движениям прибавишь. Он же в современных нагрузках не смыслит, поднимает по настроению. Я по себе скажу: почему в люди не вышел? Потому что дяде Кузе выше головы не прыгнуть. Никуда не денешься: семь классов, восьмой — коридор. У меня настоящий порядок будет: взрослые отдельно, пацаны отдельно, культуристов вон!

Что Гриневич полная противоположность дяде Кузе, было известно давно. Уж он-то составит план до мелочей, все подходы распишет. Гриневич еще учился, когда в недрах дяди Кузина подвала сколотилась как бы подпольная группа: многие начали тренироваться по планам Гриневича, заглядывали тайком в тетрадки. Дядя Кузя все замечал, и наконец они разругались, Гриневич в глаза обозвал дядю Кузю ретроградом и ушел.

хлопнув дверь. Впрочем, он уже знал, что ему есть куда уйти: подоспел диплом, свой зал в торговом центре, и группа Гриневича легализовалась. В подвале дяди Кузи стало просторнее.

Володе трудно было решиться. Дядю Кузю он любил, да и тренер он хороший, технику знает досконально, куда там Гриневичу. Но ведь и правда: ни одного чемпиона страны дядя Кузя не сделал, не говоря уже о Европе и мире. Может быть, потому и не сделал, что на грузок боится? Володя и до разговора с Гриневичем несколько раз пытался увеличить нагрузки, но дядя Кузя не давал.

Решающий разговор состоялся, когда Володя с юниорского первенства с десятым местом вернулся.

— Стыдно мне, понимаешь, стыдно! (Дядя Кузя не чинился: кто старше шестнадцати, все с ним на «ты».) Такие же ребята, как я, международника делают! Потому что за год в три раза больше поднимают, на предельных весах работают.

— Пусть. Зато и сломаются рано.

— Раньше так все говорили, а теперь в какой вид ни посмотри — помолодел. Время такое. Сейчас все быстрее созревает, наука доказала: акселерация!

— Ты разными словами не бросайся. Мало, что ли, я таких видел: в двадцать международник, в двадцать два — нуль. Все равно как почву можно свести: сегодня рекорд из нее выжать, а завтра ветром выдуло. На результат ребятешек натаскивают, и всё. Тебе еще года три спокойно поработать, чтобы фундамент как скала был, а потом на результаты пойдешь.

— За три года знаешь куда уйдут! В твоё время рекорды по десять лет стояли, а сейчас зазевался, и привет. Поезд ушел.

С Гриневичем работа сразу пошла другая. Дядя Кузя обиделся, едва здороваётся, и зря. Володя ему

по гроб жизни благодарен. Но что поделаешь, если дядя Кузя чему мог — всему уже научил. Результаты сами за себя говорят: Кораблев, тренер сборной, по плечу хлопает. Еще бы не хлопать, когда сегодня Володя основной претендент. И все наука: вовремя форсировать тренировки, вовремя сбросить интенсивность, вовремя протеин глотать.

Валдманис на спартакиаду не приехал: плечо потянул или даже порвал, неизвестно, когда на помост вернется. Конечно, без Валдманиса выиграть легче, но и победа будет неполная, всегда могут сказать: «Вот если б Валдманис выступал, уж он бы...» А Володя чувствовал, что в такой форме, как сейчас, он бы и Валдманиса побил. Так что лучше бы он приехал. А так у остальных выиграть, и все-таки будет не первым номером, а полуторным.

Из тех, кто приехал, Рубашкин котируется. В чемпионы рвется, это точно. Зато и разыгрывали его на сборах. У Кораблева язва, он викасол принимает. Рубашкин увидел и спрашивает: что за таблетки? Ну кто-то и скажи: от них сила в три раза растет! Рубашкин без лишних расспросов в аптеку бросился, потом еле уговорили не глотать, говорил: боитесь, что сильнее всех стану, завидуете! Володя с ним только что здороваётся. Честно говоря, вообще легче дружить с ребятами из других весов, но все-таки приятно с соперником держаться по-приятельски, а Рубашкин, как встретились первый раз, отрезал:

— На фиг ты мне нужен. Только потерек дороги стоишь.

А через пять минут подкатился как ни в чем не бывало:

— Слушай, ты на предельные веса часто ходишь или, как Вася, с малыми работаешь?

И улыбка гаденькая...

Коля Гриневич хлопнул последний раз по спине, и Володя встал. Он любил легкую сгонку. Такое после нее ощущение — хоть грузовик поднимай! Володя потянулся было к ручке двери, но дверь открылась сама — вернулся Сизов. Володя сентиментальной жалостью к соперникам не страдал, а тут пожалел: мучается старик. Только подумать: еще три года назад царь и бог был.

III

Теперь на верхней полке страдал Сизов, а Реваз лежал внизу — отдыхал. Оба думали о Шахматове: молодой и легкий Шахматов сейчас в холодке книжку по физике читает.

Открылась дверь, и показался Рубашкин. Его сразу можно было узнать по фигуре; мускулы не лежали широкими пластами, как у других штангистов, а перевивались жгутами, так что он был похож на ствол саксаула.

— Те же и рекордсмен! — закричал Реваз. — Подпольная кличка Интеллект.

— Привет всем, — с важностью сказал Рубашкин.

Вслед за ним в баню проскользнула уродливо тощая личность с венником.

— Как дела, Интеллект? Все к Зойке ходишь?

— Подумаешь, Зойка. У меня в комнате две недели киноактриса жила, пока у нее натура снималась. В Киев звала.

— Врешь ты, Интеллект. Нужен ты актрисе.

Рубашкин действительно соврал, потому особенно обиделся:

— Зачем мне врать? У меня таких знаешь!.. «Не нужен...» Еще как нужен, если женщина понимающая! Вот и Лёсик скажет.

Тощая личность начала кивать головой и кланяться.

— Жила, еще как жила, товарищ хороший, не знаю, как называть. Весь город скажет.

— Что за холуй с тобой? — удивился Реваз.

— Да это ж Лёсик... — и не стал пояснять, мол, и так все ясно.

Рубашкин любил, когда ему услуживали, а главное, когда его уважали. Рекордами многие восхищаются, а вот уважать по-настоящему... Лёсик уважал: полностью выговаривал красивое имя Рубашкина: «Персей Григорьич». И не улыбался ехидно, как некоторые. И в Москву за свои деньги приехал. А про актрису Лёсик без всякой подковырки подтвердил, хихикать потом не будет: раз Персей Григорьич говорит, значит, полная правда.

Рубашкину обидно было признаться, что у него, кроме Зойки, нет никого. Как-то раз он зашел на вечер в медучилище. Было скучно, хотел уходить, вдруг разговор слышит:

— Зойка-то! Сама чумичка, а платье — застрелись.

— А что ей не застрелись? Массажиха! Спину пошкрябает, враз три рубля.

Рубашкин тотчас протиснулся к Зойке: он недавно слышал от умного человека, что массаж силу дает.

Зойка была некрасивая: широколицая да рябая — и это облегчило дело. Первый же раз, когда пришел к ней, попросил:

— Слышь, я после тренировки как каменный. Разомни, а?

Она, дурочка, обрадовалась, что еще чем-то услужить может. Конечно, он себя ронял, что с такой уродиной связался, но зато массаж на пользу шел, и про заработки ее тоже правду сказали: когда перед авансом деньги кончатся — Рубашкин загуливал после полочки, так что обязательно кончались, если не на сборах жил, — она и накормит, и маленькую поставит, а

отдавать не надо. Ленке-боцману, что в загранку ходит, специально заказала, он тренировочный костюмчик привез — ребята от зависти корчатся: вишневый, по лампасам три белые полосы и вдоль рукавов тоже — АДИДАС! Так что рожа ее страшная окупается, так на так выходит. Конечно, выиграет он через год Олимпийские, и тогда Зойку прогонит: чемпиону она не пара. Переедет Рубашкин в Москву или Киев — где лучше условия предложат — и женится на гимнастке из сборной. Пусть в газетах фотографию напечатают: он в черном костюме, а она первая красавица (в сборную одних красавиц берут), вся в белом платье и сторублевый букет в руках.

Она с букетом, а он с электрогитарой, чтобы знали: Рубашкин не только в подъемные краны годится. Рубашкин немного пел; голос не ахти, он и сам знал, да сейчас и на эстраде половина певцов безголосые. А он сам иногда песенки сочиняет. Про штангу — многим ребятам понравилась, слова просили списать:

Блины у нас горячие
По двадцать килограмм...

Даже на вечере выступил. Многие не поняли, что блины — это которые на штангу надеваются, подумали, рекордсмены столько едят.

Рубашкин числился сварщиком на судостроительном заводе, поэтому журналисты называли его корабелом. «Богатырские рекорды корабела» — красивый заголовок.

Родился-то он под Омском. Дед из-под Курска переселился; полиция им интересовалась, так он заодно и фамилию новую взял — по дороге у цыгана выменял; рассказывают, подковы гнул. И вся их порода в деда — крепкая. Сам Рубашкин в праздники даже старших ре-

бят бил. Пятнадцать лет было, отец семью в город перевез. Там и про спорт узнал: чем ради синяков драться, можно боксом, и будет тебе вместо милиции почет и уважение. Но не пошел бокс: пьяным на ринг не выйдешь, а трезвому страшно, когда мимо уха кулаки, как камни, свистят. Изобьют за почет хуже, чем в деревенской драке. Как нос сломали, сразу бросил. Тут тренер по штанге и сманил. В штанге без нокаутов. Тоже, правда, травмы бывают... Школу он бросил. После шестого класса. Ни к чему. Профессор из него не выйдет, зачем же стараться. Бросил и не жалеет. Спорт теперь лучше института человека поднимает.

С дипломом одно лучше: получил и загорай. А в чемпионах не позагораешь: того и гляди догонит желторотый какой-нибудь. Догонит и отпихнет. Каждый пытается дорогу перебежать, каждый норовит в чемпионы! Ну чего Шахматов лезет? Разве его это дело? Стал бы, как папа, профессором. Хорошо, хоть Валдманис кончился. Год точно выступать не будет, а может, и вообще завяжет. Валдманис — парень не подарок: здороваётся вежливо, а глядит так, словно ты перед ним тля, словно он одной левой выиграет. И выигрывал. Уверенностью брал. Рубашкин от одного его вида килограмм по десять недобирал.

Только что по пути в баню в коридоре встретился Сиганов, земляк. Сиганов — судья, сегодня вечером старшим тройки сидеть будет. Вообще-то он тренер, но судьей ездит.

Да, сегодня золото обеспечено: Валдманиса нет, судья надежный. Вот только гнать много приходится. Рубашкин со злобой посмотрел на Сизова и Реваза: ишь, мясá отрастили, таким сгонять что в пинг-понг играть! Тело Рубашкина было жесткое, крестьянское, лишнего мяса не было — с костей гнал!

— Ну чего колотишь! — напустился на Лёсика. — Ты маши, маши, чтоб обдуло жаром. Пот и пойдет.

Других тренеры парят, а Рубашкина Лёсик. Обидно. С Сизовым и то тренер возится. А что тренеру в Сизове? Все, что мог, Сизов уже дал, а нет, парит, старается. А Рубашкина Кавун на Лёсика бросил. Рубашкин сегодня спартакиаду выиграет, потом чемпионом мира будет, олимпийским — вот где счастье тренеру: звания, поездки, а он не хочет веником помахать. Другой бы на Рубашкина молился, пыль сдувал, ботинки чистил! Ничего, вот выиграет и сразу в Киев или в Москву. И пошел Кавун к бесу.

Рубашкин давно понял, что Кавун его не любит. Из Омска ради одной своей корысти уговаривал. Иначе зачем насмешки устраивать? Подойдет кто-нибудь из молокососов в зале и спросит: «А как Персей Андромаху спас?» А Кавун смеется. Вот бы почувствовать, что любит тебя кто-то, только чтоб настоящий человек, не такой, как Лёсик, — совсем бы другая жизнь! А тут когда не насмешки, тогда воспитание. Кавун новое дело придумал: сборы устроил, кустарные, от завода. Повара нет, готовить по очереди. Пусть перворазрядники кухарят, а он международный мастер! Вся политика — чтоб перед мальчишками унизить. Те и рады. Батькой Кавуна зовут. Дурак ваш Батька, нашел чем прельстить: сборы от завода.

Рубашкин потянулся, сел.

— Ладно, Лёсик, отдохни.

Сизов лежал на нижней полке, отдувался. Рубашкину захотелось поговорить по-человечески: все равно ведь этот не соперник. Он уселся рядом с Сизовым, сказал по-дружески откровенно:

— Дурак ты, что не завязываешь. Куда тебе за нами. Я б на твоём месте...

— А я б на твоём месте на мать обиделся: зачем дураком родила.

— Ну ты, не очень! Я тоже могу!

— Что ты можешь? Трус ты! — Сизов встал. — Я тебе по роже дам, а ты утрешься!

— Видали таких! Помост покажет!

Сизов повернулся и пошел к двери.

Рубашкину было обидно: ведь он с хорошим чувством подошел, посочувствовать хотел. Вот всегда так.

— Раскричался старик. Что я, неправду сказал? Подумаешь, заслуженный мастер!

— Сизов парень ушлый, — отозвался Реваз. — Он тебя еще надерет, дорогой.

— Будем посмотреть, как братья Ильфы писали, — сплюнул Рубашкин и победительно посмотрел на Ревазу.

IV

Лена не любила смотреть штангистов, самый спорт этот не любила, но Юра очень просил приехать, и она приехала. На работе отнеслись с пониманием: муж заслуженный мастер, как не пойти навстречу!

Быть женой Сизова — совсем особое положение. Сослуживцы и просто знакомые не решаются даже мимолетно ухаживать: еще бы, куда им против НЕГО! Подруги смотрят с завистью: настоящего мужчину отхватила! А не так уж много радости с этим настоящим мужчиной: столько времени на сборах пропадает. Все равно что с моряком жить.

Лена, когда выходила за Сизова, не думала, что он станет чемпионом. Нравилось, что сильный парень. Ну ходит куда-то в секцию, разряд какой-то имеет — и прекрасно, лучше, чем водку пить. А потом пошло: поездки, первые медали. Сначала тоже радовалась. Но

сколько можно? Уже и чемпионом мира был, пора бы остепениться!

Беда в том, что не может Юра остепениться. Страшно ему штангу бросить, потому что ничего другого он в жизни знать не хочет. Сам-то он до сих пор о новых медалях поговорить любит, но Лена не верила: то ли ее обманывает, то ли себя. С Ионычем вдвоем навалились, еле заставили в физкультурный поступить, и то на заочное. Теперь по вечерам после работы физиологию зубрит, ругается: «Все равно в нашем деле ни один профессор против меня не рубит». Книги про устройство человека он и раньше почитывал, интересовался, но ведь от бессистемного чтения толку мало! Лена признавала только систему. Ну, теперь вроде налаживается. Если не бросит. Он ведь такой: иногда упрется, и ни в какую — программа, скажет, неинтересно составлена, не хочу ради бумажки, Кулибин, скажет, диплома не имел. Как ребенок! Конечно, экс-чемпиону совсем пропасть не дадут, директором какого-нибудь стадиончика сделают. Но разве об этом она для него мечтала?!

Лена приехала с утра, но даже не подумала разыскивать Юру на базе, где жила команда: там на жен смотрят косо, по опыту знала. Пошла по магазинам да так завертелась, что едва успела к началу.

Для штангистов новый зал построили, трибуны на несколько тысяч. Перед входом билеты спрашивали. Скольким людям, оказывается, необходимо посмотреть, как будут железо над головой поднимать. Значит, Юра все-таки нужным делом занят? Публика, правда, специфическая, от театральной толпы отличается: много широких плечей, толстых рук, больших животов. Женщины редки.

И другое есть отличие: какая-то особенная наэлектризованность в толпе. Ожидание. Перед началом

спектакля такого не бывает. Наверное, потому, что в театре все известно заранее: кто кого полюбит, кто над кем посмеется, — все автор расписал, а что в этом зале через час произойдет, никто не знает. Актер выйдет не в форме — все равно его герою пропасть не дадут, а сегодня здесь те, кто будет бороться за победу, выложат свое вдохновение до конца, иначе провал. Вот и собираются тысячи людей — увидеть, на что способен человек на пределе вдохновения.

Лена почувствовала, что неожиданно для себя начинает волноваться.

Стараясь не наступать на ноги, она протиснулась на свое место, огляделась. Слева от нее оказалась парочка. Он очень серьезно втолковывал:

— Три разных упражнения, понимаешь?

— А в каком над головой поднимать?

— Во всех, но правила...

— Какая же разница, если всегда над головой?

Лена постаралась не слушать: не выносила этого капризного тона.

Сосед справа при появлении Лены оживился — он был один. Одет со вкусом, тонкое лицо, проседь. Какие-то неуловимые признаки выдавали в нем спортсмена; даже вид спорта можно было угадать: из тех, где приходится долгие километры терпеть, — лыжи, велосипед, длинный бег.

— Вы, девушка, пришли на Геркулесов посмотреть?

Лена чуть наклонилась к элегантному соседу и сказала очень тихо и раздельно:

— Я обойдусь без объяснений и комментариев. И я давно не девушка, а мой муж расправляется со всеми, кто ко мне пристаёт.

— О, извините, вы пришли одна, и я подумал...

— Муж занят там, — она кивнула на не освещенный еще помост.

— Тогда еще раз буду нескромен: как его фамилия?

— Он тренер, — соврала Лена: не хотела, чтобы у соседа потом появился повод для сочувствий.

На ряд выше расположилась целая компания; молодые люди громко переговаривались. Слишком громко. Лене казалось, что они нарочно повышают голос, чтобы окружающие оценили их осведомленность:

— Рубашкину не светит: у него ноги слабые. Низко сел, и все.

— У кого слабые?! У него одна как три твоих!

— Я тебе говорю, слабые. И спина...

Включились разом прожекторы, загремел бравурный марш. Показались атлеты. Они шли друг за другом — в ярких трико, красных или синих, перетянутые широкими цветными поясами — они шли, отставляя руки, потому что неправдоподобные мускулы не давали рукам висеть свободно вдоль туловища.

Молодые люди сверху закричали:

— Володя, дави!

Парад раздражал Лену: ведь это не просто сильные ребята вышли — сильных на любом пляже полно, — нет, это шли влюбленные, влюбленные в свой спорт. За каждым громадным бицепсом, за каждой мощной шейей годы и годы преданного служения Мускулу!

И только приглядевшись, видишь, как нелегко дается такое великолепие: у кого бинт на колене, кто эластический чулок на ногу натянул. Молодые ребята щеголяя обнаженными телами, те, кто поопытней, поддели фуфайки под трико.

Последний шагал Юра — меньше всех ростом в своем весе. У Лены нос защипало от нежности и жалости: оба колена замотаны, предплечье замотано. Под трико синяя фуфайка, как всегда: тепло сберегает. Сберегать тепло у Юры почти мания. Почему-то боль-

шие мускулы имеют свойство застуживаться, и Юра даже летом в шерстяной рубашке ходит, а спит всегда в теплом белье. Когда-то Лена любила гладить его удивительно шелковистую кожу, но давно уже во время объятий чувствует под ладонями только немецкое теплое белье.

Диктор, нет, не просто диктор, судья-информатор, знаменитый Аптекарь — он на всех чемпионатах объясняет зрителям происходящее своим характерным высоким голосом, — представил атлетов с полным перечислением титулов. Потом представил судейскую тройку и, наконец, дошел до апелляционного жюри. Вот кто больше всех Лене нравился!

За длинным столом позади помоста сидели культурного вида люди, пожилые, с нормальными плечами, два профессора среди них, а в центре знаменитый Громов, Герой Советского Союза (вот человек: когда-то чемпионом по штанге был, а потом настоящей работой прославился, Юре бы так!).

Снова зазвучал громкий марш, атлеты вернулись за кулисы, судьи уселись вокруг помоста, помигали красными и белыми лампочками — проверили аппаратуру, ассистенты развинтили новенькую штангу, сняли с нее лишние блины, и вот уже первый участник выходит.

Начинают всегда самые слабые. Эти Лену не интересовали. Она равнодушно смотрела, как первый с трудом взвалил штангу на грудь. Было видно, что ему тяжело: покраснел страшно, потом покрылся. Судья хлопнул в ладоши, атлет медленно с натугой выжал штангу, дождался судейской отмашки и с облегчением бросил. Поднял-таки, молодец! Но зажглись почему-то три красные лампочки: не засчитали судьи, почему, Лена не поняла. Кто-то свистнул.

— Ногами поддал, — сказал знаток сверху.

— А кто не поддает? — возразил другой.

— Умеючи надо, чтоб судьи не видели.

Потом выходили другие, кто поднимал, кто бросал. Лена смотрела невнимательно, не различала лиц, так что даже не поняла, взял все-таки тот первый свой вес или остался с нулем, «забаранил», как Юра говорит.

Но вот Аптекарь объявил знакомую фамилию: «Шахматов», — Юра его упоминал. Значит конкурент, значит надо, чтобы не поднял. Вышел писанный красавец. Компания сверху закричала:

— Володя, дави всех!

Шахматов поднял легко и красиво — никакой натуги, никакого пота.

— Как палку, — сказали сверху.

Добавили маленькие диски и объявили еще одну знакомую фамилию: «Рубашкин». Тоже легко выжал, но куда до Шахматова — тот греческий бог, а этот леший какой-то. И наконец вышел Юра, самый маленький сегодн. Но зато и плечи самые широкие!

Юра вышел медленно. Долго натирал ладони магнизией, топтался в ящике с канифолью. Страшно, наверное, к такой громадине подходить!

Наконец над самой штангой остановился, постоял (о чем он думает? О своей Лене? О дочке? О медалях?), наклонился над штангой, присел — и рраз! — неуловимым движением вздернул громадину на грудь. Но ведь он на корточках сидит! Просто так и то с корточек встать трудно, а тут десять пудов на груди! Посидел секунду и начал выпрямляться. Бугры вздулись на бедрах — больно же! — и вот Юра уже стоит прямо. Штанга чуть прогибается, и нагруженные концы ее ритмично покачиваются — вверх-вниз, вверх-вниз... Судья высоко поднял ладони, выдержал паузу и хлопнул. Юра отклонился назад, и штанга полезла вверх. Вверх! Скорее бы!

Есть!! Судья махнул, Юра аккуратно, без звона поставил штангу на место, слегка поклонился и пошел.

Лена вдруг почувствовала такую слабость и усталость, точно это она только что десять пудов подняла.

Зажглись две белые лампочки и одна красная. Почему?! Раз две белые, все равно засчитали, но обидно: за что красная?

У

В большом разминочном зале стоял звон. Ребята разогревались: поднимали небольшие веса и небрежно бросали штанги с вытянутых рук — на соревнованиях полагается опускать аккуратно, ну а здесь можно силы поберечь. Обычно разминочные штанги бывают старые, разбитые, со сборными блинами, но эти, новенькие, как и все во дворце, сияли красными необлупленными плоскостями. Согревшись, атлеты надевали теплые халаты или натягивали шерстяные костюмы, прогуливались между помостами в ожидании вызова. Среди синих костюмов выделялся Рубашкин — весь малиновый, с тройным золотым лампасом. Вдоль стены стояли раскладушки — некоторые между подходами любят полежать.

Кроме участников и тренеров, как всегда, масса лишней публики: знакомые, ветераны, вовсе неизвестные лица. Сквозь толпу уверенно двигался корреспондент «Советского спорта» Великин. Тренеры и ребята со стажем помнили его еще действующим мастером и звали попросту Пашкой. Великин был очень маленького роста, толстый, но не из тех быстрых маленьких толстяков, которые перекатываются, как шарики ртути. Он двигался солидно, и если бы его заснять в кино без масштаба, мог бы сойти за тяжеловеса.

Сизов отдыхал после подхода. Великин подсел.

— Ну что, старик, как сила?

— Да так себе.

Это означало, что сила есть. Редкий штангист скажет во время соревнований: «Силы много, чувствую себя отлично!» — суеверие не позволяет.

— Сделай ты их всех! Я за тебя болею. Я всегда за стариков. Молодые еще успеют.

— Жалеешь, что рано завязал?

— Чего мне жалеть. Все, что можно, я от штанги взял. Это ты для славы стараешься, а я от обиды на природу. Будь во мне сто семьдесят пять росту, близко бы к железке проклятой не подошел!..

(Великин с трудом натягивал сто пятьдесят один сантиметр, причем придавал большое значение последнему сантиметру: «Все-таки больше полутора метров!»)

— Вы своего счастья не понимаете. А силы мне теперь на всю жизнь хватит.

Неожиданно быстро он скинул пиджак, подбежал к штанге, схватил восемьдесят килограммов на грудь... и вдруг опустил руки, и штанга, балансируя, осталась лежать на выпяченной вперед груди. Свободными руками Великин сам себе дал хлопок, подхватил штангу и выжал.

— Видал? Спартаковский жим!

Надел пиджак и снова стал степенным, даже чуть брюзгливым.

— Думаешь, это для цирка придумано? Тут все дело в хлопке. Я знал ребят, которые без хлопка вообще жать не могли. Никак им было без хлопка не собраться. А чуть хлопок, руки сами стреляют, помимо воли. Такому за обедом хлопни, он стол подымет. Тут и жизненная философия, правда? Иногда и на работе и везде хочется, чтобы тебе вовремя хлопок дали.

Сизов кивнул равнодушно. Он не хотел думать о постороннем. Он видел, что Шахматов встал с раскла-

душки и стягивает костюм: к подходу готовится. За Шахматовым сразу ему подходить. А большой вес не подыметь мимоходом, рассуждая о постороннем.

Перед подходом полезно шнуровку на штангетках проверить. По крайней мере, у Сизова такая привычка была. Подтягивал шнурки, а сам смотрел на мизинец правой руки: последняя фаланга вся в мелких шрамах, раздвоенный ноготь растет — еще бы, одиннадцать швов наложили когда-то! В такси дверью прищемил. А ехал с девочкой, хорошая была девочка, медсестра. Вот когда собраться пришлось! Сизов всю жизнь крови боялся, вида шприца не переносил. Врачи всегда смеялись: «Такой здоровяк...» — а тут надо было марку держать, потому что жестокая была эта хорошая девочка: все прощала — то, что женат, то, что уедет скоро, но слабости бы не простила. Отвезла к себе в поликлинику и зашила сама. Без новокаина шила, сказала, кончился стерильный, а он разглядывал палец, смеялся, анекдоты рассказывал. А она последний шов завязала, поцеловала палец и говорит: «Ну вот, на всю жизнь я на тебе расписалась». Только когда один остался, вспомнил иголки полукруглые — и в обморок.

Подошел Ионыч — он смотрел жим Шахматова:

— Как палку.

Великин сделал знак: мол, не надо при Юре, запугаешь, Ионыч отмахнулся:

— Юра не из таких. Злее будет.

Сизов встал, стянул тренировочную куртку. Хорошо Шахматову как палку жать: ему на пять кило меньше заказано. Нужно было обязательно оторваться от Шахматова в жиме: тот слишком силен в рывке. В динамике слышался голос Аптекаря:

«Юрий Сизов, второй подход».

Сизов прошелся вдоль раскладушек. Он еще не чувствовал того настроения, с каким надо идти на штангу.

Ему предстояло поднять вес, который он и не пытался одолеть на тренировке. Публика возбуждала его, на соревнованиях он каждый раз совершал невозможное.

«Сейчас они узнают, — повторял он про себя, — сейчас они узнают, как Сизова списывать! Сейчас узнают!»

Он повторял два слова, как заклинание, и в нем поднималась злость, та злость, которая отодвигает слабость и усталость.

И почувствовал: пора!

У выхода Ионыч поднес склянку с нашатырем. Резкий запах был как удар.

Сизов быстро вышел на помост, взялся за гриф. Гриф новенький, злой; еще не стершийся узор впивался в ладони. Кожу жжет, зато хват крепкий.

На грудь взял хорошо. Старший судья развел ладони. Ждет. Ждет, гад!

Хлопок!

Гриф стальной, упругий, пять пудов с каждого конца прогибают его, и штанга дышит: вверх-вниз, вверх-вниз.

Сизов уловил момент, когда вверх — и, используя инерцию, включил руки: одновременно резко напряглись бедра — и штанга, поднятая совместным ударом рук и ног, оторвалась от груди и пошла вверх. Он выпрямлял руки, а сам откидывался назад, выгибаясь дугой, включая мощные мышцы спины и груди. Страшная тяжесть сдавливала позвоночник. И вдруг мгновенная кинжальная боль пронзила сверху вниз, задержалась в пояснице и рикошетом отлетела через ягодицу в бедро. Но штанга неудержимо шла вверх, и ликующее чувство победы заглушало боль. Руки выпрямились. Теперь стоять. Непременно стоять!

Судья дал отмашку.

Сизов аккуратно, как он всегда делал, опустил

штангу. Поклонился зрителям. Взглянул на лампочки: все белые. Значит, чисто ногами сработал, не придется решаться на этот раз.

Болевая точка в пояснице исчезла, зато при каждом шаге тянуло ягодицу. У Сизова был застарелый радикулит — болезнь, распространенная среди штангистов. Он то обострялся, то затихал, но никогда не проходил совсем. Последнее время спина Сизова не беспокоила, и он надеялся, что сегодня она не подведет — и вот дала о себе знать в самый неподходящий момент! Это не катастрофа, ему и раньше приходилось выступать с болью, и все-таки плохо. Все равно как если бы еще один сильный противник прибавился.

Когда уходил за кулисы, навстречу попался Шахматов — на последний подход шел. Уверен, никаких сомнений на лице.

Сизов натянул костюм — главное, тепло сохранять! Послышался звон упавшей штанги и вздох зала. Значит, Шахматов подход испортил, пять кило в запасе уже есть. Да еще в третьем прибавится:

Сизов улегся на живот — для поясницы лучше! — и расслабился.

Ионыч уселся на край.

— Слушай, ты Шахматова сторожишь, а про Рубашкина забыл? Он прет!

— Рубашкина я уделаю, Ионыч, не суетись. Лучше спину потри.

— Опять? Может, обколоть?

— Подожду. На крайний случай оставлю.

Из зала послышались жидкие аплодисменты.

— Видишь, Рубашкин взял, и у него подход.

— Получит медальку за жим. Пусть на труссы повесит.

— Тебе идти. Спина-то как?

— Перебьюсь.

Но когда выходил, настоящего настроения не было. Хотел позвать осторожно, чтобы спину не очень растревожить, да и сознание, что оторвался от Шахматова, расхолаживало. На грудь опять взял хорошо, но когда сорвал штангу вверх и прогнулся, снова стрельнуло в поясницу, да так резко, что, не успев осознать, что делает, Сизов бросил штангу.

VI

Рубашкин был доволен: в жиме десять килограммов у Шахматова выиграл и теперь в победе не сомневался.

Как всегда, когда дела шли хорошо, Рубашкина одолевала говорливость. Он не улегся после жима на раскладушку, а подошел к Кораблеву, старшему тренеру сборной. Тот в углу разговаривал с Гриневичем.

— Ну что, Сергей Кириллович, чисто я пожал?

Кораблев резко повернулся:

— Не видишь, что занят я? Хоть бы воспитал тебя кто!

— А что? Я хочу знать. Вы как старший тренер...

Гриневич смотрел высокомерно, аж брови поднял и ноздрями задрожал — в кино так белые офицеры смотрят.

— Напрасно удивляешься, Сергей Кириллович. Парень всех обжал и радуется. Не понимает, что он кефир на час.

— Чего?

— Всего на час кефир, говорю. Кефирная палочка, молодой человек, очень быстро киснет, чуть прозеваешь, в простоквашу прокисает. Поэтому про тех, кто недолго в лидерах ходит, говорят: кефир на час. Пословица, так сказать. Идиома.

— Полегче!

— Извините, я не принял во внимание вашу начитанность... Но я тебя отвлек, Сергей Кириллович, ты хотел

отрецензировать только что продемонстрированный молодым человеком жим.

— Ну слушай, если интересуешься: за границей тебя с твоими швунгами и показать совестно.

— Как все. Кто сейчас жмет? Все швунгуют. Один Пумпуриньш солдатским жимом жмет.

— Ты за всех не прячься, — и отвернулся к Гриневицу.

Сразу ясно, кого в сборную наметил: Гриневиц с Кораблевым на «ты», — как не взять! Вон как хохочут за спиной, — над ним, не иначе! А пусть хохочут, все равно от чемпиона спартакиады так просто не отделаешься!

Рубашкин отошел злой и обиженный. За что его Кораблев не любит? За что все над ним издеваются? Ничего, они еще узнают!

Рубашкин снял свой пояс и с гордостью прочитал на нем:

ПЕРСЕЙ РУБАШКИН — ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН!

Это он еще в прошлом году написал. И сбудется! Вот тогда повертятся. А он, кому не захочет, руки не подаст.

Кавун сзади подкрался:

— Что ты, угорелый, носишься? Отдыхай!

Рубашкин отстранился:

— Не устал. Зря волнуетесь, Тарас Афанасьевич, дело сделано.

Пусть любимые разрядники его Батей зовут, а Рубашкин принципиально: «Тарас Афанасьевич»! Если подумать, уж Кавун-то обязан его любить! Ведь заслуженного с него получил.

— Ляг, говорю. Перегоришь.

— Ладно, — Рубашкин присел. — Лёсик!

Лёсик подбежал на полусогнутых.

— Дай-ка, что там в термосе!

— Ну вот, сиди, — одобрил Кавун. — Пойду вес закажу.

Прошла минута, чая не было.

— Долго ждать?

— Пробка глубоко сидит, Персей Григорьич, ноготь уже сломал.

— Связался с безруким. Дай!

— Ничего, я зубами... Вот... Со сколько начать собираетесь?

— С сорока.

— Я слышал, Батько...

— Сколько тебе говорить!

— ...Извиняюсь, Тарас Опанасыч с тридцати хочет.

— Завалить он меня хочет! Позови!

Кавун не подбежал, как надеялся Рубашкин. Подошел не спеша.

— За што шумишь?

— Утопить меня хотите! С тридцатью меня Шахматов проглотит!

— Перестраховываюсь, Персик. Баранки боюсь.

— Сколько я просил меня Персиком не называть? Не детский сад.

— Извини. И не будь такой нервный. Тридцать — прекрасный вес. Рванешь, и сразу десятку прибавишь. Устраивает?

— Нет! Пять лет у вас тренируюсь, а вы меня не знаете! Не понимаете меня! Я в кураже. В жиме ни подхода не испортил, понимать надо. Не психолог вы. Сразу видно, практик без диплома.

— Эх, Персик!..

— Я просил!

— Ладно. В том и дело, что знаю тебя. А с дипломом завтра поищешь, сегодня работать надо.

Подошел Реваз Кантеладзе:

— А я думаю, кто кричит? Интеллект с тренером ругается. Заводишься так? Хороший способ. Федя был Краснушкин, легковес, но флегма. Перед выходом вскочит, кричит: «Бейте меня табуреткой!» Раздразнят его, выскакивает на помост — рычит, штангу зубами рвет. Тигр!

— А чего ты суешься? Мы беседовали, а ты суешься.

— Извини, уже иду.

— Ладно, я не обидчивый, не то что некоторые. Чего гуляешь? Кончил?

— Выжидаю. Понимаешь, я в рывке хорош, смолоду спину не закачал. Маленькую медаль возьму.

— Золотую?

— Нет, подешевле. Золотую Шахматов берет.

— Чокнулись вы на нем! «Шахматов... Шахматов!..»

Почему он?!

— Интеллект, дорогой, ты не нервничай. Я о большой не говорю. За большую свалка. Может, и ты возьмешь. Или не ты. А уж в рывке Шахматова не достать. Корона. Извини, если расстроил. Пора разминаться: с тридцати семи начинаю.

Реваз отошел.

— Слыхал? Грузин мне в деды годится, а с тридцати семи. Меньше не пойду. Позориться!

— Не гляди через плетень. Делай свое.

— Сказал, не пойду меньше!

Кавун встал, большой, толстый — полутяжем работал, — и пошел, сутулясь. Рубашкин, гордый тем, что стоял на своем, побежал разминаться. Рвал легко, Лёсик только успевал блины навешивать. И с каждым рывком все сильнее презирал Кавуна за то, что не рубит в психологии.

Первым к весу вызвали Кантеладзе. Реваз вышел бодро — и недорвал, бросил.

И сразу настроение Рубашкина переломилось: «А вдруг я тоже?!» Предательская слабость разлилась по рукам, ладони вспотели. Он шел к штанге и думал: «Как бы сейчас хорошо рвать тридцать!»

На тренировках он и сорок рвал, но на соревнованиях всегда разлаживалась техника. Тысячи взглядов будто придавливали штангу к земле.

С чувством обреченности еще никто порядочного веса не поднял. Рубашкин донес до груди — и выронил.

Снова вызвали Кантеладзе. Рубашкин сел, стараясь успокоиться.

— Зажался ты, — гудел в ухо Кавун. — Расслабиться надо, а ты зажат.

«Впечатлительный я», — думал о себе Рубашкин с досадой и уважением. (Еще в Омске соседка-учительница говорила про своего хилого сына: «Он такой впечатлительный, ранимый!» — запомнилось.) «Грубее надо быть, а я впечатлительный, ранимый!»

Вышел — и опять выронил. По залу гул прошел: лидеру ноль грозил!

— Ну што ж ты! — тряс за плечо Кавун. — Ну проснись! Хоть ругайся, только проснись!

— Сейчас, Батя, сейчас, подожди, — с трудом выговорил Рубашкин.

Зубы стучали, тело выворачивал позорный медвежий страх.

После уборной стало легче. Вдохнул с ваты наша-тырь, еще раз. Ударило в виски.

Взялся за гриф и долго стоял в стойке, не мог решиться...

И вдруг неожиданно для себя рванул — как в воду бросаются.

Штанга взлетела! Встал! Миг торжества — и тут Рубашкин с ужасом почувствовал, что руки не разогнуты

до конца! Старая ошибка, еще омская: дернул согнутыми руками. Не засчитают. Можно бросать. Баранка.

Машинально, ни на что не надеясь, дождал на вытянутые руки. Опустил по команде.

Посмотрел на судейские лампочки. Две белых!!

Рубашкин в восторге подпрыгнул и, подскакивая, побежал за кулисы.

А перед глазами плыло непроницаемое лицо Сиганова. Сидит перед помостом равнодушный, неприступный. Не выдал.

Неистовый свист несся в спину. Да плевать на свист!

— Ну что, Тарас Афанасьевич? А вы боялись.

Кавун грустно посмотрел:

— Поздравляю.

VII

— Дожим! Грубый дожим! — всплескивал руками Ионыч.

— Не кипятись, — лениво говорил Сизов. — Ну, дождал парень. Баранка-то не ему одному идет, всей команде.

— Что ты говоришь, Юра! Надо же честно!

— Он честно и дождал.

— Шутишь ты.

— А что делать? Поясницу заговариваю.

— Болит?

— Сейчас не болит. Вот нагружу...

На разминке берегся — большой вес не прочувствовал, поэтому, когда вышел на помост, рванул слишком сильно, штанга пролетела высшую точку; чтобы поймать равновесие, плечами ушел вперед — и снова будто железной палкой ударило по пояснице. Все-таки удержал. Только опустил со звоном против обыкновения.

Ионыч все понял по выражению лица.

— Что, очень?

— Чувствуется.

Ионыч неестественно выпрямился — значительное хотел казаться — и заговорил очень серьезно:

— Слушай меня внимательно, Юра: тебе нужно сняться. Погоди, дай договорить. Хорошей суммы с травмой не сделаешь, так? А чтоб в сборной остаться, тебе нужно под рекорд сумму делать. Снимешься сейчас, все будут знать: травма. Наберешь свои дежурные килограммы, никому до твоей спины дела не будет, скажут: «Не растет Сизов». Ты меня понял?

— А очки команде?

— Что твои очки! Шестое место и без тебя зайдем.

— Нет, Ионыч, так я себя уважать перестану. Да и конец мне тогда. Чемпион спартакиады — это звучит! А если вместо этого потом захолустный кубок выиграю, никто не удивится.

— Юра, о чем говоришь? Какой чемпион? С такой спиной у Рубашкина не выиграть, не то что у Шахматова!

— Пусть. Нужно делать все, что можно. До конца. Как лягушка в банке молока.

— Спину твою жалко. Совсем разворотишь.

— Уже разворотил. Обколюсь, и ладно. Сейчас не успеть, перед толчком придется.

Победа над минутной слабостью окрыляет, даже если слабость не твоя, а тренера. Поэтому на второй подход Сизов вышел с хорошим настроением. И рванул отлично, прямо в точку попал... и в этот же миг поясница, спрессованная девятью пудами, стрельнула так, что пальцы сами разжались. Судья не успел дать отмашку.

Обиднее всего такой подход испортить. Уж когда не поднял — не поднял, а тут взятый вес пропал. Потерял для суммы килограммы, которые уже были в кармане;

те самые килограммы, которых обычно не хватает в конце. Тем более что из главной тройки он самый тяжелый. Рубашкин всего на сто граммов легче зазевался, и чтобы отыграть эти ничтожные граммы, нужно прибавить к сумме лишние два с половиной килограмма.

Ионыч старался казаться бодрым:

— Сейчас возьмешь.

— Без новокаина не пройдет. Скажи так: от подходов отказываюсь. Да и спину для толчка побереечь.

Налетел Великин:

— Старик, как же так! Не помню, чтобы ты с прямых рук бросал!

— Спина, Пашка.

— Так ты с травмой?!

Особый журналистский блеск появился в глазах Великина. Он потянулся за блокнотом.

— Не надо, не пиши, Пашка. Кому какое дело? Не люблю на жалость бить. Кто проиграл, тот проиграл. Без медицинских подробностей.

VIII

Из всех движений, составляющих троеборье, Шахматов больше всего любил рывок. Самое техничное, изящное даже движение. Люди, ничего в спорте не понимающие, вроде родной матушки или Стасика Кравчинского, думают, что штангисты одной силой работают: мол, сколько бицепсов накачал, столько и поднял. Но одной силой разве что мешок на плечи взвалишь. «Сила есть — ума не надо» — этот глубокий афоризм Володя слышал раз сто. И не обижался, потому что те, кто так говорит, расписываются в собственной глупости. Одной грубой силой даже медведь килограмм сто двадцать наверх вытащит, не больше. Для настоящего

результата силу надо тончайшей техникой направить — на один градус направлением ошибся, на одну десятую секунды включение мышц не согласовал — и летит вес на помост. В особенности рывок — по технике как прыжок с трамплина: там и там нужно в точку попасть.

В первом подходе как часы сработал. И сразу попал в объятия Кораблева.

— Красиво! Хоть на кино и в учебник. — Повернулся к Гриневичу: — Олимпийская надежда!

Приятно, когда тренер сборной так говорит. Если и шутка, то в ней девять десятых правды.

— По самочувствию-то как?

— Не жалуюсь, Сергей Кириллович. Сразу десятку сейчас добавлю.

— Рекорд повторишь?

— Какой смысл повторять? — ввернул Гриневич. — Попрошим лишние полкило навесить.

— Не авантюра? Как-то даже не совсем прилично: мировой рекорд во втором подходе. Подумают, наши рекорды вроде бумажных тигров.

— Чего тянуть? Вася часто во втором подходе рекорды снимает.

Если вдуматься, удивительная вещь — мировой рекорд: три с половиной миллиарда на Земле, и никто такого сделать не может. А ты можешь.

В репродукторах гремел торжественный голос Аптекаря: «...на полкилограмма превышающий официальный мировой рекорд, принадлежащий японскому атлету Тагuti...»

Медленно, чувствуя торжественность момента, Володя стянул тренировочный костюм, застегнул лямку трико, двинулся к выходу. За ним потянулись почти все, кто был в разминочном зале. Гриневич на ходу массировал спину.

Когда показался в проходе, загремели аплодисменты и разом смолкли, как срезанные. Тщательно натерся магниезией, вдохнул нашатырь и шагнул.

Пискнул таймер: минута осталась.

Володя навис над грифом, широко взялся, расслабил руки... Когда смотрел со стороны, ему всегда казалось, что штангист, приготовившийся к рывку, похож на ракету перед стартом — руки и спина, как три стабилизатора, и такая же спрессованная сила.

Спина распрямилась так мощно, что штанга взлетела, как выдернутая из грядки морковка. Слишком даже мощно, так что пролетела высшую точку и потянула назад, выворачивая руки. Пришлось бросить за голову.

Зал вздохнул.

Володя выпрямился — злой, но по-прежнему уверенный. Даже не пошел за кулисы, стал быстро ходить по сцене. Подбежал Гриневич, хотел что-то сказать, Володя отмахнулся:

— Сейчас возьму. Силы вагон.

Аптекарь голосом попроще объявил третий подход.

Не притрагиваясь к магниезии, без нашатыря Володя бросился к штанге и с ходу, точно в кавалерийской атаке, тысячу раз повторенным движением выдернул штангу вверх. Попал в самую точку, штанга застыла как влитая.

Он стоял и улыбался, а зал восторженно ревел.

Судья махнул рукой: «опустить!», а он стоял. Наконец приземлил ее небрежно и подпрыгнул, торжественно подняв руки.

Подбежал Гриневич, оторвал от помоста, закрутил. А ассистенты уже катили штангу на взвешивание.

Его окружили, хлопали по спине, пожимали руки. Мелькали лица, Володя плохо сознавал, кто и что вокруг. Рекорд!!

«Штанга оказалась на шестьсот граммов тяжелее, — торжествовал голос Аптекаря. — Таким образом, рекорд Тагути побит сразу на килограмм!»

— Чего килограмм! — кричал Кораблев. — Да у него такой запас, хоть сразу пять добавляй!

Надо было отдохнуть перед толчком, но Володя не мог опомниться от счастья и ходил, ходил, сжигая неистраченную энергию.

«Почему пять? И десять можно добавить! И десять!»

Наконец сел. Гриневич специально кресло откуда-то приволок: понял, что сейчас Володе не улежать. Расслабился, вдавился всеми своими килограммами в поролоновые подушки.

Володя ощущал свое тело. Сначала он почувствовал шею, толстую, переполненную силой, как мешок зерном. Сила текла из шеи по косым мышцам к плечам, он наслаждался их шириной и покатостью — не женской беззащитной покатостью, а покатостью мужской, могучей, закругляющейся шарами дельтовидных мышц, по которым, как горные цепи на глобусе, проходили три вертикальных гребня, разделенных долинами. С плечей сила разливалась по спине и груди, по двум мощным колоннам, стоящим вдоль позвоночника, по широким пластам грудных мышц, а оттуда вниз по ступенчатому рельефу живота. Из шаров дельт сила наливалась руки. Когда говорят о руках, прежде всего думают о бицепсах, но Володя всегда главным чувствовал трицепс. Если бицепс — овалый монолит, похожий на спящего медведя, то трицепс — переплетение канатов. Канаты натягивались по очереди, и каждый, казалось, мог тащить чуть ли не тонну. Сила скатывалась со спины и живота в ягодицы и бедра, и каждое бедро было крепкое и упругое, как надутая шина тяжелого грузовика.

Володя сидел расслабившись, а сила перекатывалась по огромным мускулам и гудела низким гудом. Он ни-

чего не видел и не слышал вокруг, он чувствовал только себя. И казалось, что тело его растёт, тяжелеет, и вот уже руки стали толщиной с самолёт «Антей», конус шеи как вулкан Фудзияма, беспредельные плечи тянутся горной цепью, и сила внутри бурлит и рвется, точно неудержимая лава. Дышать стало трудно под собственной тяжестью. Хотелось кричать от счастья и полноты жизни, но его крик смел бы все вокруг, как атомный взрыв, а Володя любил все вокруг, поэтому он сдержался.

IX

Рубашкин пал духом: отставать от Шахматова перед толчком на пять килограммов — положение безнадежное. Что толку быть вторым. В штанге все достаётся первому: чемпионаты мира, Европы, олимпиады. Хорошо всяким там бегунам: у них в каждом виде трех человек на олимпиаду выставляют... Вот тебе и переезд в Киев.

Лёсик массировал ноги. Старался, но не умел. Неловкие пальцы раздражали Рубашкина.

— Сколько учить! Снизу вверх!

— Так я ж...

— Ты по одному месту. Да не мнешь, а чешешь.

— Как показывали...

— Кто тебе показывал? Меня лучшая массажистка в городе трет, уж я-то разбираюсь.

— Разбираетесь, Персей Григорьевич, все знают. — Лёсик угодливо захихикал.

— Кончай трепаться!

Лёсик опешил.

— Чего кричишь? — Кавун подошел.

— Да вот, Батя, пристаёт с трепотней. Отвлекает.

— Сам приучил.

— Массировать не умеет. Зачем тащили, если толку как с козла...

Рубашкин забыл, что Лёсик за свои деньги приехал, а тот не посмел напомнить.

— Ладно, давай я, — Кавун отстранил Лёсика.

— Что-то мы не так сделали, а, Батя?

— Не мы, а ты. Кому говорил, с тридцати начинать!

— Ты бы приказал. На то ты тренер, чтоб приказывать.

Кавун ничего не ответил.

— Чего ж теперь делать, а, Батя?

— Толкай, сколько можешь. Попробуешь Шахматова перетолкать.

— Скажешь. Он темповик.

— Захочешь — толкнешь. Выше головы прыгнуть надо.

— Сам завалил, а теперь выше головы прыгать заставляешь!

И снова Кавун промолчал.

— Очков мало дам команде, тебе в комитете втык сделают... Батя, надо какую-нибудь тактику придумать.

— Дурак ты! В квадрате дурак! Он на рекорд готов, сам слышал, Гриневич говорил. Толкни больше, вот и вся тактика.

— Чего ты запугиваешь! Зачем мне знать, что он на рекорд?!

Кавун наклонился к самому уху и шепнул почти нежно:

— Ну, кончи истерику. А то при народе оплеух надаю.

Рубашкин шмыгнул носом и замолчал.

х

После рывка Лена окончательно поняла, что чуда не произойдет: Юре не выиграть. Значит, снова сегодня ночью потянется старый разговор: пора бросать спорт,

думать о будущем. Или даже такой разговор не получится: последнее время Юра после соревнований выпивает — говорит, без этого напряжение мышц не снимается. Выпьет и заснет. Не шумит, слава богу.

Все вокруг уверены в победе Шахматова, волнуются только, будут ли еще рекорды. И так хочется, чтобы были! Ведь рекорд, установленный на твоих глазах, делается как бы чуть-чуть твоим, ты с гордостью скажешь: «Я это видел», но подумаешь: «Я помог совершить!» После того как Шахматов отобрал рекорд у Тагути, всех охватило легкое опьянение; мужчинам казалось, что они стали сильнее и что новые рекорды сами идут к ним в руки. Знатоки из верхнего ряда присудили:

— Запросто затолкает.

— И сумму сделает.

— Гриневич еще вчера сказал: «В такой форме сам Власов никогда не был».

На других почти не смотрели, ждали одного Шахматова. Только Лена подалась вперед, слабея от волнения, когда вышел Юра. Она готовилась его жалеть, и удивилась: веселый! Уже по походке видно. И магнизией натерся весело, и на штангу пошел легко. Лена слишком хорошо знала мужа, чтобы поварить, что он смирился. Не из той он породы, чтобы кого-то легко вперед пустить.

...Такое же выражение решимости и безнадежности было у него, когда он пришел требовать себе Лену. Накануне она сказала ему, что при первых словах о замужестве у мамы сделался сердечный приступ и что рисковать маминой жизнью она не может.

Неотложка делала укол, а мама кричала под шприцем: «Кого ты нашла?! Вокруг тебя столько студентов! Холостые ассистенты попадаются!»

— Знаете, что я сделаю? — сказал Юра с порога. — Спрячу Ленку в рояль и вынесу.

— Почему в рояль? — растерялась мама.

— Чтобы вы видели, какая у меня тяга к культуре. — Сел и вдруг заиграл польку-бабочку.

И что-то в маме переменялось. Она весело посмотрела на Юру, полезла в буфет и достала банку тертой смородины в сахаре.

— Ешьте, Юра, здесь чистые витамины. Спортсменам нужно много витаминов.

Когда-то давно тетка Мария рассказывала, что в молодости мама многим кружила головы. Тогда Лена не поверила, а тут поняла, что так и было.

Потом мама пошла мыть посуду. Пол у них в коридоре был ужасно скрипучий, Лена, еще когда в школе училась, заметила: когда мама выйдет, можно безопасно целоваться — шаги за двадцать метров слышны. Поэтому Лена тотчас пересела к нему на колени.

— Почему ты никогда не говорил, что играешь?

— Какая игра. Последствия кружка баянистов в ДПШ.

— Все-таки. Мог бы на вечеринках брэнчать.

— Именно брэнчать. А я не люблю второй сорт.

Она погладила его по голове:

— Ты сегодня очень хороший. Я не забуду. Когда-нибудь ты ко мне привыкнешь, будешь изменять. — Она сделала паузу, но он не возражал, промолчал. — Так вот, за сегодня я тебе одну измену прощу.

— Две. Вторую за смородину в сахаре, — сказал он невозмутимо.

XI

Сизову в медпункте обкололи поясницу, и боль отошла. Не прекратилась совсем, но больше не мешала.

У Шахматова можно выиграть только с рекордом. Сизов это понимал. Установить рекорд в дополнитель-

ном подходе ради одной славы Сизов сейчас не мог, но в пылу борьбы — как знать. Наконец пришел тот кураж, который кружил ему голову в победные годы. Кураж — он вроде легкого хмеля, только возникает без всякой химии, от одной веры в себя и страсти к победе. Выйдет сейчас Сизов и подымет, сколько нужно; не может не поднять, потому что он здесь сильнее всех!

Ионыч сидел с озабоченным видом. Сизова это рас- смешило:

— Ну, чего кисло смотришь? Сейчас всех побью!

— Говорил с председателем совета. ЦС в Ереване намечают. Условий там нет: помню, разминку во дворе устроили, чтобы пол не проломился, питание...

— Брось, Ионыч. Чемпионы мира на ЦС не ездят.

— Куражишься. Не забаранил бы.

Верно, многие в кураже баранят: море-то по колено. Но Сизов был слишком опытен, чтобы в кураже совсем потерять голову.

— Все нормально, Ионыч, начну спокойно, чтобы команде очки обеспечить. А уж потом!

И с веселой мыслью о том, что будет потом, как все удивятся, какое лицо сделает Кораблев, он вышел и легко толкнул начальные сто восемьдесят.

Обыкновенный мужчина штангу в одиннадцать с гаком пудов разве что по помосту покатает, но такому парню, как Сизов, ничего не стоит вытолкнуть ее над головой.

XII

Толчок затянулся: то и дело устанавливали республиканские рекорды, начиналось взвешивание... Вот бросились поздравлять смешного длинного Ванк Гапченко: он юниорский рекорд побил. Шахматов почувствовал, что остывает.

— Давай-ка чуть-чуть слонцем.

Гриневи́ч выдавил из тюбика четверть грамма на ладонь и стал осторожно втирать в плечи. Запахло мускусом. По телу разлилось приятное тепло.

— И где ты, дорогой, растирки достаешь? — послышался голос Реваза.

— Из Финляндии ребята привезли.

— Замечательная вещь! Но есть вещи еще замечательнее. Раз вхожу в зал, и чуть не сел. Что такое?! Точно слон в бане. Вид сзади. А рядом Спартак Мчелидзе зеленым венником машет. Подхожу: крапива! Спартак Женю Носова крапивой жарит. Тяжа! Тот хохочет: против крапивы, говорит, любая жгучка — что святая вода. И что ты думаешь? Носов в тот день Медведа обыграл, единственный такой случай с ним был, а? Потом с него кожа слезла. Может, за крапивой сбегать?

— Он и без крапивы постарается.

— Слушай, а хорошо дома выиграть! Раз Союз в Тбилиси сделали. Ползала — родственники. Колхоз автобусами возил. Тетушка Кэтеван там живет, куда кроме самолета дороги нет, и вдруг погода нелетная. Тетушка к механикам: лучше разобьюсь, чем не увижу, как плямяник чемпионом будет! Двадцать семь часов угоривала. Без обеденного перерыва. Прилетела! В первом ряду сидит! А я проиграл. Понимаешь, четвертое место. Ни раньше, ни позже выше шестого не поднимался, а тут четвертое. Но проиграл. Хоть бы какую медаль, а то никакой. Отец топиться пошел. Счастье, что в вине... Тебе хорошо: на глазах всей родни победишь.

Действительно, отец с матерью пришли. Может, поймут наконец красоту штанги... В удачный день пришли: все как по маслу идет.

— Ну что, юноша, банкет заказал? — за спиной стоял маленький толстый Великин из «Совспорта».

— Вы что, сговорились?! — разозлился Гриневич. — Сглазите! А ну плюньте!

Великин и Реваз плюнули через плечо.

— Ему банкет ни к чему, — уже мирно сказал Гриневич, — у него режим железный: за всю жизнь ни капли в рот не взял. Даже вкуса не знает.

— Ну? Точно как Ионыч, Юрки Сизова тренер. Я при нем что-то сказал насчет водки: запах, мол, не нравится, нос затыкаю, а он: «Значит, водка плохо пахнет?» Мы все легли! — Великин так живо вспомнил эту сцену, что засмеялся, будто только что услышал вопрос Ионыча. — Я ему: «Тише, не позорься!» А он: «Нет, ты мне объясни, зачем ее пьют, если она противная?» — У Великина брызнули слезы, он полез за платком. — Идеал ходячий, а не человек, ему бы по «Пионерской зорьке» выступать.

— Вот кто должен твоего Володю тренировать: идеальная пара получится, — сказал Реваз.

Эта шутка Гриневичу не понравилась, он заторопился.

— Давай, Вова, разминаться пора.

— Успею. Первый вес, считай, разминочный заказали.

Зал встретил Володю аплодисментами, это было настолько естественно, что даже не польстил: большинство ведь «шахматисты» на трибунах — словцо пустил Гриневич для обозначения Володиных бслельщиков. Гриневич выписывал «Литгазету» и был склонен к игре слов.

Легко взял на грудь, напряжинил ноги — ну!..

...Черт! Вперед дал. Штанга была наверху, но тащила за собой. Володя шагнул за ней, еще чуть-чуть, теперь назад. Штанга не хотела замереть, билась над головой, как громадная рыбина на суше.

Полшага вперед... шаг назад... еще назад...

Застыл!

Давит! Отмашку скорей!!

Ждет, гад!

Снова повела. Шаг вперед... еще вперед... назад... вперед...

Володя перебирал ногами все быстрее, а громадная рыбина билась над головой, давила страшной тяжестью к земле.

Остановить! Только бы остановить!!

Казалось, он уже многие часы держит на вытянутых руках чудовище. Сознание мутилось, он не мог сообразить, что нужно просто бросить штангу — всего лишь разжать пальцы, и сразу станет легко! Он давил из последних сил, давил вверх, как давил бы обвалившийся на голову потолок, чтобы безнадежными усилиями продлить жизнь на лишний миг.

Но даже его мощные руки не выдержали, потолок обрушился, и все исчезло...

хшш

Когда Шахматов сделал под штангой первый шаг, публика не увидела в этом ничего особенного. Часто приходится шагнуть раз или два для корректировки. Штанга наверху — это главное. Но Шахматов сделал и третий шаг, и четвертый. Стало тихо-тихо.

Вот замер...

— Отмашку давай! — крик с галерки.

Штанга снова заходила. Шахматов шагнул за ней. Быстрее. Казалось, он выбивает под штангой мелкую четку.

— Бросай! — не приказ, отчаяние!

Еще несколько мелких шагов, вдруг крупный шаг вперед — и Шахматов упал навзничь во весь рост, не выпуская штанги. Глухой стук упавшего тела был так страшен, что — хотя и не громкий — заглушил звон ме-

талла. Пальцы наконец разжались, штанга покатилась, упала с помоста, и сидевший сзади судья притормозил ее ногой.

Крик ужаса вырвался у всех одновременно.

Судьи невозмутимо зажгли три красные лампы. Это показалось кощунством.

Свист, тысячепалый свист рвал воздух.

— На мыло!

— Долой!

Ребята сзади закричали:

— Была фиксация! Была фиксация!

Подхватили:

— Была фиксация! Засчитать!

— ЗА-СЧИ-ТАТЬ! ЗА-СЧИ-ТАТЬ!

Лена вскочила, схватила за руку соседа справа, и, размахивая в такт сцепленными руками, они скандировали вместе со всеми:

— ЗА-СЧИ-ТАТЬ!

Она забыла, что Шахматов — противник Юры, она ни секунды не думала, что без него Юре легче выиграть.

— ЗА-СЧИ-ТАТЬ!

Что-то говорил судья-информатор, но свист и крики заглушили его. Тогда на столе жюри зажглась белая лампочка. Зал стих, и все услышали голос Аптекаря:

«Апелляционное жюри вес Шахматову засчитало».

Взорвались благодарные аплодисменты, а потом в тишине элегантный сосед Лены закричал неожиданно громко и пронзительно:

— Убрать судей!

Зал подхватил:

— Долой!.. Убрать!

И Лена, не отпуская руки соседа, кричала:

— Уберите судью!

Солидные члены жюри пошептались, наклонившись друг к другу, и снова раздался голос Аптекаря:

«Апелляционное жюри приняло решение отстранить судей у помоста».

Судьи встали и гуськом пошли за кулисы, провожаемые торжествующим свистом, улюлюканьем, мяуканьем. Толпа участников и тренеров, сгрудившаяся в глубине сцены, расступилась, как перед прокаженными.

— Мы победили! — кричал в ухо Лене сосед.

— Победили! — кричала Лена.

Они по-товарищески пожали друг другу руки.

Сосед вдруг хлопнул себя по лбу:

— Все ясно: вы жена Гриневича! Как я сразу не догадался. Он же еще молодой парень.

XIV

Когда раздались крики, свист, Рубашкин сначала не понял, в чем дело. Он как раз настраивался перед выходом. Вдруг все побежали на сцену, там началась какая-то возня, через минуту Гриневич с Кораблевым проволокли бессильно повисшего у них на руках Шахматова. Пробежал врач.

— Он упал! — закричал Лёсик. — Травма! Ты чемпион!!

Чтобы не подпрыгнуть от радости, Рубашкин начал крутить замок. Все-таки чемпион!

Подошел Кавун:

— Сволочь Сиганов: видит, что плывет парень, надо этмашку давать.

— Чего ж давать, если фиксации нет?

— Почти была. Может, доли секунды не хватило. На городе у нас такие считают.

— А на спартакиаде мировой стандарт подай! — Рубашкин искренне забыл, что сам рвал не очень чисто. Да чего плакать: чужой же лег! Ноль у них. А мне еще за международника надбавка. Кучу очков принесу.

— Чистые очки нужны, не такие.

— Лишь бы очки, Тарас Афанасьевич. Все в сумму годятся.

— Тебе не объяснишь, раз природа такая.

Кавун махнул рукой, отвернулся и пошел.

— Чего он? Совсем спятил? — Рубашкин даже присел. — Я победил, а он дуется. Ладно, отсюда прямо в Киев, не заезжая.

— Идеальный! — угодливо поддакнул Лёсик.

Вдруг зрители стихли, и раздался голос Аптекаря. Рубашкин отчетливо слышал в нем плохо скрытое торжество.

Засчитали, значит, вес! Конечно, Гриневич в федерации свой человек!

Пока усаживали новую тройку, Рубашкин совсем остыл, да и настрой прошел, поэтому первый подход он испортил. Встретили и проводили его свистом. Рубашкин разозлился и во втором подходе толкнул легко. Правда, ему все равно свистели, но внимания не обращал — свист в протоколе не пишут — и даже показал (правда, отвернувшись) язык публике.

xv

Сизов, конечно, не злорадствовал, что выбили Шахматова. Но и не жалел его. Отнесся как к обычной травме — кто-то плечо потянул или спину, остальные продолжают выступать. В конце концов в каждой травме виноват сам спортсмен, и случай с Шахматовым не исключение.

Сизов понимал, что теперь для него путь в чемпионы расчистился. Понимал и не смущался: на то и спорт, чтобы в любую минуту все с ног на голову перевернулось. Ну засудили Шахматова, так что ж, надеть траур и отказаться бороться? Смешно. Ну, а раз так, нужно

делать свое дело. Жалости он не понимал — ни к себе, ни к другим.

— Что, Ионыч, теперь Рубашкина затолкать?

— Погоди, не все так просто.

— У меня два подхода, у него один.

— Если он не дурак, он будет пропускать, пока ты не кончишь. И пойдет на тот же вес. Он же легче.

— Я такое толкну, что ему не повторить!

— Про спину не забывай. А он вон какой амбал. Нужно заставить его истратить подход. И потом толкнуть минимум для победы. Минимум!

— Как же заставить? Он дурак, но не такой уж. И тренер подскажет.

— Ты не понимаешь. Давай считать: после рывка Рубашкин Шахматову пять килограмм проигрывает, да Шахматов легче — выходит семь. Значит, семь кило он так и так прибавит, есть ты на свете или нет. Пусть, но чтоб ни грамма больше! Ясно теперь?

— Чего ясно?

— А то, что Рубашкин должен точно знать: с тобой покончено.

XVI

Рубашкин сам вышел посмотреть, как Сизов будет толкать. Конечно, тот уже старик, спортивный покойник, но все-таки. Два подхода у старика осталось, а после рывка у них суммы одинаковые.

— Ничего он не сделает! — Лёсик для убедительности руки на груди сложил. — Он спину порвал. Я же сам видел: дугой согнулся и в медпункт. Дверь закрыли, а я тыркнулся будто случайно, дурачка разыграл. Влетаю, он лежит, и ему врачиха шприцем в спину колет.

— Может, пониже?

— Колет! Точно тебе говорю. Он давно рассыпается, ребята рассказывали.

— Как же он первый подход толкнул?

— На уколе.

— Ладно, увидим.

Сизов, и правда, выглядел жалко. Долго топтался, подошел, вернулся к ящику с магниезией, обратно подошел. Полминуты осталось. Наконец за гриф взялся. Взялся и крутит. Еще двадцать секунд. Ему кричат: «Время!»

Дернул наконец штангу, чуть выше колен поднял и бросил. За поясицу схватился.

— Видал? — торжествовал Лёсик.

Подшел Кавун:

— Семь с полтиной накинём?

— Конечно, Тарас Афанасьевич. Надо же Шахматова обыграть! — И посмотрел с вызовом: что тот скажет.

— Обыграть не обыграешь, но первое место займешь. Пойду закажу, пока я еще твой тренер.

Рубашкин вес выхватил легко, зафиксировал четко, чтобы новая тройка не придралась. Опустил.

Победа!

Его окружили. Даже Кораблев подошел. Рубашкин спросил прямо:

— Ну что, Сергей Кириллович, на мировой с вами поедем?

— Поедем на сборы. Прикидки будут. Сильнейший поедет.

— Чемпион и есть сильнейший.

— Сейчас. А что будет через два месяца, неизвестно.

Вот гад. Даже победу должен испортить. А что, если к нему в ученики попроситься? Небось лучшим другом станет!

Тренеры после победы целоваться лезут, но Кавун только руку пожал:

— Што ж, поздравляю. Хоть и ругались, все-таки вместе работали.

Вдруг гул разговоров покрыл голос Аптекаря: «Юрий Сизов, третий подход».

— Спятил он, что ли? — испугался Лёсик.

— С отчаяния. Грудью на пулеметы, — сплюнул Рубашкин.

Но ему стало страшно.

Мимо прошел Сизов. Прямо прошел, не гнулся, не хромал. Все потянулись за ним.

XVII

После второго подхода Сизов вернулся, держась за поясницу, и лег на раскладушку.

— Слишком хромаешь, — сказал Ионыч, — переигрываешь.

— Ничего, проглотит. От радости даже умный глупеет.

Запыхавшись подбежал Великин.

— Что, старик, совсем плохо? А я за тебя болел. — И без перехода: — Какой гад, ты подумай! Под корень парня срубил. Я этого замазать не дам! Я напишу!

— А он скажет, что не видел фиксации, — усомнился Ионыч.

— Пусть! Все равно надо было командовать, а потом пусть бы красный свет зажег. Чтобы не упал Шахматов. Я сам за строгость, но без жестокости!

— Такого правила нет, чтоб без фиксации отмашку давать.

— Нет, но многие дают — по-человечески поступают. А он формалист проклятый.

Со свитой тренеров торжественно проходил Кораблев. Остановился над Сизовым, посмотрел, махнул рукой:

— Этот труп.

Вовремя сказал! Именно такой удар по лицу был нужен Юре, чтоб как следует завестись.

Великин заторопился:

— Ладно, старик, все равно ты славно на своем веку поработал. Твои победы все помнят. Ну давай. Надо пару сплетен добыть, — пожал наскоро руку и устремился за Кораблевым.

Рубашкин, сияя, пошел толкать свое.

Тихо в разминочном зале. Железо не гремит: все закончили.

— Ну давай, Ионыч, чуть он опустит, сразу набавляй. Мне бы поскорей.

— Спина не разморозилась?

— Нормальне. Слушай, а ты лиса. Вот тебе и трезвенник.

— Тактика, Юра, обычная тактика.

Рубашкин уже на сцене, притворяться больше незачем. Сизов вскочил, сделал несколько приседаний, прошелся колесом.

Послышались жидкие аплодисменты. Ну сейчас!

Зал встретил хорошо: после Шахматова за него болели. Да и обманул он не только Рубашкина — все думают, что он через боль идет.

Сизов затянул пояс, почувствовал, как жесткая кожа плотно держит поясницу. Тихо. Все смотрят на него. Тренеры и ребята, тысячи зрителей в зале, миллионы, которые сейчас гуляют по улицам, но через два часа сядут к телевизорам — все смотрят на него.

Сейчас, на глазах у всей страны, он победит.

Победит, потому что уже поднимал такой вес.

Победит, потому что если кому и можно проиграть, то не Рубашкину.

Победит, потому что должен доказать Кораблеву и всем, что он еще жив.

Победит, потому что цель и страсть его жизни — побеждать.

Победит.

Вот он наклоняется над грифом, крутит его по привычке, берет в замок — и сразу без раздумий отрывает от помоста. Мощно сработали ноги и спина — и штанга уже лежит на ключицах, он даже не почувствовал тяжести!

Зал выдохнул и снова замер.

До победы всего полметра вверх!

Сгибаются колени и сразу резко выпрямляются, штанга срывается с ключиц и летит вверх, словно выстреленная.

Есть!

Секунда неподвижности, когда все тело каменно напряжено.

Опустить, машет судья. Зал ревет.

Сизов еще секунду держит штангу над головой. Секунда кажется зрителям бесконечной. Он стоит со строгим лицом, как солдат на посту.

Едва штанга коснулась помоста, кто-то схватил его сзади — и он уже в воздухе. Его кидали очень высоко, но страшно не было, потому что он знал: у этих ребят крепкие руки. Потом ему чуть не сломал ребра Великин.

— Старик, — повторял беспомощно Пашка, — это же сенсация, — больше у него ничего не выговаривалось.

— Ну, Юра, значит на вас мы тоже можем надеяться, — приятно улыбаясь, пожал руку Кораблев.

«Тоже» — без ложки дегтя Кораблеву не обойтись.

Маленький Ионыч стоял рядом и держался за руку, как мальчик за отца.

Заиграли фанфары, и они вышли втроем. Шахматов уже оправился. Другой бы на его месте прихрамывал, чтобы лишний раз на жалость сыграть, но он шел ровно, — значит, настоящий парень. Сизов легко вскочил на верхнюю ступеньку пьедестала — давно не приходилось, но он не забыл, как одним движением взлетать наверх. Встал — как на родину вернулся. Руки вверх вскинул. И настал момент, который Сизов пережил на двух первенствах мира, но которого еще не удостоивался на Олимпийских играх — через год обязательно, для того и живет! — в его честь заиграли гимн.

Сизов стоял выше всех, слушал гимн, и на секунду ему показалось, что он уже победил на Олимпиаде, и это была секунда безмерного и удивительного счастья.

ЗОЙКИНА ТАЙНА

Во двор плавно вкатился автобус цвета перезрелой клюквы. Вышли двое. Он — высокий, представительный, она — в синем брючном костюме, с двумя обручальными на правом безымянном. О чем-то негромко посоветовавшись между собой, позвали шофера. Тот помог им вытащить громоздкий ящик с шероховатой облицовкой.

Жильцы на дворовой скамейке навострили глаза, уши. Неожиданно приезжие обернулись к ним, спросили, где двенадцатая квартира. Женщины всполохнулись воробьиной стайкой — как?! И словно все уличные звуки отключились вмиг.

Наконец, сидящая посередке губастая старуха выстукала по складам, точно дощечку раскрошила в мелкие щепки: «Две-над-ца-тую?»

Соседки переглянулись, плотнее сбиваясь в кучку: быть не может! К Зойке-балаболке?! Не сговариваясь, решили помочь приезжим: к архитектору, наверно? Они в другом подъезде. Ясно, к архитектору... Такие, с машинами, только к нему ездят...

Дважды обрученная нетерпеливо дернула бровями: разве Маломальская?..

— А-а-а, верно, — густым голосом подхватила старуха, — первый подъезд, третий этаж, направо...

Солидные гости пробыли у Зойки ровно один час и семь минут. Вышли задумчивые, зачем-то пристально оглядели двор, погрузили ящик обратно.

Невзрачное облачко пыли лихо подпрыгнуло над асфальтом и, пьяно качнув сплюснутыми боками, рассосалось в воздухе.

В этот день Зойку не дождалась во дворе. Не появилась она и на второй и на третий. Зато тридцатилетняя сестра ее заметно оживилась, без усталости шмыгая с плетенкой в магазин и обратно.

А на четвертый день вновь появился автобус. На этот раз никто не вышел из него. Плотные задвинутые молочные занавески на окнах слегка вздрагивали.

Когда Зойка, вся какая-то встрепанная, выскочила на крыльцо, на ходу застегивая ветхий чемоданчик, шофер предупредительно распахнул перед ней дверцу.

И повелось. Утром куда-то увозили Зойку, а вечером привозили. Причем ни на секунду не задерживаясь во дворе, она опрометью летела в свою квартиру. Даже самым пронзительным не удавалось перекинуться с ней хотя бы парой слов.

Осень в этом году выдалась теплая, солнечная. Золотистый свет обливал нежностью полуголые дворовые тополя, вытягивал людей на волю. Поэтому дворцовая скамейка не пустовала.

Третья неделя странного Зойкиного поведения сбивала всех с толку.

— Бывало, выйдешь — нахохочешься, аж горло сохнет, а теперь тишь да гладь и разговоры какие-то пресные, — так и рубанула напрямик баба Груня, в сердцах вытаскивая из полиэтиленового мешочка нудное вязанье.

Все согласным молчанием поддержали ее. Люди поняли вдруг — без неунывающей Зойки скучно, пусто. С грустью припомнилось, что никогда она не жаловалась на нехватки, ни у кого не просила денег в долг — на свою маленькую зарплату с семьей выкручивалась. И в квартире-то у нее чистота, и дети ухоженные, скромные... Да и мужчин посторонних не водила, а ведь без мужа, годы молодые... К соседям внимательная, — испечет чего, обязательно во двор тащит, сует тому-другому: «ешь-ешь». Там, глядишь, и на щи кого-то зовывает к себе.

За три года совместного проживания жильцы успели не только перезнакомиться между собой, но и не раз схватывались из-за всяких бытовых неполадок. И, собственно, ничем особенным не выделялся бы дом среди прочих без Зойки Маломальской. Хоть ей и стукнуло недавно тридцать семь, но никому в голову не приходило разузнать отчество — Зойка да Зойка. Вдобавок прозвище прицепили — «Новобрачная», за неумеренное хвастовство собственной постелью: «Мягко, чисто, как у новобрачной». Маленькая, шустрая, с челкой под девочку и куцым, обтрепанным венчиком осветленных волос, она действительно выглядела молодо.

Работала Зойка на железной дороге слесарем. Торопилась на смену за час раньше срока. Надраивалась вся, как перед праздником великим.

— Узел у нас крупный. Всякие поезда останавливаются, бывает, и международные, — гордо отбривала она насмешницу Валерию Петровну, просидевшую всю жизнь на шее мужа без заботушки, когда та подкалывала: «Добро б в конторе при начальстве красоваться, а то среди грязи да мазута...»

— Я хоть и рабочая, а чертом не вызалюсь в люди! Комбинезончик по фигурке, платочек аккуратный, и челка всегда заделана...

Выходят, значит, пассажиры поразмяться, а тут Зойка с тяжелым гаечным ключом, по-муравьиному под составами лазает. Терпеливо покряхтывают, дожидаясь её помощи, лобастые громилы-тепловозы. Только иногда рязкает по-нахальному запоздавший товарняк — бросай всех, лети к нему!

И пассажиры, как мухи на мед, к Зойке. Увидят, заахают: откуда такая женщина?! Слово за слово. Тут уж успевай поворачиваться — и свое дело справляй, и людей необходимо развеселить после дальнего пути. Кинет Зойка пару анекдотов — животики надрывают, из своей жизни что посмешней припомнит. Например, как замуж шестнадцатилетней выходила да от мужа после свадьбы месяца два на печке пряталась, зашиваясь на ночь в картофельный мешок.

Заговаривают с Зойкой, как на подбор, все артисты да спортсмены. А недавно писатель один за-грани-чный беседовал. Оторваться от разговору не мог. Адрес присил — отказала: нечего баловать!

Соседи слушали с любопытством, но не верили и полсловечку. А нынешним летом побывала Зойка в Сочи. Возвратившись, таинственным голосом поведала об одном директоре завода.

Встретились в столовой, когда от жары крыши лопа-лись. Ни на кого не обращая внимания, она приканчи-вала третью порцию манной каши. В этот неподходящий момент к столику подошел высокий седой мужчина с круглым, как чайник, лбом и тупым бритым затылком. Долго рассматривал, будто невидаль какую, и наконец игриво представился — директор завода Улычев! Такое начало взбесило Зойку: а я слесарь! Что дальше?

Тот растерялся — простите... я не хотел...

— Все вы не хотите, да только жены потом плачут!

Все-таки погода сменила Зойка гнев на милость — разговорились по-человечески. Новый знакомый ока-

зался совсем несчастный. Неделю назад бросила жена. «Не к кому голову преклонить».

Следующая встреча повторилась в той же столовой через день. Улычев порывался угостить Зойку обедом покалорийнее манной каши, но она строго обрезала — разговариваю с вами не для того, чтобы питаться за ваш счет!

Спустя неделю директор рискнул пригласить ее в ресторан. Из любопытства она согласилась — никогда в жизни не бывала. Но твердо решила платить сама за себя.

В ресторане Зойка пела на приз свою любимую песню «Растет в Волгограде березка» с таким успехом, что поклонник ее занемог «до чертиков».

А надо сказать, распелась женщина не с бухты-барухты. Пятнадцать лет занималась в хоре красного уголка «ЖД», была солисткой и одиннадцать похвальных грамот с девятью дипломами первой степени имела.

Провожая свою даму смоляным южным вечером, Улычев многозначительно стиснул ее локоть, не сомневаясь более в успехе заваренного дела. Но и тут получилась осечка.

— Нечего из меня соки жать! Думаете, накормили, так все можно? Я просто перед официантом не хотела вас позорить! Возьмите!

Неловко вывернувшись, она сунула ему в карман сложенную тугим квадратиком пропотевшую пятерку с двадцатью копейками в середине (точная сумма за съеденное), крикнув напоследок:

— Красота мужчины в сдержанности!

Не виделись они больше недели. Зойка считала себя вполне правой. Он подошел неожиданно, когда она томилась в очереди за газировкой.

— Здравствуйте... А это вам...

Букет бледно-сиреневых тюльпанов обжег руки. От растерянности Зойка чуть не разревелась. Не зная, что делать с собой, она вдруг сунулась лицом во влажные тюльпановые чашечки. Когда волнение поулеглось, кремовая уличевская рубашка приближалась уже к газетному киоску. Тугими пластами шевелились лопатки на широкой сутуловатой спине.

Позабыв о газировке, Зойка медленно пошла вдоль улицы, притиснув к груди обеими руками первые в своей жизни цветы.

Людской поток, распадаясь перед ней на два лоскутных рукава, обтекал с боков, вновь смыкаясь за спиной.

Вернувшись на квартиру, тихая, присмирившая Зойка долго сидела на хозяйской табуретке. Поднялась, когда посинело окно. Продолжая двигаться, как во сне, налила в литровую банку воду для цветов. Развернула целлофан. Из середины букета вывалился конверт, сложенный вдвое. Внезапный нервный толчок опрокинул оцепенение. Повлажневшие пальцы оторвали тонкую полосу по вертикали.

Зоя! Я обманул вас. Жена меня не бросала, и я совсем не „несчастный“...

Капельки пота с маковое зерно облепили Зойкин нос. Машинально стряхнула их тыльной стороной ладони.

...У меня почти все есть—семья, любимая работа, чуточные товарищи. Кроме одного—той большой честности, что у вас. Знакомился с единственной целью—онунуться в бездумное отпускное настроение и потому в первую встречу бездарно разыграл шута, которому „не н кому голову поклонить“. Вы поверили, но были со мной по-женски строги...

Не дочитав до конца, Зойка разбрала постель, накрылась одеялом с головой. А проснувшись на следующий день со странным ощущением бодрости и чего-то хорошего, улыбнулась от уха до уха и на свежую голову решила дочитать улычевское откровение.

*...Разрешите подарить вам билет на самолет.
Отказаться не сможете—буду далеко. Вы никогда не летали—не пожалеете.*

Какая-то властная сила вытолкнула Зойку на улицу. Успевшее уже накалиться солнце плавилось на спинах прохожих. Горячий людской поток теперь не обтекал ее — она была его магнитным стержнем. Чьи-то локти, плечи, случайно задевавшие, радовали живым, осязаемым ощущением.

На следующий день Зойка была дома и, добывая необыкновенное уважение соседей, билась, как рыба об лед. Но из всех ее потуг ничего путного, кроме смеха, не получалось. Даже улычевское письмо без подписи, тщательно упакованное в полосатую тряпочку вместе с увядшими тюльпанами, не произвело того сногшибательного эффекта, в котором не сомневалась Зойка.

Вот каково было положение дел в момент прибытия клюквенного автобуса.

Но удивляться и стонать от неизвестности дому еще предстояло.

В начале октября во дворе появилась черная «Волга» с голубой, как небо, внутренней отделкой. Мягко щелкнула дверца, и женщина, волосы которой напоминали белоснежное шелковое полотно, спросила двенадцатую квартиру... Бессменные наблюдатели узнали знаменитую актрису кино! Ехидная Валерия Петровна вдруг припомнила любимое Зойкино выражение: «Хоть сама я человек простой, рабочий, а знакомые у меня...» В ту же

секунду застрекотал гигантским кузнечиком и замер позади «Волги» зеленый мотоцикл. Пожилой мужчина во всем черном сбросил защитный шлем.

Знаменитая актриса и Фантомас (как тут же прозвала мужчину баба Груня) бок о бок поднялись в Зойкину квартиру.

Когда Зойка со своими гостями вышла на крыльцо, никто не узнал ее сразу. Неожиданная прическа — гладкая у лба с хитро закрученным на затылке узлом, наподобие рыхлого капустного вилка — и темное с высоким воротником платье вытягивали маленькую фигурку в восклицательный знак.

Актриса, перед тем как сесть в машину, обняла Зойку, поцеловала:

— Зочка Васильевна, милый мой! Непременно приезжайте!..

Фантомас почтительно пожал Зойке руку.

Одновременно моторы вспороли дворовую тишину. Как угорелая, рванулась вслед кучка крапленных ржавчиной тополиных листьев и разметалась обессиленным веером на асфальте.

Зойка стояла перед соседями вся какая-то новая, необычная и оттого особенно интересная. На подбородке, рядом с ямочкой, смело розовел перламутровый отпечаток актрисинной помады.

Все чего-то ждали, не решаясь запросто, как прежде, подозвать Зойку. Да и сама она, скованная настороженным молчанием, теребила манжет рукава. Неожиданно за ее спиной выросла сестра, забубнила что-то сердитое на ухо. Тяжело вздохнув, Зойка опустила голову и торопливо ушла в дом.

Соседи притихли. Такого поворота никто не ожидал. Только баба Груня покашляла смущенно и уронила, глядя на водосточную трубу:

— Д-да...

Приближались Октябрьские праздники. Начинало подмораживать. Колючим крошевом заporошило скамейку.

Баба Груня радовалась. Сегодня, шестого, в самый канун торжества, вся семья в сборе. И даже брат Коля. Три года не виделись, хоть и в одном городе. Он по командировкам, у нее — свои дела. Баба Груня с удовольствием оглядела стол. Исправным рядочком выстроились прозрачные бутылки. Золотистые береты, игриво сдвинутые на бочок, заражали хмельным духом. Тремя кострами пламенел морс в графинах. Женщина подмигнула сама себе, расставляя закуски. Дочка с подругой суетились тут же. Здорово, когда праздник и всего вдоволь!

Коля с Иваном Петровичем толковали в уголке дивана о чем-то своем. Долетали отдельные фразы:

— Она, видишь ли, на людей хороших нагляделась... В техникум решила поступить.

Неожиданно баба Груня засмеялась. Колины уши двумя разваренными пельменями вздрагивали согласно с головой.

— И стирай, и мусор выноси, и по очередям околачивайся... Какого черта женился, спрашивается...

Тут уж баба Груня не выдержала:

— А ну-ка, мужчины, обиды в сторону! За стол, за стол!.. Валюшка, — обернулась она к дочери, — переключи телевизор на первую программу...

Три стопки проскочили с ветерком.

Слегка захмелевшая баба Груня шутливо упрекала брата:

— Что же ты, Колюня, с цветным телевизором не поздравил нас?

Тот удивился своей рассеянности.

В этот момент экран вспыхнул весенней зеленью. Обозначились четкие стволы берез, уплывающие вдаль.

Чей-то нежный, волнующий голос словно родился из листьев:

Кого-то в рощу заманила,
Кого-то в поле увела...

Завороженная песней, скользила по шелковому небу журавлиная стая.

Сначала с крупную фасолину, потом все больше и больше приближалась к зрителям женская спина с алой, как маки, косынкой на плечах. Ослепительная корона из солнечных лучей украсила светловолосую голову. И тотчас зыбкие радужные круги заплясали по экрану. Женщина обернулась. Баба Груня вскрикнула. Шелестящий шепот заметался по комнате:

— Надо же, надо же...

Взмахнув руками, баба Груня выскочила на лестничную площадку, на ходу соображая, в чью квартиру вначале ринуться. Соседей справа и слева не оказалось дома. Этажом выше, у Валерии Петровны, как всегда, — не заперто.

Ни о чем не подозревая, женщина в аккуратном беленьком переднике фаршировала щуку. И, по всей видимости, мечтала о чем-то возвышенном. По крайней мере, ее ладонь-лодочка слишком долго мяла порцию фарша, а глаза приковывались к проводам за окном. Естественно, Валерия Петровна вздрогнула, внезапно заметив перед собой загадочную подругу.

— Что?.. Что случилось?..

— Ко мне скорей... — только и могла выдать баба Груня.

Так с фаршем в ладошке Валерия Петровна и побежала. А баба Груня ломилась уже в другие двери.

Через несколько минут больше десятка заинтересованных жильцов протискивались в ее квартиру. Торопясь, она рассадилла всех и молча указала на телевизор.

— Продолжаем нашу передачу «Романтика труда»...

Подруги всколыхнулись единым вздохом — на экране красовался в полный рост недавний Зойкин гость — Фантомас.

За его спиной сгрудились железнодорожные составы.

— Сегодня мы говорим о человеке, чье имя вызывает гордость и улыбку, улыбку добрую, благодарную... Много писем приходит на адрес депо от пассажиров...

Некоторые из соседей, насильно оторванные от домашних дел, ерзали, не понимая, чего ради волнение.

— А душевная щедрость, неиссякаемый юмор для Зои Васильевны Маломальской...

Наслаждаясь эффектом, ликующая баба Груня оглядела своих гостей.

— ...в обычных трудовых буднях...

Фантомас глянул куда-то вбок, и мигом к нему придвинули Зойку в полосатом платочке и комбинезоне. Не смея дыхнуть, она стояла руки по швам. Крупные капли пота усеяли нос.

— В жизни Зои Васильевны большой праздник. К Всесоюзному дню железнодорожника она награждена орденом Трудового Красного Знамени...

Баба Груня охнула и сорвалась с места.

— Я-то... скаженная... ее... ее... саму и не позвала...

Скоро она торжественно подталкивала впереди себя виновницу переполоха. Соседи почтительно потеснились на диване. А на экране перепачканная мазутом Зойка уже ныряла под составами, телом ощущая дрожь вагонов. И задержись, казалось, лишнюю секунду — сомнут колеса. Машинист отправляется строго по графику...

Тут уж баба Груня не вытерпела. Махнув своему Ивану Петровичу, приказала разворачивать стол, чтобы как следует, по-соседски поздравить Зойку с великой

наградой и одним махом опрокинуть неразбериху в отношениях.

И только уселись, молодо-лихая, в высоких сапожках и фуражке со звездой, словно вынырнула из веселой экранной зелени Зойка. Заигрывал с блестящей челкой ветер.

Не плачь, девчонка,
Пройдут дожди.
Солдат вернется,
Ты только жди...

Рабочие кадры сменила летняя эстрада. Зрители на скамьях, просто на траве, у деревьев.

— А в свободное от работы время...

Давно закончилась передача, а Зойка пела своим друзьям почти два часа без передышки. Тонким белым стволом волновалась шея. С правой стороны под нежной кожей ликующе билась голубая жилка.

ПОСЛЕ ОТБОЯ

Уже прошло по сухой утрямбованной дороге подразделение связи; уже отзвучали строевые песни; уже кончилась вечерняя поверка, и дневальный прокричал свое: «Приготовиться к отбою!»; уже отбежали в туалет солдаты, мелькая белыми нижними рубашками, и выкуривали на крыльце последние сигареты; уже разошлись по домам придирчивые старшины, а дежурные доложили дежурному по части капитану Сероштану о расходе личного состава; уже вторые дневальные кончили уборку и легли спать до смены в два часа ночи, а рядовой Хмелев еще только собирался приступить к работе.

Работы было много: завтра ожидали большое начальство, и Хмелеву надлежало написать гуашью пять новых плакатов для строевого плаца.

Хмелев любил работать ночью: никто тебя не дергает, не стоит над душой. Одиночество было ему необходимо. Днем он упускал время — почти физически ощущал, как оно проходит мимо, оставляя за собой тусклое пространство пустоты. Но вечером — вечером время становилось союзником, и Хмелев успевал сде-

дать очень много. Творчества тут, что и говорить, почти не было, и все-таки даже эта ремесленная работа приносила известное удовлетворение.

Вот уже несколько минут Хмелев стоял позади клуба, возле единственного окна своей мастерской. Мягкий, приглушенный свет белой ночи разливался повсюду, и над сопками, откуда веяло прохладными запахами травы и мха, низко висело бледно сияющее солнце.

В такие ночи ему особенно хорошо работалось, но сейчас он думал о другом — о том, что сможет наконец беспрепятственно позвонить ей. Их знакомство уже вышло из стадии вопросов и ответов, но в отношениях оставалась какая-то неясность — источник постоянного беспокойства Хмелева. Вечером он бегал выяснять, кто из писарей дежурит по штабу. Однако звонить оттуда было неудобно: на людях он просто не мог бы с ней разговаривать.

Больше всего Хмелев рассчитывал на радиоузел, единоправное хозяйство Генки Азарова. Но тот, как назло, остался после отбоя в казарме и ключи, конечно, забрал с собой. Спору нет, он был добрым малым, но с пунктиком. Таким, наверно, и родился — с застывшей в глазах мукой недоверия к ближним.

Окошко радиоузла было по соседству с его собственным, и Хмелев решил на всякий случай заглянуть внутрь: при всей своей мнительности Азаров был удивительно рассеян.

Приставив ладони козырьком к стеклу, Хмелев внимательно осмотрел раму. Так и есть — окно не было закрыто. Хмелев даже присвистнул. Зацепив снизу створки, он сильно потянул их на себя — и они поддались, звякнув плохо закрепленными стеклами.

Изнутри пахло ацетоном и новыми кирзовыми сапогами, которые Генка вытащил из чемодана ввиду

демобилизации. Об этом говорила здесь и надпись «ДМБ-64», нацарапанная на боковой панели радиоприемника.

Хмелев посмотрел на телефон, оглянулся и нерешительно поднял трубку. Ему опять повезло: на коммутаторе сидел Васька Семин, его знакомый.

— Привет, Васьк! — сказал Хмелев.

— А... Хмель, привет!

— Как смена?

— Да так. Говорят все. Не поспишь.

— И с Амуром-один говорят?

— Вот только разъединяю...

— Послушай, Васьк, мне бы с Амуром-один тоже надо... Понимаешь?

— Понимаю, — невозмутимо сказал Васька Семин. — Только недолго, Хмель.

Слушая длинные гудки, Хмелев стал поправлять ворот гимнастерки.

— Амур-один, — неожиданно сказал девчоночий голос, и Хмелев, поспешно бросив: «Позовите, пожалуйста, Таню», — в следующее мгновение понял, что это она.

— Таня слушает, — с некоторым вызовом ответил тот же голос.

— Это я, Таня, узнаешь? — покраснев, сказал Хмелев.

— Узнаю, — улыбнулся голос. — Ты что так поздно звонишь? Все уже спят.

— Я чувствовал, что ты не спишь, — отважился сказать Хмелев, намекая на нечто такое сложное, что и ему самому не было еще понятно.

— Мне просто не хочется спать.

— А что ты делаешь?

— Смотрю в окно.

— Да? Здорово... На белую ночь?

- Ага.
- Ну и как она тебе?
- Ничего...

Хмелеву стало жарко. Он посмотрел на процарапанную в краске надпись «ДМБ-64» и, выставив пыльный носок сапога, остановился на нем глазами.

— А мне тут кучу работы накидали. Всю ночь буду малевать.

— Ничего, тебе полезно потрудиться.

Нет, этого Хмелев не ожидал. Разве она не давала ему понять, что он ей нравится, разве они не гуляли в сопках, и он не помогал ей прыгать с камней, и она не смеялась? И, наконец, разве не она как бы между прочим сказала, что он мог бы позвонить ей в общежитие? Ему казалось, что вот-вот порвется та неуловимая связь, которая совсем недавно установилась между ними, и он стал торопливо объяснять, что тоже ходил в наряды, и на командный пункт, — в общем, знает, почему фунт лиха.

Трубка безмолвствовала, и это безмолвие стало казаться ему угрожающим. Хмелев внезапно остановился и почти с отчаянием воскликнул:

— Ну что ты, Танюш?!

— Ничего, я слушаю.

— Тебе, наверно, скучно? — спросил он, вцепившись в трубку обеими руками.

— Совсем нет.

— Давай говорить о другом?

— О чем?

— О чем ты хочешь? — обрадовался он.

— Я-а... — протянула Таня понимающе, как будто разглядывала его сквозь увеличительное стекло, — я...

Хмелева так и подмывало подсказать эдак снисходительно: «О любви», но вместо этого он выпалил: «О природе» — и поспешно добавил:

— Колоссально здесь летом. Третий год служу — и все не привыкнуть.

— Да, Алеша, здесь просто замечательно. Мне даже больно.

— Я понимаю, — озадаченно сказал Хмелев, и тут же спросил:

— Это ничего, что я позвонил?

— Это хорошо, — сказала она.

Хмелев оживился, заговорил складно, даже с юмором. Единственное, о чем он теперь заботился, — это чтобы ей ни на секунду не стало скучно.

— Ты видишь сопки? — спросил он.

— Вижу, а что? — поинтересовалась она.

— Знаешь, — сказал он, — я сейчас пойду туда. Представляешь? По траве. Наберу ягод, а потом к тому озеру...

Она не дала ему закончить:

— Нет, не ходи. Пожалуйста, не ходи туда без меня!

Хмелев молчал. Ему казалось, стоит заговорить — и музыка, которая теперь звучала в нем, прекратится.

— Так ты не пойдешь? — беспокойно выпрашивала она, тщетно пытаясь придать голосу нотку требовательности.

Ну куда бы он сейчас пошел? А работа? Да и что там прекрасного? Холодно, сыро... Но Хмелев, будто уступая, отвечал, что, пожалуй, не пойдет.

— Честно не пойдешь?

— Честно.

Он стоял около полураскрытого окна, а вокруг было прозрачно и необыкновенно ясно. На аэродроме, где-то за волнами сопок, заговорили реактивные двигатели самолетов. Хмелев повернулся, чтобы видны были сопки, облокотился на подоконник и неожиданно заметил на тропинке недалеко от себя лягушку. Она сделала

прыжок и замерла, словно раздумывая, стоит ли делать следующий.

— Ты знаешь, я уже не один, — сказал он.

— Да? А кто там?

— Лягушка.

— Лягушка? — протянула Таня так, словно старалась представить ее. — Ну, только ты ее не трогай.

— По-моему, она очень устала. Еле ползет. Такая одинокая.

— Нет, — не сразу сказала Таня. — Это лягушка-мама. Она прыгает к своей семье.

— Это старая дева, — настаивал Хмелев.

— Алеха... — просительно сказала Таня, называя его так в первый раз, и внутри у Хмелева стало как на выставке — холодно и светло. И чтобы это не исчезло, он добавил:

— Это просто одинокая старая дева.

Давно ли он ходил на командный пункт и после полетов, когда работа фактически прекращалась, сидел, не снимая наушников, с книгой, в то время как другие начинали по гарнитуре свои долгие разговоры с девчонками-телеграфистками на главном посту; и он остро завидовал своим приятелям и той легкости, с которой они кидались в сложные телефонные интриги. Он помнил, как однажды на ночном дежурстве в его наушниках возник молодой женский голос, и, может быть, впервые в жизни Хмелев услышал, как говорит женщина. Голос несколько раз назвал чужое имя — сначала радостно, потом удивленно и, осознав ошибку, засмеялся, тут же пропал, а Хмелеву еще долго было больно и хотелось уйти от всех, и думать о чем-то особенном, и чего-то ждать.

Теперь и у них в части появились девчонки. В отличие от тех, гражданских, они тоже носили форму, стояли рядом на разводе по утрам, иногда даже занима-

лись строевой. Многое стало меняться, когда они приехали. Солдаты подтянулись, военный городок ожил, а в клубе по субботам было не протолкнуться. И он, Хмелев, поглядывая в окно на густую вечернюю синеву, торопливо прищипывал свежий подворотничок, еще раз чистил зубы и с чувством, что все в нем обрывается и летит, мчался в клуб, где играл духовой оркестр.

И вот они уже говорили о том, как дома под лягушкой ждут дети.

— А отец у них есть? — спрашивала Таня.

— Конечно, есть, — отвечал Хмелев, — только он уехал в отпуск, на дальнее болото.

— А он хоть скучает по ней?

— Еще как! Им просто невыносимо в разлуке, и они пишут друг другу письма.

— А ты мне будешь писать?

— Каждый день.

— Нет, я знаю, ты приедешь домой и все забудешь.

Две недели — это так много. Это прямо год целый.

Гулы самолетов на аэродроме становились все полнее и раскатистей, а здесь неподвижно стояла высокая, будто промытая дождем трава, и тропинка была снова пустой. Куда лягушка исчезла? Казалось, она целую вечность будет пробираться к себе.

— Она еще там? — поинтересовалась Таня.

— Да, — сказал Хмелев и поискал ее глазами. Ему почему-то стало грустно.

— Ой, Алеха! — глубоко вздыхая в трубке, продолжал Танин голос. — Понимаешь, отсюда все так видно. Жаль, что ты не видишь. Это так исключительно, просто потрясающе!

Небольшое общежитие, где жила Таня, находилось неподалеку от части, на склоне высокой сопки. Оттуда, как с высоты птичьего полета, открывался городок, рассыпавшийся вокруг обширной котловины.

— А ты видишь наш дом? — спрашивала Таня. — Нет? Ну, ты посмотри.

Хмелев положил трубку на край стола и отбежал к углу клуба. Он сразу нашел этот дом — раньше там помещалась радиорелейная станция. Все пространство вокруг было насыщено лимонно-золотым, прохладным светом, и сама сопка, казалось, парила в долгих лучах, медленно скользящих вдоль холмистого горизонта.

По стуку в трубке Таня догадалась, что Хмелев вернулся, и сразу спросила:

— Ну, видел?

— Да, здорово.

— А ты видишь самолет? Вон он пролетает. Сейчас ты его увидишь: он так блестит, что невозможно смотреть. Видишь?

С запада появился серебряный гигант с выпущенными шасси. Несколько мгновений он приближался беззвучно, и вдруг возникло ликующее пение его турбин. Он проплыл над клубом своим распростертым сияющим корпусом и, сразу уменьшившись, скрылся за гребнем сопки, а Таня уже заметила следующий и велела Хмелеву любоваться им. И потом еще несколько самолетов прошли на аэродром, неуловимо теряя высоту и приближаясь к земле осторожно протянутыми шасси...

Хмелев и Таня говорили долго. Он слышал, как к столовой приехала машина, как там разгружали хлеб, даже уловил запах его. Потом в роту пробежал дневальный, держа под мышками пару белых буханок.

Наконец Хмелев положил горячую трубку, отодвинул вглубь телефон и закрыл окно. Несколько минут он стоял неподвижно и улыбался. Ему было легко, спать совсем не хотелось, и только тяжесть в веках говорила о том, что уже далеко за полночь. Изумрудно

светились сопки, расточая дурманный запах, где-то за ними не прекращался органно перекатывающийся на низах гул самолетов.

На территории военного городка было пусто. Распахнув дверь в мастерскую, Хмелев жадно вдохнул ее душную полутьму, насыщенную запахом красок и растворителей, постучал ногтем по бело мерцающим холстам на подрамниках, подхватил с пола чайник и засохшие кисти и, с восторгом думая, что все хорошо, даже отлично, побежал на кухню за водой.

ДОМА

Пыля и западая то одним, то другим колесом в глубокие колеи, автобус выбрался на проселок и покатил вдоль тенистого коридора лип и кленов. Сейчас будет спуск, и вдалеке откроются крыши ее деревни на фоне сине-зеленой полосы леса. И когда увидела, сердце уже не отпускало, — казалось, что и дом ее виден, если только отец не перестелил крышу (все мечтал шифером покрыть), дом и огромный соседский тополь, и высокое старое дерево с обрубленной верхушкой перед въездом в деревню.

На остановке вышли только они двое. Возле поля, мелко и остро поблескивающего стерней, паслись коровы. Кто-то поднялся с травы и неподвижно смотрел сюда, держа руку козырьком над глазами. Чтобы сократить путь, они шли по широкому выгону вдоль длинных аккуратно высланных дорожек сохнувшего льна. Когда-то она помогала матери сушить лен. Она вспомнила изумрудный, словно теплое море на отмелях, цвет молодого льна, и ее кольнуло сожаление, что не приехала раньше, что лето почти прошло, а вместе с летом столько уже прошло и переменялось без нее. Вот и старая липа, где на самом верху на тележном колесе

каждый год выют себе гнездо аисты. Аисты были одним из чудес детства. Однажды один из аистов сел на электрические провода, и его убило током. Маленький, с огромными крыльями, он лежал на земле, неестественно вывернув ноги. С тех пор всякая смерть вызывала в памяти эту лежащую навзничь птицу.

Их приветствовали почти из каждого двора, а тетка ее, сестра отца, увидев их, заметалась за оградой, запричитала, что дома нема никого, знали бы, не ушли никуда, что ждут их завтра, как в письме сообщалось. «Ах ты, господи, — повторяла она, — да я зараз сбегаю за ними».

— Не нужно, — улыбаясь, говорила Марина.

— Ну як же не нужно, дети рѳдные приехали! — И, слушая ее, нельзя было понять, горе это или радость, что приехали.

Ключ Марина нашла под крыльцом. На маленькой, душной и залитой солнцем веранде одурело гудели мухи, а в сенях было темно, прохладно, и от родного покойного домашнего запаха у нее подступил комок к горлу. Бросили вещи на кухне и вошли в комнату. Все было так же, как год и как шесть лет назад, когда она уехала отсюда, — те же вышитые крестом ее розы в застекленных рамках, тот же писанный рыночным художником пейзаж на синем линолеуме (Юрий в первый свой приезд бесцеремонно восторгался пейзажем и мечтал забрать с собой. «Убожество как жанр — это уже направление», — посмеиваясь, говорил он), те же занавески и тот же тихий ненавязчивый негородской запах.

Первой, запыхавшись, вернулась мать и, светлея лицом, смущенно протянула Юрию прямую ладонь. Мать постарела, но только на одно мгновение, после которого она стала такой же, как всегда. Пришел отец, и начали накрывать на стол. Когда накрыли и Юрий откупорил бутылку муската, появилась тетка. На стол она

нарочно не смотрела, а только на молодых, готовая засиять или всхлипнуть, в зависимости от нужды. Тетке тоже налили, и по тому, как выпила она сладкий мускат, было видно, что не зйти она бы не смогла.

— Как? — спросил после первой отец и, вежливо приподняв бутылку, посмотрел на Юрия. — А то можно нашего домашнего отведасть...

— Давайте уж эту, — кивнул, улыбаясь, Юрий.

— Смотри, напьешься, — сказала Марина.

— Да нехай выпьет, — сказала мать. — Чего тут пить. — И Марина взглянула на мужа — не обиделся ли.

После выпивки и еды Юрий пошел полежать и тут же заснул, уронив на пол книгу, мать принялась убирать со стола, а отец сказал, что нужно словить петуха, и вышел. Жара убавилась, и в воздухе еще сильнее встали запахи разогретой земли и листьев. Марина спустилась с крыльца, любовно задерживаясь на каждой ступеньке, и направилась в сад.

Солнце уже было за садом, тут и там оно просвечивало листву яркими зелеными пятнами, а яблоки против него были черными шарами и висели так напряженно, что, казалось, вот-вот тяжело разбомбят землю. Сад был совсем как в детстве, только прежде под деревьями был большой огород, а теперь одна картошка росла. Под кронами погуще ботва была высокой и редкой.

Она прошла сквозь сад к сливовым деревьям, сорвала несколько крупных теплых слив, полюбовалась светло-лиловым налетом на них. Сливы были упругими, спелыми, сочными, косточки легко отделялись от мякоти и не скользили под пальцами. Скользкими косточками хорошо было стрелять. За садом начиналось поле, убранное и слепящее золотистым блеском. Оно выпукло простиралось до самого леса, обрезая его по кончики елей, и на возвышении сизо маячил огромный

стог. Казалось, он только что возник здесь и, словно на исходе своего разбега, вот-вот тяжело подымется в воздух. Она решила, что завтра обязательно сходит к нему. Можно будет и Юрия взять, если Юрий захочет, и оттого, что все впереди — и завтра, и послезавтра, и еще много-много дней, — она почувствовала себя счастливой.

Позади на дворе разом заклохотали куры, и она пошла к дому, держа большое надкушенное яблоко, белый налив. Только что сорванный белый налив имел совсем иной вкус, чем полежавший. В нем не было вялой, томной податливости — он был острее, душистей и отдавал газированной крепостью. Когда она закрыла за собой садовую калитку, петух был уже пойман — он беспокойно выдергивался из рук отца. Отец ухватил его одной рукой за шею и, держа на весу, отчего шея длинно вытянулась, несколько раз крутанул петуха в воздухе. Петух перестал биться, крылья обвисли, и отец бросил его на крыльцо. Петух мертво и плоско лежал на боку. Когда она боязливо ступила рядом на крыльцо, петух вдруг открыл глаза и строго посмотрел на нее, будто просил не выдавать тайну, что он жив. В следующий момент глаз закрылся, и петух умер.

Если бы мы не приезжали, он бы жил, подумала она. Петуха убили из-за них, даже не из-за нее — из-за Юрия. Когда-то он наивно спросил за столом: «А что, масла нет?» После обеда ее отец вывел из сарая велосипед и покатил в поселок в магазин. С тех пор на столе всегда было масло.

— Ощиплешь, дочка? — спросил отец.

— Лучше вы сами, — сказала она, обходя петуха. — Может, не надо было убивать?

— А... — небрежно махнул рукой отец и с сомнением еще раз посмотрел на петуха. — Орун был боль-

шой. Хоть тихо теперь будет. Ты картошки накопиай. Мать сварит.

В саду этим летом картошку еще не брали, и ей было жалко разрушать законченный порядок рядов. На каждом вытащенном ею кусте было много клубней. Она осторожно, чтобы не оборвать, встряхивала их и, чувствуя их приятную маятниковую тяжесть, бросала рядом на траву. Каждый новый куст она бросала так, чтобы клубни не бились об уже лежащие. Она убрала весь ряд и, оглянувшись на чуть присыпанную землей грядку ботвы и картошки, взяла тляпку. В глубине еще остались тяжелые картофелины. Несколько штук она разбила и виновато доставала выпачканные в земле свежие дольки.

Поддерживая у груди согнутую руку, на которой висела корзина с картошкой, она вышла из сада. На крыльце стоял Юрий. Вид у него был неважный; лицо припухло от тяжелого дневного сна.

— Давай помогу, — сказал он и вяло махнул рукой.

— Я сама, — сказала она, ревниво уклоняясь с корзиной от его руки.

— Как хочешь, — сказал он, и она почувствовала раздражение.

— Лучше принеси воды, — сказала она, чтобы не сказать чего-то другого, просящегося наружу.

— А ведра где? — сторонясь, чтобы пропустить ее, спросил он.

— Где всегда, — укоризненно обернулась она, радуясь поводу упрекнуть его за то, что он никогда не пытался стать в ее доме больше, чем просто случайным гостем. Он и с родителями оставался в вежливо-официальных отношениях — это его вполне устраивало. Он всегда скисал здесь, не знал, чем заняться, слонялся или лежал на диване, почитывая всякую ерунду, а по вечерам с унылым упорством просиживал перед

телевизором. Все здесь было не в его вкусе, даже подушка, которую он, ворочаясь, долго уминал перед сном, — подушка была слишком высокой.

В первые приезды ее обескураживало его тихое ворчание, каждую минуту она старалась предугадать, что ему может не понравиться. Потом махнула рукой. Старые ссоры, полузабытые обиды оживали и трудно шевелились в ней. Она долго не понимала, почему в деревне у них с Юрием ухудшались отношения, теперь ей стало ясно: здесь она невольно выходила из подчинения. То, что окружало ее здесь, было не с Юрием, а с ней заодно.

Ужин получился обильным и тяжелым, как извинение за поспешный скудный обед. Отец снова порывался наливать Юрию, но Юрий на этот раз отказался. Солнце уже стояло низко и било прямо в кухонное окно, отпечатывая на известковой печи лимонный квадрат света, перечеркнутый оконным переплетом. Ей не хотелось сидеть за столом — хотелось выбежать во двор, в сад и посмотреть, как садится солнце и как пылают прикоснувшиеся к нему верхушки далеких деревьев.

Отец заговаривал с Юрием о политике, словно стараясь обратить в дело познания зятя — Юрий был экономистом, — но тот отвечал скучно, как человек, которому наперед все ясно.

— Да нет, ты постой, — хватая Юрия за колено, воодушевлялся отец. — Взять, к примеру, нашу деревню. Деньжонки у людей позавелись. Во всех домах телевизоры, а есть дураки, дак те еще и холодильники купляют.

— И что будет, когда все купят? — говорил Юрий, и она видела, что его угнетает фамильярность отца.

— Вы, молодые, легко судите, — сдержанно кипятился отец. Он любил такие разговоры.

— Да хватит, опять вы, папа, за свое, — сказала она, встала и вышла из-за стола. Ей было неловко за отца, но сердилась она на Юрия.

После кухни в комнате было свежо и прохладно, за раскрытыми окнами шевелились листья хмеля и доносился звук гармошки. Смешно, но когда-то она и сама играла на гармошке, играла украдкой, забравшись на чердак или в сад, пока ее взрослый брат — теперь он морячит на Дальнем Востоке — пропадал у своей любви. Брат смеялся над ней и отнимал гармошку, но ее тянуло играть — музыка была продолжением ее тогдашней тревоги, ее смутных надежд, ее предчувствия, что кроме ее жизни есть другая, настоящая жизнь. Последний год в деревне она жила, как в чаду, — особенно невыносимы были медленные летние вечера, когда окрестность проступала в мельчайших подробностях, а воздух становился глубоким и чутким к каждому звуку. Все это отождествлялось с тем, какой она представляла себе любовь, и она молча плакала, ей хотелось умереть.

В детстве они ходили играть в молодой осенний ольшаник. Девочки вили большие гнезда на деревьях и сидели в них, как птицы. А понизу к ним бежали мальчишки с расставленными, как крылья, руками. У нее тоже был мальчик, и они сидели вместе в гнезде, касаясь друг друга, и уже в самом прикосновении этом была какая-то чудесная тайна. Все, что узнала она потом о любви, не шло ни в какое сравнение с тем, что чувствовала она тогда, сидя в гнезде из ольховых веток и испуганно подавая голос.

Гармошка играла уверенно, с каким-то вызовом, и вспоминалось, как бегала она когда-то на танцы в соседнее село, где был клуб. Она бежала через вечернее поле, которое настороженно обступал лес, слыша музыку и чувствуя, что там, вдалеке, и скрыто главное,

о котором давно догадывалась она, и оно откроется ей — надо только успеть.

Темнело быстро и, когда она, свернув с деревенской улицы, стала спускаться мимо колхозного сада к речке, были уже сумерки.

— Да зачем тебе надрываться, я и сама прополощу, — останавливала ее мать, затеявшая стирку после ужина. — Ну куда ж ты, темень на дворе.

— Я пойду с Мариной, — сказал Юрий, и они пошли вдвоем. Ей было приятно, что Юрий сказал так при матери. Он не был ревнивым, теоретически он позволял ей все, хотя она чувствовала бы себя уверенней, если бы он запрещал. Предоставляя ей свободу, он предполагал такую же свободу для себя и праведно возмущался, когда у них из-за этого вспыхивали ссоры. Но сейчас в его голосе ей явно слышалась нотка ревности. К чему? Бог знает, может, к тому, что она обходится и без него, может, даже к речушке, которую она любит независимо от того, есть он или нет. Ведь его всегда настораживало проявление независимости в ней.

Он шел молчаливый, озадаченный. Как это странно: чтобы тебя любили, нужно причинять боль. Она так устала от этого. Он всегда был верен своим недостаткам, словно только благодаря им можно отстаивать себя.

Речушка была почти незаметна в зарослях тростника, только в одном месте тростник был вытопан и с берега на берег положены толстые доски, навсегда вросшие в черную влажную землю. Днем на болотце на той стороне прилетали аисты и вышагивали, кивая головой, — как бы примериваясь к добыче. А вечером было много комаров, только теперь, когда стало прохладнее, они не так досаждали.

— Ой, что это? — вздрогнула она, увидев впереди у самого тростника смутное белое пятно. Юрий сделал

шаг вперед, и за ним она почти вплотную подошла к тому, что белелось на земле.

— Петух! — испуганно догадалась она. — Это отец петуха ощиывал... Пойдем подальше, — сказала она, с трудом отводя взгляд от горки теплых перьев. — Тут где-то должен быть большой камень, там даже удобнее.

Она полоскала с камня белье, а Юрий стоял рядом и, помахивая ивовой веткой, отгонял комаров. Окрест совсем стемнело, но в той стороне, откуда они пришли, за грудями деревьев глухого колхозного сада еще стоял бледно-оранжево закат, и было видно, как пошевеливаются на взгорке черные листья яблонь. По-прежнему на краю деревни играла гармошка. Там, наверное, танцевали на траве, но ей казалось, что тот, кто играет, обращается только к ней, словно что-то знает про нее.

— Как странно, — подняла она голову, — мы в темноте, а там светло.

Юрий обернулся, посмотрел и ничего не ответил. Вблизи раздался быстро нарастающий рокот мотора, и из-за деревьев, застывших освещенный горизонт, вынырнул маленький самолет-биплан. Он был так низко, словно только-только взлетел с поля на той стороне дороги. Самолет был залит оранжевым светом, и пилот, будто зная, что он последний свидетель заката, прямо над ними вздернул нос самолета и стал набирать высоту.

— Наверно, он сейчас счастлив, — сказала она.

— Летчик?

— Да.

— Немного ему надо.

— А тебе?

— Мне? По мне, можно обойтись и без счастья.

— И давно ты стал так думать? — спросила она, чувствуя себя уязвленной.

— Ты тоже к этому придешь.

— С тобой?

— Даже без меня.

— Грустная история, — сказала она. — Хочешь, я тебе расскажу веселую?

— Расскажи, — усмехнулся он.

Мгновенье она боролась с призраком ссоры и, глубоко вздохнув, сказала:

— Ну, так слушай. Я была маленькая, и у нас был петух. Не такой, как этот. Настоящий петух — большой, красивый, белый. Самый красивый во всей деревне. Однажды отец сказал — давайте его убьем. Не знаю, зачем, но он так сказал. Мы открыли дверь в избу, чтобы заманить петуха, — на дворе бы его не поймать. У нас еще пол был земляной, и в сенях колода стояла, там отец дрова колот. Отец сказал: мы ему отрубим голову. Мы все еще в сенях были, и вдруг петух сам зашел. Раньше он никогда не заходил. Он зашел и посмотрел на нас, а потом на колоду. Он обошел вокруг этой колоды и так гордо зашагал обратно к дверям. И ушел. А мы смотрели на него, и никто из нас не пошевелился. Даже отец. Мы его так и не тронули — ни тогда, ни потом.

Она замолчала, окунула в темную холодную гладь речки полотенце и, подняв его, следила, как, высвобождаясь, падают обратно струи воды. Звук был чистый и гулкий.

— Что же из этого следует? — спросил Юрий.

— Ровно ничего, — покачала она головой, выжала полотенце и бросила в таз.

— Ну ладно, — устало сказал Юрий. — Давай я тебе помогу. — И наклонился, чтобы поднять таз с бэльем.

— Не надо, — сказала она.

Она поднималась мимо неровной стены неподвижного сада, было тихо, гармошка молчала, и горизонт

теперь был пуст и темен. Выпавшая роса холодом обжигала ноги, было знобко и особенным теплом светили сквозь деревья окна изб. Она подумала, как хорошо сейчас дома, и пошла быстрее. Юрий шел следом. Она слышала его шаги, даже дыхание, затрудненное дыхание невысказавшегося человека. Обиделся, заключила она, с удивлением отмечая, что нет в ней больше раздражения против него, нет потребности защищаться. Она испытывала к нему нежность и жалость. Господи, как глупо все, что мы делаем, думала она. Ей захотелось остановиться и сказать что-то Юрию, и тогда все станет просто. Она чувствовала, что именно ей дано сделать все простым и ясным. И, чтобы не уступить так сразу этому чувству, не обернуться, она еще, молча улыбаясь, заставила себя дойти до дороги.

РАВНОВЕСИЕ

После ухода Григория Клавдия встала с кровати и подошла к зеркалу. Пол был холодный, и она старалась ступать по узенькой самотканой дорожке. Вглядевшись в отражение, коснулась пальцами смуглых щек, провела рукой по невысокому лбу и убрала темную грядь.

«И за что он тебя любит? Уж только не за твою красоту, — подумала она. — Впрочем, не всех любят лишь за красоту. Если любить только красивых, так выходи на улицу, а там что ни шаг — красавица... К чему я это? К тому, наверно, что есть еще другие достоинства... Да, все так. Но за что он тебя любит?»

Она отошла от зеркала и стала одеваться. Блузка была новой, и пуговицы с трудом пролезали в петли. Застегнув их, посмотрела на пальцы — там остались глубокие вмятины.

Юбку надевала, как брюки, одной рукой держась за спинку кровати, чтобы не потерять равновесия. Вспомнила, как быстро и тщательно одевается Григорий. Брюки надевает сидя на стуле, поэтому ему не приходится скакать на одной ноге.

Каждый одевается по-своему; когда-то ее муж одевался стоя на кровати. Надевал все, даже носки. И только после этого спускал ноги на пол.

Она взглянула на часы. До прихода сына оставалось еще много времени, можно было не торопиться. Нужно лишь разогреть обед и вскипятить молоко.

Клавдия долго расправляла чулки на ногах и долго всматривалась, на месте ли шов. Ноги были тоже смуглые и почти красивые. Почти — потому что до совершенства им недоставало может быть чуточку изящества. Они были очень прямые. Им нужно бы чуточку кривизны. Она знала это.

«Не в ногах дело, — подумала она. — Есть вещи гораздо важнее... А какие?»

Вот тут и начинала спотыкаться ее мысль, потому что какие вещи важнее всего, она не знала. Не знала, почему не совсем удачно сложилась ее жизнь. Почему другие женщины живут счастливее, умнее, чем она? И семьи у них хорошие, и мужья их любят... Она присматривалась к этим женщинам, прислушивалась к их разговорам — ничего особенного, обыкновенные люди, а вот в семьях порядка больше.

«Может, таланта какого-нибудь особенного у меня нет? Или все дело в сыне? Ведь я смогла отказаться от мужа, не думать о нем. А сын не может забыть отца... Вот сейчас придет домой и спросит: «Папа не приходил?» И, как всегда, первой мыслью будет ответить: «Был, интересовался, как твои успехи, обрадовался, что у тебя с учебой ладится...» Так и скажу сегодня, пусть хорошо относится к отцу. Для меня он только бывший муж, а для него на всю жизнь — отец... Так и скажу...»

Одевшись, Клавдия вышла на кухню. Здесь пахло газом и подгоревшей картошкой. Над плитой склонился Андрей Иванович, сосед. Он взял эмалированную чашку с гречневой кашей и переставил на стол.

— Здравствуйте, Андрей Иванович! — сказала Клавдия.

— Привет, соседка! — ответил он, чуть повернув голову.

— Почему газом пахнет? Надо окно открыть, а то еще и взорваться можем.

— Да, да, я сейчас, — быстро сказал Андрей Иванович.

Он был хорошим человеком, но одна черта в его характере порой раздражала Клавдию — вечно он чего-то боялся. Пожара и мороза, болезней и темноты. Клавдия знала, что во время войны он был сильно контужен. Но все равно не могла смириться, чтобы мужчина, да еще такой сильный, мог чего-либо бояться.

Когда его спрашивали, отчего он такой пугливый, Андрей Иванович усмехался и отшучивался: «Кто ж его знает?.. Может, оттого, что я незаконнорожденный. Видно, матушке моей боязно было меня без мужа на свет выпускать».

И самым невероятным было то, что однажды Андрей Иванович вступился на улице за девушку. Он работал вагоновожатым трамвая и как-то ночью во время очередного рейса увидел, как здоровенный детина хлещет по щекам девочку-подростка. А поодаль стоят, по всей вероятности, его дружки.

Андрей Иванович остановил трамвай на полпути к остановке, выскочил на улицу, подбежал к парню и толкнул его так, что он отлетел к своим дружкам. А потом взял девушку за руку и повел в свой трамвай. Довез ее до кольца, а на обратном пути, когда улица была уже пустынной, посадил возле ее дома. Да еще сказал: «Иди, не бойся. Будет обижать, мне скажи. Я теперь не так с ним поговорю».

Андрей Иванович многим рассказывал об этом случае, а Клавдии даже несколько раз. Но она видела, что этот поступок ничего не изменил в его характере, и

усомнилась, был ли вообще у него такой случай. Может, и не было, и он рассказывал это о ком-нибудь из своих товарищей.

Андрей Иванович взобрался на подоконник и потянулся к форточке.

— Осторожно, сосед, подоконник старый, как бы не обломился.

— Ничего, на наш век хватит, — говорил он, открывая форточку. Но тут же повернул голову и спросил: — А мы не простудимся?

— Нет, Андрей Иванович, не думаю. На улице не так уж холодно, дело к весне идет. Чаще всего люди простуживаются там, где меньше всего ожидают.

— Все от солнца зависит, — сказал Андрей Иванович, слезая на пол, — на кого оно как посмотрит. Недавно в моем трамвае какой-то студент оставил книжку по астрономии. Так я там прочитал, что наша Земля получает всего одну двухмиллиардную долю солнечного тепла. Это вся-то Земля! А представляете, Клава, сколько получает каждый из нас? Такой, наверно, мизерной величины и в природе не существует.

— Не хотите же вы сказать, что простуда от солнца?

— Все от солнца. И простуда. И радость и горе — тоже от солнца. И всего поровну. Потому что радость от него не только для нас, но и для болезни, которая загоняет нас в могилу... — Он как бы задумался и тихо добавил: — Вот почему недостающее тепло должны давать сами люди. Этого-то тепла микробы страх как боятся.

Клавдия посмотрела на соседа и смутилась. Отвернулась к плите и стала выливать в кастрюльку из бутылки молоко.

Очень давно, когда ушел от нее муж, Андрей Иванович попытался было ухаживать. Истории всякие рассказывал, шутил, молодился, в кино приглашал, сыну

обувь чинил. А однажды, когда сын в лесной школе был, с вином заявился. Она долго не решалась остановить его, но тут не выдержала и сказала:

— Оставьте, Андрей Иванович. Относитесь, пожалуйста, ко мне как к дочери, и не больше. Так будет лучше для нас обоих.

Обиделся. Ушел. Но все на этом и кончилось. Он больше никогда не тревожил ее ухаживаниями. И она была благодарна ему за это.

А теперь ей показалось, что он принялся за старое.

Андрей Иванович отошел подальше от окна и спросил:

— Как сын ваш?

— Спасибо, хорошо. Полгода ему учиться осталось. Им уже о дипломной работе говорят, дело серьезное, нужно заранее готовиться. Боюсь я за него, сама никаких училищ не кончала, трудно, поди, эту дипломную работу делать?

— Кому-нибудь, может, и трудно, а он парень толковый. Окончит училище, работать пойдет. Специальность у него хорошая, слесаря сейчас много зарабатывают. И вам подмога будет.

Клавдия взглянула на соседа и, благодарная за хорошие слова, опустила голову.

Когда спрашивали о сыне, она часто терялась и не знала, что ответить. Ей трудно было говорить о нем; казалось, начини хвалить она сына, и это будет неправдой, начини жалеть, и это будет еще большей неправдой. Он воспитывался без отца, и это внушало ей мысль о том, что растет ее сын не так, как другие, что ему не хватает именно той половины, которую она при всем старании не могла дать. Иногда она думала о том, что будь на месте сына дочка, было бы легче. Она бы знала, как и о чем с ней разговаривать, как воспитывать ее, чтобы та не чувствовала себя обделенной.

Но никогда и никому Клавдия не говорила об этом. Она не могла жалеть его на людях, потому что случилось бы так, что люди жалели бы и сына и ее. А ей не нужна была жалость, она не собиралась сводить счеты с судьбой.

Чтобы не продолжать разговор о сыне, но и не пребывать в тягостном молчании, Клавдия спросила:

— Андрей Иванович, сколько вам лет?

Она заметила, как Андрей Иванович быстро взглянул на нее, как бы испугавшись, опустил глаза и подошел к плите.

— Много, Клава, пятьдесят четыре. А по жизни — и того больше. Но это еще не старость. Я только что перешагнул третий барьер... Это я для себя так придумал — разделил жизнь на четыре барьера. Первый — в двадцать лет. К нему я прилетел в самолете на жуткой скорости, так что и заметить ничего не успел. Потому что еще мало чего смыслил, мало что помнил...

Клавдия прислушалась и вдруг почувствовала необходимость узнать что-нибудь такое, что ответило бы и на ее вопросы.

— А что может помнить двадцатилетний? Ни обиды, ни радости у него настоящей не было, да и сделать еще ничего не успел. Так лишь, перелет на самолете из пункта «А» в пункт «Б».

Уже ко второму барьеру, к тридцати пяти, человек приезжает в трамвае. В руках — опыт, а в голове — память. И он часто возвращается к тому, что с ним было не только после первого барьера, но еще и тогда, когда летел в самолете. И находит, что жизнь до двадцати лет была не такой уж стремительной. Остались чувства, тоска по детству. А в памяти по-прежнему живет первородный мир и первородные люди, увиденные глазами ребенка, — то, что он потом будет вспоминать всякий раз при слове «Родина».

«Да,— согласилась про себя Клавдия,— память сохраняет первородных людей. Разных, но именно первородных... Вот и я вспоминаю своих родителей: маму, говорившую о том, как тяжело свести концы с концами. Трудное было время, послевоенное. А все же сводила эти самые концы — не раздеты были, не разуты, и голодные не ходили... И папу, вечно в работе, в работе... Но зато если выпадали праздники — так что это было! Кругом все такое молодое, радостное. Хочется до всего дотронуться, погладить, подержать в руках, во всем раствориться или встать лицом к небу и застыть вот так навеки: слева сестра, справа брат, а сзади мама и папа. Играет музыка. Первое мая, и они идут на демонстрацию — слово-то какое нарядное и яркое — демонстрация... И шумит, смеется маленький городок Слуцк, что под Минском... Прав Андрей Иванович. И откуда он все это знает?»

— И вся любовь, какая была у человека до второго барьера, это еще, оказывается, не любовь, а только поиск любви. А сама любовь приходит позднее. И понимаешь, что хочешь не только чтобы тебя любили, но сам, сам хочешь любить... Вот к третьему барьеру человек уже не приезжает, а приходит. И приносит свое понимание жизни... Вы скажете, мало кто прислушивается к человеку, которому пятьдесят? Делают вид, что не прислушиваются, а на самом деле прямо-таки дышат тем, что принес пожилой человек. Особенно молодые. Они этого просто не замечают. Как воздух, без которого жить невозможно, а лишишься его, и сразу все поймешь.

«Да, Андрей Иванович, — подумала Клавдия. — Мне так недостает моих родителей. Их глаза и совета. Пока они были, я будто закрыта была от холода и неуют. А не стало их — пожаловаться, хотя бы мысленно, и то некому, поплакать иногда, попросить защиты от обид,

которые часто сама придумашь... Вот я уже минула этот второй барьер, а что дальше? Говорит, надо сердце нести. Вот и несу, будто камень, который лежит в груди, дергается да иногда от боли стискивается... Только вот сыну мое сердце нужно, моя забота... Может быть, любовь — это и есть забота?.. А Григорий... Заботится ли он обо мне?»

— А вот к четвертому барьеру человек приходит совсем медленно. И не потому, что он старый или бессильный. Тут все, от самого рождения. Тут детство, голодное, оборванное, тут и первая любовь, тут жена, дочка, тут война и смерть налево и направо, и смерть жены и дочери, и контузия, и госпиталь, и, наконец, — победа. Жить надо, работать, восстанавливать город из битого стекла и кирпича; а те, кто рядом, — такие же исковерканные, обескровленные... И надо быть человеком, остаться человеком, иначе — зачем все?.. Пришел, принес свою жизнь, положил на барьер, оставил ее и шагнул дальше. Где уже нет барьера и куда приходят и остаются навсегда.

«Нет, он тут не прав с этим барьером, — подумала Клавдия. — Что ж, если человек раньше умер или убили его на войне, значит он и не дошел до этого барьера?»

— А как же с теми, кто не доходит? Ну, там, на войне погибли.

— К четвертому, Клава, все приходят. Для них может не существовать первых трех. А четвертый всегда будет. И на нем все равно придется оставить то, что ты принес... Только это я для себя так придумал. Моя философия доморощенная, науке я не обучался — другие, может, и не согласятся. А если спросишь, что я несу к этому барьеру, трудно ответить. Но кое-что есть. Хотя бы то, что не был гадом, что жил по совести, что работал много, а больше необходимого не брал, что солдатом был и вместе с такими же, как сам, кашу

из котелка лопал, что друзей не предавал. Да и мало ли еще... Жизнь большая! А вот семью не уберег — моя вина. Воевать нужно было умнее, старательнее, тогда и семья была бы... Мне вот недавно один умник сказал, что, мол, ученых развелось больше, чем надо. Всяких философов, психологов и тому подобных. Дармоедами обозвал.

— Что же вы, Андрей Иванович, новую семью не завели?

— Да как тебе сказать? Пробовал, хотел начать сначала, да не получилось. Не вышло, и весь сказ.

— Ой, сын скоро придет, надо же поесть приготовить. Мы с вами еще поговорим об этом, Андрей Иванович... Вы есть хотите?

— Спасибо, не хочу. Я вообще мало ем. И не понимаю этих обжор, которые уминают за день столько, что мне и за неделю не осилить. Недавно в магазине видел книгу «Три тысячи способов приготовления пищи». Ошалеть можно! Зачем?!

— Надоедает одно и то же, — сказала Клавдия. — И потом, почему не есть вкусно?.. Надо еще придумать хотя бы три-четыре способа разнообразить работу человека.

— Нет, зачем же? Мне моя работа по душе. Люблю водить трамвай. Едешь по городу, народ на остановках стоит, тебя дожидается. Остановился, посадил — и дальше. А сколько интересного за смену случается! Иной жизнь проживет, а того не увидит, что я за один день.

— А мне — как когда. Иногда нравится, а иногда — нет. Особенно в ночную. Быстро устают, а с двух ночи до половины четвертого — хоть караул кричи — спать охота. Я даже хотела перейти на другую работу. Это тяжело — изо дня в день укладывать в тару хлеб.

— Да, вам нелегко. Но ведь надо же кому-то работать и там. Каждое дело требует своих рук.

— Согласна, Андрей Иванович, — зажигая горелку и ставя на нее кастрюльку, сказала Клавдия. — Только все равно тяжело. Особенно в ночную.

— Зато как приятно возвращаться после работы, — улыбнулся Андрей Иванович.

Клавдии не понравилось его добродушие, в котором она не заметила сочувствия, и она сказала:

— Вам хорошо об этом говорить. Вы какой-то слишком правильный. На все можете дать ответ. У вас и жизнь на барьеры поделена. И голос у вас такой, будто говорите, как думаете, а на самом деле тут же готовы попросить прощения, если кто-то с вами не согласится. А вот у меня все иначе. И необъяснимого в жизни для меня больше... По-вашему, надо что-то нести, а где взять это что-то? Или прикажете выдумать?..

— По-моему, как раз вам и не надо выдумывать, — весело сказал Андрей Иванович. — У вас этого больше, чем у других. А что касается работы, то, если хотите, давайте к нам в парк. Два-три месяца поучитесь и станете водить трамвай. Я лично возьму над вами шефство, мне доверят, меня в парке уважают. И подготовлю из вас водителя — первый сорт!

— Не соблазняйте, Андрей Иванович. Все равно не пойду. Я ведь уже двенадцать лет на хлебозаводе, все знакомые, все близкие. А в новом коллективе я не скоро освоюсь, я трудно схожусь с людьми.

— Как хотите, а то подумайте.

В коридоре раздался звонок.

— Мой, наверно, пришел. Откройте ему, пожалуйста, боюсь, молоко убежит.

— Сейчас, сейчас, — заторопился он и пошел по коридору. Открыл дверь.

— Привет, дядя Андрей, — услышала Клавдия голос сына. — Мама дома?

— На кухне она.

Сын пришел на кухню — высокий, светловолосый. Он даже не снял пальто и шапку, а портфель держал под мышкой. Прислонился к стене и, посмотрев на мать, спросил:

— Папа не приходил?

— Нет, сынок.

— Он же в письме написал, что днями зайдет?

Клавдия взглянула на сына. Ей показалось, что нос у него бóльших размеров, чем обычно, и с фиолетовым оттенком.

— Да ведь он письмо тебе прислал. Ты и знать должен. А я тут ни при чем. Если бы я писала такое письмо, я бы точно указала день, в который собиралась навестить своего сына.

— Ну и мать у меня — никогда ничего не знает.

— А что это у тебя с носом?

— Так, ерунда. На уроке физкультуры бокс показывали. Никогда бы не подумал, что я такой трус. Пока боксировали другие, мы визжали от восторга. Мне казалось, пара пустяков — махать перчатками. А как дошла очередь до меня, встал как вкопанный и с места сдвинуться не могу. Партнер скачет вокруг меня, а я защищаюсь кое-как, а ударить не могу. Понимаешь, страшно... Ладно, я потом тебе расскажу, пойду разденусь.

Клавдия не остановила сына. Видела, что он взволнован, решила подождать.

Сняла с плиты кастрюльку с закипевшим молоком, подула на него, помешала длинной ложкой и поставила на подоконник остывать. Посмотрела в окно. Во дворе, стоя по колено в снегу, боролись мальчишки. Один высокий, здоровый, а другой — маленький, худенький, в серой ушанке, надетой задом наперед. Они долго стояли обнявшись, а потом вдруг маленький присел, пой-

мал за ногу товарища, приподнял его и уронил спиной на снег.

«Ловкий мальчуган! — подумала Клавдия и улыбнулась. — Теперь большому будет стыдно, и он не захочет мерить силу».

Но большой поднялся, отряхнул снег и снова подошел к маленькому. А через несколько секунд снова лежал на спине. Встал, отряхнул снег, они о чем-то переговорили, а потом большой снова оказался на спине.

Наблюдая за ними, Клавдия думала о том, что ничего не понимает в отношениях мальчишек. «Ведь вот девочка обиделась бы, отошла и не стала бы стараться, чтобы выиграть. А этот...»

Она посмотрела, как, отборовшись, мальчишки обнялись и поплелись по снегу со двора. Забрала молоко и пошла в комнату.

Сын сидел на стуле перед зеркалом и держал на носу металлический рубль.

— Может, компресс сделать?

— Не надо, и так сойдет.

Клавдия попросила его пересесть и начала убирать кровать. Вспомнила Григория, — он придет через неделю, как только вернется из рейса. «Это хорошо, что он уехал. Я хоть что-нибудь поделаю: постираю, в квартире уберу. А там — пусть возвращается, я жду его».

— Мама, а мой отец боксом когда-нибудь занимался?

— Не знаю. Он об этом не говорил.

— Но все-таки он храбрый или трус?

— Конечно, храбрый. Все мужчины храбрые.

— Ничего подобного. Сегодня я убедился, что я трус. И совсем не боюсь, когда меня бьют, а сам ударить не могу... Боюсь... Преподаватель физкультуры сказал, что это плохо. Он сказал, что в себе надо

воспитать качества бойца. Он, конечно, прав, мало ли где это может пригодиться. Но как это воспитать в себе, я не знаю.

— А я знаю, — сказала Клавдия и в упор посмотрела на сына. — Это очень просто: нужно не обращать внимания на поражения. Тебя побороли, а ты снова вставай и борись. Снова побороли, а ты снова вставай. Пока не научишься побеждать сам. Кто часто проигрывает, тот когда-нибудь станет побеждать.

— Женщина! — махнул сын рукой. — Что вы понимаете в этом?

— Я, может, и немного понимаю, но зато могу сказать, кто из мужчин мне понравится. Прежде всего, это должен быть волевой человек. Не обязательно, чтобы он обладал большой физической силой. Но он должен быть мужественным и стойким. И если его где-то побороли, чтобы не разнюнился, а встал и снова пошел бороться.

Сын отнял рубль от носа, посмотрел на мать, захохотал и покачал головой.

— Ай да мать... А в этом что-то есть. В следующий раз я так и поступлю. Преподаватель сказал, что на будущем уроке я с ним поработаю... Как ты думаешь, он со мной по-джентльменски обойдется?

— Конечно! На то он и преподаватель.

Пора было собираться на работу. Она принесла еду, отогнула скатерть, поставила на стол тарелку с вермишелью и сосисками и сказала:

— Хватит любоваться собой. Иди вымой руки, а потом поешь. Налей молока, насыпь сахару и выпей. И никуда не ходи такой красивый, полежи, почитай, а до моего прихода ляг спать. Не жди меня.

— Да, мама, хорошо. И в комнате пол вымою.

— Не надо, сынок. Завтра я выходная и сама сделаю.

В половине четвертого начиналась вторая смена. Клавдия работала в цехе, где вертелись огромные барабаны. На них сверху, от печей, падали батоны и черный хлеб. Работа Клавдии состояла в том, чтобы весь хлеб, который попадал на барабан, уложить в тару, в длинные деревянные ящики, приходившие по транспортеру со двора из хлебных фургонов.

Работа была несложной, но такой изнурительной, что к концу смены у нее начинали слезиться глаза, а ноги отнимались от усталости. Прилипшие ко лбу от жары волосы раздражали, их было некогда убрать под шапочку. Потому что хлеб валил сверху, как из рога изобилия, и его надо было успевать накладывать в тару.

Горячий душистый хлеб!.. Раз — две буханки черного, два — пять буханок черного, раз-два, раз-два, сто буханок черного, двести, тысяча... И так всю смену, от звонка до звонка. Крутится барабан, падает хлеб! Не мешкай, Клавдия, поспевай! А прямо перед ней — часы. Огромные, электрические, с прыгающей стрелкой. Раз — стрелка влево, два — стрелка влево... Перевалила 12 и пошла вправо... И так всю смену, от звонка до звонка.

Много хлеба! Целый водопад, и все хлеб, хлеб! Горячий, душистый; его повезут в магазины, а утром придет народ и станет покупать... Вот если бы такой покупали — прямо от барабана!

«Это хорошо, что много хлеба, — думает Клавдия. — Вот он, в ящиках на ленте, а транспортеры, как реки, плывут себе и плывут, лишь повизгивают, да постукивают какие-то шестеренки...» А были на ее памяти годы, что хлеба выпекали совсем мало.

То ли дело, когда хлеба столько, как сегодня! Ух, духота! От хлеба, как от жаровен, на щеках румянец величиной в ладонь, — поторапливайся, Клава... Тары нет, что они там думают? Где тара?

Она отскочила от барабана, подняла брезент, закрывающий окно транспортера, кричит:

— Эй, босяки! Что тару не шлете? По карманам прикажете хлеб фасовать? А ну шевелись, толстозадые!

— Давай, давай! — кричат ей шоферы. — Замаяла насмерть, не успеваем отъезжать...

Идет река тары, а обратно по другому транспортеру — полные ящики батонов — белых, поджаристых, будто и не батоны вовсе, а чистый янтарь!

Но вот звенит звонок, приходит смена, и Клавдия вместе с другими работницами уходит из цеха. Поднимаются по лестнице, шутят, переговариваются, входят в раздевалку. А оттуда — в душ, сильные, чистые, красивые, как сдобные булки, женщины-работницы.

Клавдия любит эти минуты. Любит своих подруг, с которыми связана одним делом, любит смотреть на них, обнаженных, нет-нет да и сравнит чью-нибудь фигуру со своей. У тех, кто постарше, тяжелее грудь, живот, бедра, а у молоденьких... Эх, что с ними равняться, когда-то и сама была такой. Да ведь время не ждет, меняет время людей.

Она стоит под холодными царапающими струями, пока тело не становится упругим и сильным. Так проходит усталость. Смотрит на подруг и радуется: «Мы глава жизни, мы самые важные и нужные, мы женщины, и этим все сказано...»

Сегодня она стояла под душем дольше обычного. Подруги давно оделись и ушли, а она думала о сыне, об отце сына, который жил теперь в другом городе и в другой семье. Она не обвиняла его, что ушел, что бросил и ее, и сына, — бог с ним. Но она знала, что и там ему не сладко. Только раз видела она женщину, к которой ушел муж, и поняла, что у той он будет ходить, как по струночке. Сильная, властная, лет на пять

старше его, она только бровь подбросит, как он те-
ряется и не знает, куда бежать и что делать.

«Правильно, молодец женщина, так с ним и надо,
раз он по природе своей холуй. Я-то этого не знала
и относилась к нему как к мужчине. А ему, оказывается,
не такая нужна... Ну и живите на здоровье, лишь бы
мир среди вас да благополучие...»

Месяцев через пять после того, как он ушел, захо-
тел назад. Пришел однажды вечером, зеленый, глаза
блестят — выпил для храбрости, вина принес, конфет.
Посидели. Он выпил, а она не стала. Сына тогда не
было, в больнице с воспалением легких лежал, а он
все интересуется, как, мол, здоровье, да что врачи гово-
рят? А Клавдия смотрит на него — родной вроде, муж
все-таки, отец ее ребенка, а будто грязный, будто за-
пах от него недобрый.

— Зачем пожаловали, Николай Павлович? — спра-
сила она.

— Да как тебе сказать... С повинной пришел. Про-
стишь — останусь, а нет — сам виноват. С себя и спрос.

Простила. Оставила. В ванне до скрипа кожи выку-
пала. Начали жить вместе. Сын из больницы пришел,
веселее стало. Думала: может, наладится, может, это
даже хорошо, что так получилось, — в будущем все
крепче станет. И радовалась, что сумела подняться над
обидой, а значит, и над собой.

Не угадала. Снова собрался в дорогу. Да на про-
щание такие слова сказал — до сих пор при воспомина-
нии сердце останавливается: «А ведь в молодости я не
о такой семейке мечтал. Думал, хоть сын умным будет,
а он такой же, как ты. И откуда? Среди моих родных
такого и не было...»

Оделась, вышла на улицу. Поздно. Падает снег. Те-
перь при свете он кажется золотистым. И еще он ка-
жется теплым после работы. Пахнет хлебом этот

золотистый медленный снег, и его приятно ловить на вытянутую ладонь.

Так она идет к дому после работы. Этот путь тоже занимает в ее жизни какое-то место — хорошо думается, легко, спокойно. «Прав Андрей Иванович, радостно возвращаться домой».

Завтра у нее выходной, а послезавтра — в ночную. Целых два дня дома. Можно порядок навести, на кухне убрать, коридор вымыть, постирать, еды наготовить, телевизор посмотреть.

Клавдия открыла дверь, вошла в комнату. Сын спит на оттоманке у окна. Пол вымыт, комната убрана.

Клавдия разделась, поправила на сыне одеяло, поцеловала в руку и легла в постель.

Где-то далеко от ее дома, от ее города ведет большую машину Григорий. Он шофер междугородных линий. Она видит его спокойное, сосредоточенное лицо, его большие сильные руки; она любит и это лицо и эти руки, и желает ему счастливой безаварийной дороги. С тем и засыпает.

Утром Клавдия накормила сына, проводила его к троллейбусу и зашла в магазин. Постояла в бакалейном отделе и купила бутылку хорошего вина. Пришла домой, поставила вариться борщ, нажарила котлет и принялась за стирку. Вынесла белье на чердак, повесила, вернулась и убрала в квартире. Делала она работу легко, с удовольствием — любила смотреть, как на глазах квартира становилась наряднее и чище.

Тут и сын вернулся. Пошел было к вешалке снимать пальто, остановился и пристально посмотрел на нее. Клавдия покачала головой и опустила глаза.

— Когда же он придет?

— Не знаю, сынок. Я с ним свиданья не жду... Как твои дела с учебой?

— Нормально. Стихи вот задали писать. Каждому надо написать по стихотворению. Это наш преподаватель эстетики. Сказал, надо написать о зиме. А потом устроим конкурс — чье лучше.

Он разделся и вошел в комнату. Сел на стул и потянулся к этажерке за книгой. Клавдия заметила, что нос у сына стал меньше, опухоль сошла, но зато под глазами сгустились голубые пятна.

— Я тоже напишу стихотворение. Про бельчонка. Помнишь, у нас был маленький бельчонок? Его папа из леса привез. Мы его поили молоком, а он сначала отказывался пить...

В коридоре позвонили. Сын пошел, открыл дверь и крикнул:

— Мама, к тебе!

— Кто там? Пусть сюда проходит.

В комнату вошла ее подруга по работе, только из другой смены. Запыхавшаяся, розовощекая, в сбившемся на воротник платке.

— Здравствуй, Клавочка! Выручай меня, милая. Я уже к тебе к третьей захожу... Если и ты не выручишь, прямо и не знаю, что тогда делать.

— Сколько тебе? — спросила Клавдия, подумав, что женщина пришла просить в долг.

— Да не за этим я к тебе. Этого добра у меня самой хватает... Подмени сегодня на работе, выйди за меня. Ей-богу, позарез надо. Ты же знаешь, тридцать в прошлом году стукнуло, а все в девках я... А тут с мужчиной познакомилась, ты видела его, помнишь, я на Октябрьские у нас на заводском вечере была? Русский такой, высокий...

— В коричневом костюме в полоску...

— Да, он самый! И вот телеграмму прислал из Гомеля — он там живет... приезжай, мол, посмотришь, если понравится, может, останешься... в общем, приезжай, поговорить надо... Вот, почитай телеграмму, тут все и написано.

Клавдия хотела отказаться, но любопытство взяло верх, она взглянула в телеграмму, потом на подругу.

— Подмени, Клавочка, я к тебе уже к третьей. Одна не может — свекровь приехала, другая — мебель покупает, ты одна и осталась. Я за тебя потом отработаю. Как только нужно будет, так и подменю.

— Знаем мы это... Махнешь в Гомель, понравится, а там — свисти не досвистишься, — сказала Клавдия. — Мужчина-то он, видать, серьезный. Но это по виду...

— Что ты! Он и внутри такой. Понимаешь, самостоятельный, без родителей, в детдоме вырос. А сейчас мастером на заводе работает. Клавочка, миленькая, хочу за него! Неужто не выручишь?.. Можно, конечно, потерпеть, дожждаться выходного, взять пару дней отгула, но уж больно не терпится. Все кажется: вдруг за это время что-нибудь сглазится...

Клавдия посмотрела на женщину, засмеялась, протянула ей телеграмму и сказала:

— Сглазится, говоришь? И такое бывает... Ладно. Только без дураков. И не капризничай, характер у тебя не масло. Не забудь себя вот в эту минуту, а как подойдет блажь в семейной жизни, станешь ворчать на мужа, так и припомни, как хотела за него и как у меня, стоя на коленях, клянчила. Поезжай... Есть хочешь?

— Ой, спасибо тебе, родненькая! Побегала я. У меня уже и билет взят. Я бы даже и так махнула, если б никто не подменил. Но теперь с легким сердцем, свободная... Дай я тебя поцелую.

Она чмокнула Клавдию в щеку, а заодно и ее сына и помчалась к выходу.

После обеда сын достал бумагу и сел писать стихотворение. А Клавдия собралась на работу. Уже в пальто подошла к нему и прочитала на листке строчку будущего стихотворения: «Принес бельчонка я утром из леса»...

Она, чтобы не мешать, тихонечко вышла из комнаты и закрыла дверь.

Иногда Клавдия замечала на улице такое, что в другой раз не бросалось в глаза. Она шла по улице в коричневом зимнем пальто, в меховой шапке и высоких черных сапожках. А впереди осторожно ступал тучный пожилой мужчина. Он держал под руку маленькую старушку, и, когда правая нога мужчины оставалась чуть сзади, Клавдия видела, что на пятке проносился носок и в круглую дырочку видна белая кожа.

Вот Клавдию обогнала высокая девушка, и у нее из-под пальто выглядывает бахрома теплого пушистого платка. Бахрома дрожит и прыгает, прикасается к ногам девушки над сапогами.

«Я бы это почувствовала», — подумала Клавдия.

Вот прямо на нее идет совсем еще молодая женщина. На правой половине ее лица — огромное красное пятно. Клавдия знает, что это с рождения, и знает, что женщине больно замечать пристальные взгляды прохожих, а потому проходит мимо, стараясь не смотреть на женщину.

А там, за площадью, ее остановил Григорий. Она возвращалась из театра, а он догнал ее и попросил разрешения проводить. Клавдия разрешила. Шли, разговаривали.

Оказалось, что он видел ее в театре, а после спектакля пошел за ней. Рассказал, что работает шофером, часто уезжает в рейс, не женат, хотя был грех. Разведен, любит книги и театр... «В общем, живу, как миллион других...»

Узнав, что она выпекает хлеб, рассмеялся и сказал, что тоже когда-то развозил хлеб по магазинам. Давно, когда только получил права. А потом стало тесно в городе, захотелось работы поважнее. Так и стал шофером дальних перевозок.

Шла она тогда, и так спокойно ей стало с этим совершенно незнакомым человеком, так радостно, будто в одно мгновение к ней, как к Золушке, пришло все, о чем она мечтала. Даже говорить ничего не могла, а только слушала этого большого мужчину и, как девочка, краснела и отвечала: «Да...», «Нет...».

Клавдия пришла на место, где они встретились, приостановилась и двинулась дальше. Она ждет Григория, и его большая машина уже повернулась к ее городу.

Вошла в цех.

— Ой, Клавка, да ты что? Никак смену перепутала? — удивилась пожилая работница.

— Нет, Валю Красницкую подменила. Отлучиться ей надо по личным делам.

— Никак в Гомель махнула?

— Куда ж еще? Может, если повезет, замуж наконец выйдет.

— Пусть идет. Девка она хорошая, — сказала пожилая работница и пошла к своему барабану.

Клавдия надевает рукавицы, подвигает тележку, быстрыми движениями снимает хлеб с барабана и тщательно укладывает в тару.

Раз — две буханки черного, два — шесть буханок черного... Раз-два, раз-два — сто буханок черного, двести, тысяча...

Замечает, что за соседним барабаном молоденькая работница роняет чуть ли не каждую третью буханку на пол. Быстро подходит к ней и говорит:

— Аккуратней, милочка. Его люди есть будут, а ты все на пол да на пол. Кроме того, поднимать умеешь-

ся... Стань сюда, ближе... Да что ты, как деревянная... Бери вот так: Раз! Раз!.. А ну-ка... Ой, модница-сковородница, а ну, выброси эти перчатки. Они тебе малы. Вон у тебя ручища, что у кузнеца... Возьми большие. На, вот...

Девушка меняет рукавицы, и все теперь у нее получается. Клавдия бежит к своему барабану, а тот уже переполнен — за полчаса не разобрать...

И снова она идет с работы. Сегодня не одна, а вместе с подругами. Они разговаривают, собираются 8 Марта отметить в складчину, ее приглашают. Она отказывается. И думает:

«Пойти одной или с Григорием? Конечно, с ним было бы лучше, но неудобно, не муж ведь... Вот Валя поехала... А Григорий молчит. И сын уже начинает к нему привыкать. Хороший мужчина, я бы пошла за него... Любит, говорит, а замуж не предлагает. Может, вернется и предложит? А если нет, сама скажу: «Бери меня, я так не могу. Мне заботиться о тебе надо и сильной быть. А такие отношения только унижают меня, делают виноватой. И непрочно все это, беспокойно. Пусть думает...»

— Мама, я написал стихотворение! Ты прочти. Вот здесь. Никогда бы не подумал, что стихи писать — такой труд. У меня даже брови вспотели. Я за верстаком никогда так не потел, как здесь. Видишь, сколько бумаги перепортил?!

— Очень плохо, что ты еще не спишь. А ну-ка, раздевайся и в постель. Тоже мне, поэт!

Клавдия взяла листок. На нем размашистым почерком, некрасивым и кривым, было написано:

На маленькой, на маленькой планете
По имени, по имени Земля,

Самая красивая на свете
В лесу живет Снегурочка моя.
Глаза ее — две льдинки синеватых —
Хранят в себе людскую доброту,
Живет она в лесных холодных хатах,
И я ее никак все не найду.
Но я ищу в кустарнике продрогшем,
Где на ветвях — лишь лед, не серебро,
Ее одно зовущее окошко,
Ее одно безмолвное окно.
И знаю, что Снегурочкино имя
Еще не раз я молча повторю,
Я не боюсь, что лес меня не примет.
А потому тихонько говорю:
«На маленькой, на маленькой планете
По имени, по имени Земля
Самая красивая на свете
Ты жди меня, Снегурочка моя».

Сын, лежа на оттоманке, улыбался, а Клавдия с какой-то тревогой посмотрела на него. Присела на край-шек стула, положила листок на колени и тихо сказала:

— Сынок, я ведь ничего не поняла... Разве это ты написал?

— Конечно!

— Ты же собирался... Я помню, ты хотел про бельчонка?

— Про бельчонка не получилось, а вышло это. Пробовал, пробовал, видишь, сколько бумаги перемазал, а потом и не заметил, как написал.

Клавдия еще раз внимательно прочла стихотворение и осторожно положила листок на стол. Она мало разбиралась в стихах, а те, что попадались иногда в газетах, были совсем не такими, какое написал ее сын. Может быть, поэтому она и решила, что у сына стихотворение не получилось. И было в этих коротеньких строчках что-то такое, против чего она воспротивилась, восстала и что заставило сильнее сжаться ее сердце. Но не могла же она в эту минуту сказать сыну о своей

тревоге—она ведь и сама не понимала, что встревожило ее.

— Спасибо, — сказала она. — По-моему, ты молодец, и вот сочинил первое стихотворение. Ведь это хорошо, правда? И Снегурочка твоя, как живая...

Она пересела к сыну на оттоманку, рассыпала его густые волосы и тихо сказала:

— Только в училище не показывай, ладно?

— Почему? — спросил он и нахмурился.

— Зачем тебе слава? Скажи, пробовал и не получилось. Пусть другие мальчишки несут, а тебе не нужно... Скажи, а... кто эта Снегурочка? Про кого ты написал?

— Да ни про кого. Сочинил я все это, ну как ты не можешь понять? Взял и придумал. Я тебе еще знаешь сколько напишу!

— Конечно, конечно, — прошептала она. — А иначе, ты сказал бы мне об этой девочке...

Она погасила свет, разделась, легла на спину и стала следить за машиной Григория, которая с большим светом преодолевала по дороге огромное темное пространство...

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ СНИМОК

У меня на столе под стеклом лежит любительский снимок. Полузаснеженная тундра на краю высокого обрыва. На бетонной плите — глыба серого гранита. В гранит врезана полированная латунная доска с четкой надписью: «Тессем, норвежский моряк, член экспедиции моторного судна «Мод». Погиб в 1920 г.». Ниже — та же надпись по-норвежски. У подножия памятника — старый корабельный якорь. Под обрывом — закованное в лед море. Далеко на горизонте — силуэт атомного ледокола.

Словами можно добавить то, что не удалось передать снимку. Полузаснеженной тундра была только здесь, над обрывом, где яростные ветры вычесывали снег из пожухлого мха. Горизонт угадывался только по ледоколу. Низкое снеговое небо было торжественным и печальным, как реквием.

Почти хрестоматийный снимок. Могила человека, павшего в неравной схватке с Арктикой, и могучий ледокол как символ человеческой победы в этой извечной борьбе. Ничего нового. Даже подвиг самого Тессема описан в любой книге по истории Севера. Описания эти невелики по объему. Осенью 1919 года экспедиция

Руала Амундсена на моторной шхуне «Мод» остановилась на зимовку в одной из пустынных бухт северного Таймыра. К этому времени экспедиция собрала богатый материал по Арктике. А зимовка была уже не первой и могла стать последней — Амундсен знал это. Ценные для науки данные мертвым грузом лежали в дубовых ящиках его письменного стола и не могли служить людям. Тогда Амундсен решил отобрать самое ценное и отправить на материк с кем-нибудь из своих людей.

Добровольцами вызвались двое: Тессем и Кнутсен. Им предстоял нелегкий, смертельно опасный путь до Диксона. Сотни километров зимней таймырской тундры, морозы, пурга, бесконечно длинные ночи и мертвая, спящая белизна снегов. Но это были норвежские моряки, дети суровой страны, к тому же они хорошо понимали, что служат не начальнику экспедиции, а науке, всему человечеству.

Смельчаков снабдили всем необходимым. Наступила весна. Экспедиция двинулась дальше, а эти двое остались на берегу, чтобы осенью по первому снегу отправиться в свой нелегкий путь. Живыми их больше никто не видел.

Искали их долго и безуспешно. Лишь через три года в бухте Глубокой неподалеку от устья Пясины геологи случайно наткнулись на останки Кнутсена. Это была куча обгорелых костей: Тессем сжег труп товарища, чтобы его не обглодали голодные песцы.

Останки самого Тессема нашел Бегичев. Он возвращался на Диксон с охоты, ехал на лодке вдоль берега и вдруг увидел, под обрывом у самой воды человеческий скелет. Как раз вот под этим обрывом, на краю которого теперь стоит памятник. Буквально в полудне неторопливой ходьбы от островной радиостанции.

Вот и вся история, в которой живые герои занимают гораздо меньше места, чем поиски их останков. Все

остальное — чистые страницы, отданные воображению потомков. Можно представить, как умирал Кнутсен. Он умирал на руках друга, сознавая, что тот пойдет дальше и понесет людям весть о его гибели. Разве это мало для умирающего? А что испытывал сам Тессем, шагая по снегу в полном одиночестве? Замечал ли он, как сокращаются с каждым днем его переходы? Может, в нем проснулся дух его прадедов, и он шагал, сжав зубы и не отворачивая лица от хлесткого встречного ветра? Или он брел просто по привычке, волоча ноги и ссутулившись, с тупым безразличием усталого человека? И какие мысли, какие видения тлели в его остывающем мозгу в последние минуты жизни, когда, скатившись с высокого обрыва, он лежал, обессиленный, в глубоком снегу и смотрел сквозь ночную мглу на близкий огонек человеческого жилья? И видел ли он этот огонек?..

Этот снимок — память о моем первом посещении Диксона.

— Подумаешь, — пренебрежительно хмыкнул один из моих знакомых, увидев фотографию. — Так можно открытку с Эйфелевой башней сунуть под стекло, а потом хвастать, будто в Париже побывал. Вот если бы ты сам рядом с памятником стоял...

Что я мог ему возразить?

Глубокой осенью мы вдвоем, два молодых енисейских лоцмана, Герман Топорков и я, выводили из Игарки в море последнее судно с лесом. Это была обычная осенняя проводка. Обычная и очень трудная. Могучий лесовоз шел по реке, взламывая форштевнем толстый лед. Глубоко под палубой ходового мостика усердно ухали поршни гигантского дизеля. Когда судно попадало в полосу торосов, поршни начинали колотиться учащенно, будто сердце напрягшегося атлета, и нам,

стоявшим на мостике, невольно передавалось это ощущение, будто каждый из нас сам упирался грудью в препятствие.

А за толстыми стеклами рулевой рубки распущенно бушевала пурга, густая взвесь снежинок суматошно и потерянно роилась в скромном свете ходовых огней. Казалось, будто какой-то исполин, не ведая наших усилий, помешивает чайной ложкой земную атмосферу.

Мы вели судно по приборам. Когда, забывшись на час беспокойным, раздерганным сном, я покидал невероятный уют корабельного нутра и поднимался на темный мостик, я сразу попадал в тесное окружение тускло светящихся шкал, счетчиков и указателей. И эта темнота, и грохот льда под бортами судна, и дикое упорство непогоды, истерично бьющейся в лобовые стекла, и сознание того, что сейчас ты примешь на себя всю ответственность за судьбу этих десяти тысяч тонн, вламывающихся в стылое пространство со скоростью курьерского поезда, — все это в первую минуту оглушало, насыщало душу противной смесью тревоги, тоски и неуверенности. Потом глаза привыкали к темноте, начинали различать силуэты людей и контуры приборов. Вот рулевой напряженно застыл у штурвала, вот штурман, попыхивая сигаретой, склонился над компасом, вот нахохлившийся простуженный капитан, зябко кутаясь в меховое пальто, стоит за спиной у лоцмана, не отрывая глаз от экрана радиолокатора. По экрану бегут зеленые сполохи, высвечивая из темноты напряженно-озабоченный профиль Германа.

— Право руля, — отрывисто бросает Герман рулевому. — Легче. Курс триста семь градусов.

— Есть легче! Есть триста семь градусов!

Четкость и определенность этих слов и действий — как первая горсть цемента, брошенная в отвратительную жижу неуверенности. Я ощупью подхожу к локатору,

становлюсь рядом с капитаном и всматриваюсь через плечо товарища в зыбкий абрис речных берегов, вдоль которых, стотысячекратно спрессованная масштабом, чуть заметно ползет яркая точка — наш лесовоз. Эта кажущаяся медлительность служит второй горстью, и цементный раствор в душе начинает стечь и твердеть. Через пять минут я занимаю место своего товарища и уже сам с привычной уверенностью командуя рулевому:

— Лево помалу! Так держать!

А Герман спускается с мостика в тепло и свет жилых палуб, чтобы, не раздеваясь, а только сняв форменную тужурку и распустив узел галстука, прилечь на диван и устало закрыть глаза. А через час-полтора он снова появится на мостике и в свою очередь первые минуты будет неподвижно стоять в темноте, ошарашенный яркостью полярной ночи...

Так продолжалось целые сутки. В начале вторых лесовоз благополучно обогнул Соп-Каргинский мыс и вышел на простор закованного в лед моря. Короткий мутный день кончился. Стихия будто задалась целью испытать наше лоцманское упорство и умение: едва судно вышло из реки, пурга стала стихать. Несколько шумных обиженных всхлипов, и она совсем успокоилась, устав от собственной ярости. Четко обозначился горизонт, морозное небо остро прокололи звезды.

— Спасибо вам, ребята, — устало сказал капитан, пожимая нам руки. — Теперь отдыхайте до самого Диксона, вы заслужили.

И, как всегда в таких случаях, мы ответили:

— Не за что благодарить, капитан. Это наша работа...

Я проснулся в тишине. Она была плотной и спрессованной, и, лишь оттеняя ее, в самой глубине судна

монотонно и вкрадчиво рокотал дежурный дизель-генератор. Стекла в двух больших прямоугольных иллюминаторах были на две трети заштрихованы морозом, холодный лимонно-голубой свет низкого солнца скупосоичился в каюту. Нетрудно было догадаться, что лесовоз застрял в тяжелых торосах, и теперь не оставалось ничего другого, как ждать на выручку ледеколов.

Герман сидел за столом спиной ко мне, одетый полностью по форме, без малейших скидок на домашность обстановки. Многоцветной ручкой он что-то чертил на листе бумаги, то и дело щелкая переключателем цветов. По его ссутуленной фигуре было заметно, как он поглощен своим делом. Еще бы! На листе обыкновенной бумаги он уже вторую неделю пытался переиграть ход Цусимского сражения.

Морская история была для Германа тем предметом, которые мы называем слабостью, а на деле составляют силу увлеченного человека. Из этого увлечения он не делал секрета, хотя при своей замкнутости первым в разговоры никогда не вступал. На серьезные вопросы он отвечал скупом, но по существу. Когда я, например, спросил у него по поводу все того же Цусимского сражения:

— А что, разве у наших была возможность выиграть бой? — он ответил:

— Дело не в победе, а в страшной несоизмеримости потерь.

И надо было видеть, с каким упорством и скрытым волнением пытался он на своих схемах отвести напрасную гибель от каждого русского корабля.

Всякую же скрытую насмешку Герман легко улавливал по голосу или по лицу собеседника, а тогда ответ ясно читался в молчаливом и тяжелом взгляде его серых, бездонно-выпуклых глаз.

Болезнь вообще накладывала заметный отпечаток на внешность и характер Германа. В нашей лоцманской среде он носил заглазную кличку—Топор. Кличка происходила от фамилии, но это было лишь совпадением. Его внешность, его характер сами напрашивались на сравнение с этим бесхитростным инструментом. Узкоплечий и плоскогрудый, шея длинная и тонкая, загылок оттянут назад, лицо худое, нос и подбородок острые. Настоящий зазубренный топор, особенно в профиль. А в характере—постоянная сдержанность, холодность, способность, где надо, отрубить одним коротким, энергичным взмахом. В этой его особенности я хорошо убедился после случая с судовым доктором.

Произошло это в первые дни нашей совместной работы. Летним утром мы с Германом вели с моря в Игарку «Кисловодск»—огромный и красивый теплоход. Минуя все промежуточные порты, он шел на Енисей прямо из Южной Америки, о чем красноречиво говорили свежие ананасы на обеденном столе в кают-компании.

Вообще-то судовые врачи в моих глазах заслуживают полнейшего уважения. Этот же был безудержно болтлив. Выждав момент, когда капитан отлучится с мостика, доктор высовывал из дверей штурманской рубки длинное лицо с йодистыми пятнами бритвенных порезов, и, воровато оглянувшись по сторонам, втягивал в дверной проем все свое длинное суставчатое тело.

— А вот, лоцман, стояли мы в Ресифи, так там...

— Право руля!—командовал я и, без особой нужды приставив к глазам бинокль, озабоченно вглядывался в речную даль.

Но это не смущало доктора: экзотика дальних стран перла из него торопливо и неудержимо. И беда была не в густоте красок, насыщавших его рассказы, а в том,

что каждый из них доктор вне всяких законов логики завершал одними и теми же словами.

— Какая глушь! — говорил он, кивая в сторону берега. — Каторжанин, кто тут живет...

Уж не знаю, как Герман спасался от докторской словоохотливости: погода была хорошая, и лоцманские вахты мы стояли по одному.

В Игарке мы поставили теплоход на якорь на внешнем рейде, и вскоре из города за нами прибыл лоцманский катер.

— Вот удача! — обрадовался доктор. — Заодно и меня в порт подбросите. Я сейчас, только карантинные бумажки захвачу.

На катере доктору пришлось туго — никак не удавалось перекричать мотор. Зато на длинной деревянной лестнице, ведущей от служебного причала к конторе порта, он отыгрался за все.

— А эта колымага куда, не в город случайно идет? — спросил он, увидев около конторы автобус.

— Город — вот он, — сказал я, обводя рукой ряды деревянных домов, расходившихся от берега вкривь и вкось. — Самый центр.

— Эта помойка — центр? — изумился доктор. — А в газетах расписано... Э! — безнадежно махнул он рукой и ладонью сделал нам игривый пощальный жест: — Чао, парни!

И очень кстати, потому что у Германа впалые щеки уже подернулись пепельным налетом.

Но это не все. Часа через два мы с Германом, уже переодетые в гражданское платье, зашли в ресторан морского клуба и сели за дальний столик в полупустом зале. В ожидании обеда мы коротали время за бутылкой недорогого коньяка и не слишком густым разговором.

— Сплошные удачи! — вдруг услышали мы радостный возглас, и перед нами вырос доктор. Не дожидаясь

приглашения, он энергично зашумел стулом. — Еще бы чуть, и я прошел мимо. Нет, думаю, дай зайду, посмотрю, чем угощает глухая российская провинция. Что, котлеты из эксгумированной свинины? А вот в Джорджтауне, простите за сравнение... О, коньяк! — Он схватил бутылку и поднес этикеткой к самым глазам. — Здесь известны столь благородные напитки?

— Давайте с нами, — предложил я, несколько теорясь в сложной психологической ситуации, и, за неимением третьей рюмки, налил ему половину фужера.

— У-ух! — выдохнул доктор, выпив коньяк одним огромным глотком; лицо его исказила брезгливая гримаса: — Вот и доверься этикеткам. Написано — коньяк, а на вкус и запах — самогон, настоянный на клопах. Не находите? — спросил он Германа.

— Не знаю, — ответил тот с холодной сдержанностью. — Никогда не нюхал.

— Никогда не нюхали коньяк?

— Не нюхал клопов.

Они посмотрели друг другу в глаза, и доктор вдруг заторопился:

— Спасибо за компанию... Проклятые дела... Бумаги...

В душе я подленько зубоскалил над доктором, мстя ему за собственное интеллигентское долготерпение. Но когда нескладная фигура эскулапа прощально мелькнула за стеклянной дверью ресторана, я вдруг подумал: а что, если и меня Герман когда-нибудь вот так же?

И сразу погрузившись, я почти боязливо покосился на приятеля.

С тех пор в присутствии Германа меня никогда не оставляло ощущение какой-то скованности. Рядом с ним я стал казаться себе дробным и суетливым. Дело шло

к тому, что я стал утрачивать самое дорогое — естественность своего поведения.

Вот почему теперь, лежа в каюте застрявшего во льдах судна и глядя в спину Германа, я без особого сожаления думал о том, что навигация осталась позади и вскоре мы расстанемся на всю долгую зиму.

— Спас еще кого-нибудь? — спросил я, стараясь придать голосу оттенок искренней заинтересованности.

— Я сейчас японцами занимаюсь, — ответил Герман, и, откинувшись на спинку стула, с внимательной задумчивостью уставился в иллюминатор, за толстым стеклом которого перед его мысленным взором разворачивалась во всей своей жуткой красоте картина грандиозного морского сражения. — Броненосец и два тяжелых крейсера утопил, а дальше никак. Вот если бы нашим двенадцатидюймовкам увеличить дальность стрельбы хотя бы на полмили...

И он снова склонился над бумагами.

После полудня пришел ледокол. Сделав вокруг нас полный оборот, он освободил лесовоз из ледовых тисков, потом осторожно подкрался к нашему борту и мягко ткнулся в него своим носовым кранцем. Через минуту мы с Германом уже пробирались вслед за старшим помощником капитана по бесчисленным трапам, переходам и коврово-зеркальным коридорам ледокола в отведенные нам каюты. Герман тут же уселся продолжать прерванное сражение, а я торопливо сунул свой чемоданчик под койку и отправился на ходовой мостик.

— Не помешаю, товарищ капитан?

— Что за вопрос, лоцман...

Впервые за долгую навигацию я был на мостике праздным гостем. С непривычки казалось странным, что все происходящее здесь касается меня только как зрителя. Можно было без ревнивой придирчивости наблю-

дать, как вахтенный штурман прокладывает пеленги на путевой карте. Можно было из простого любопытства взглянуть на экран радиолокатора, или, воссружившись двенадцатикратным биноклем, пошарить взглядом среди торосов, в которых, сколько ни ошибайся, вечно мерещатся белые медведи.

Капитан на ледоколе был молодой и общительный. Сунув руки в карманы меховой летчицкой куртки, он неторопливо, по-хозяйски расхаживал из конца в конец мостика, бросая на ходу внимательные взгляды на карту, на приборы, на идущий сзади лесовоз. Пустоты между этими действиями он заполнял разговорами со мной. Как работалось в навигацию? Не случалось ли аварий? Какие флаги чаще всего посещали Игарку?

Быстро и незаметно наступили сумерки. Слева над горизонтом повисла луна, похожая на позеленевшую монету из древних раскопок. Шедший за нами лесовоз включил ходовые огни, а с носа ледокола уперся в лед яркий луч осветительной фары, в котором бесформенными комками то и дело испуганно шаркались полярные совы.

Потом далеко впереди сильным и решительным взмахом полоснул по небу фиолетовый луч мощного дугового прожектора и простерся над невидимым во тьме горизонтом.

— Атомный ледокол свою эскадру осматривает, — сказал капитан. — Сейчас передадим ему лесовоз, а сами к нефтебазе пойдем, горючего тонн пятьдесят подсосем. А там уж и в Мурманск скоро, — мечтательно добавил он. — Приятель-то ваш чего уединился?

— Не любит на мостике без дела торчать.

— В лучших традициях русского флота? — усмехнулся капитан. — С принципами парень...

Впереди по всему горизонту, будто куча углей от догоревшего костра, играла яркая россыпь электриче-

ских огней. По мере нашего приближения к ним их стихийная хаотичность все заметнее распадалась на отдельные сгустки, в которых глаз начинал различать ходовые и стояночные огни транспортных судов, ровный пунктир причальных фонарей и плотные соты многоэтажных домов.

Я с жадной внимательностью всматривался в эти огни. Так уж все складывалось в моей лоцманской биографии, что каждую осень я очень хотел, но никак не мог попасть на Диксон. То я вовсе не попадал в ледовую проводку, то меня снимал с ледокола попутный вертолет, то я с последним судном шел прямо в Мурманск, и тогда Диксон оставался где-то в стороне, едва рисуясь над горизонтом черным бесформием своих скал...

Мысль о близости легендарной арктической столицы будоражила мое воображение, и, поддавшись его игре, я не заметил, как на мостике появился Герман. Заложив руки за спину, он стоял рядом со мной и с хмурой внимательностью смотрел на приближающиеся огни.

— Силен? — кивнул я в сторону ярко высвеченной громады атомохода. Казалось невероятным, что существует сила, способная сдвинуть с места этот стальной рукотворный остров. — Такой бы в цусимские времена, верно? Кто-то ведь предлагал отправить русскую эскадру северным путем? Тогда и тебе не пришлось бы ничего спасать от японских снарядов.

— Севером или югом, — грустно улыбнулся Герман, — это ничего бы не изменило. Просто разгром был бы не при Цусиме, а где-нибудь при Беринговом проливе. Это звучало бы еще обиднее...

Тем временем в дальнем конце мостика капитан вел радиоразговор сразу с несколькими станциями. Атомный ледокол сообщал ордер для вновь прибывшего

лесовоза, лесовоз благодарил за помощь во льдах, берег запрашивал диспетчерскую сводку.

— Что? — кричал капитан, таская за собой по мосту длинный шнур от микрофона. Наш ледокол уже миновал концевое судно каравана, впереди по курсу четкими красными вспышками пробивал темноту створ острова Вега. — Как это — до рассвета? Почему? Ах, вон что. Тогда ясно, ясно. Штурман! — крикнул капитан. — Стоп машина, приказано тут стоять.

Когда ледокол остановился, капитан подошел к нам и чуть виновато объяснил:

— Такие дела, товарищи. Ночью собираются перевозить почту из города в аэропорт, просят не ломать лед в бухте. Нам-то, положим, не к спеху, а вот насчет вас диспетчер просил позаботиться. Самолет ваш улетает завтра в десять сорок утра. Места забронированы, билеты в порту, в бухгалтерии. Тут до причала восемнадцать кабельтовых, около трех с половиной километров. Лед, правда, крепкий, без трещин. Будем светить вам прожектором. Двух матросов дам в провожатые. Валенки возьмите, лыжи, ракетницу...

Вопросительный взгляд капитана почему-то остановился на моем лице. Признаться, мне вовсе не хотелось топтать ночью по заснеженному льду сквозь мороз и ветер. Да и насчет трещин моя уверенность куда как уступала капитанской. Но ведь не отказываться же.

— Провожатого хватит и одного, — с деланной бодростью приосанился я. — Было бы кому валенки вернуть...

— А по-моему, — тихо, но твердо сказал Герман, — все это риск, и притом ненужный. Тем более, что никто нас там не ждет на ночь глядя.

— Прекрасно! — обрадовался капитан. — Я ведь что думал? Что у вас на берегу неотложные дела. Опять же по начальству. Тогда пойдемте ужинать. А завтра, будем

подходить к причалу, я матроса пошлю разбудить вас. Не надо? Сами? Я вот тоже, признаться: за навигацию такой автоматизм в мозгу вырабатывается, хоть хронометры сверяй...

Наскоро поужинав, я удалился в свою каюту, лег в постель, натянул одеяло на самые уши и отвернулся лицом к переборке. Нестерпимо хотелось пнуть себя ногой в ребра. Лицемер, выскочка. Лучше бы мне было провалиться сквозь палубу...

Засыпая, я слышал разноголосые протяжные гудки теплоходов. Караван снимался с рейда и, уходя в ночное море, прощался с Диксоном.

Мы вышли из конторы порта. Герман спрятал билеты в нагрудный карман тужурки, застегнул шубу на все пуговицы и глянул на часы.

— Успеем, — сказал он, прикинув что-то в уме. — Вездеход будет через сорок минут, а тут в оба конца полчаса, не больше. Если ты желаешь, конечно. Я-то обязательно...

Речь шла о могиле Тессема. Мы сошли с ледакола, когда небо над вершинами скал едва только заоранжело, а в морозном зените на самом острие земной оси еще дрожал яркий хрусталик Полярной звезды. Прямо с чемоданами в руках мы отправились осматривать город. Жилые дома уже светились желтым многоглазьем своих окон, по узким деревянным мосткам, кутаясь в полы меховых шуб, спешили на работу люди. Дым из печных труб прибивался к земле, обещая в скором времени пургу.

Огромный смысл Диксона без труда уживается с его скромной, даже невзрачной наружностью. Но Герман был искусным гидом. Наскоро перечеркнув своим маршрутом серую одноликость стандартных домов, мы

вышли на плоскую вершину холма, усеянную черными осколками базальта. Даже человек, никогда не выдававший карту здешних мест, попав на эту вершину, сразу и безошибочно потянулся бы взглядом и мыслями точно на север, к океану, к его цепенящей душу безбрежности.

— Хватит, пойдем, — сказал Герман, первым приходя в себя. — Тут, как на краю пропасти...

Собственно, весь город нами был уже осмотрен: небольшой грузовой причал с несколькими кранами, вершина холма над берегом океана, а по пути к конторе порта — вся главная улица. И вопрос, хочу ли я увидеть могилу Тессема, был совершенно излишним, тем более что я давно уже знал историю гибели отважного норвежца.

— Ты прости меня за вчерашнее, — сказал Герман и туго намотал на кулак узкий ремешок фотоаппарата. Мы с ним уже спустились к берегу и теперь шли вдоль кромки обрыва. — Мне вчера действительно не хотелось уходить с ледокола. Все-таки море, хоть и подо льдом.

— Ну что ты, — сказал я, не краснея лишь потому, что лицо у меня и без того уже пылало от встречного морозного ветра. — Очень даже правильно. Это я, наоборот...

Что именно «наоборот», я так и не доказал. Был ли мне смысл признаваться в своих истинных взглядах на этот пеший ночной переход?

Мы подошли к памятнику. У края обрыва на бетонной плите стояла грубо отесанная гранитная глыба с врезанной в нее полированной латунной доской. У подножия глыбы лежал старый корабельный якорь. Мглистое снеговое небо почти сливалось с горизонтом, и только далекий силуэт атомного ледокола помогал глазу нащупать чуть заметную разницу в стенках бе-

лизны. Ледокол провел караван до кромки льдов и теперь, возвратясь, неподвижно дремал, отдыхая от ночных трудов.

Несколько минут мы простояли молча. Потом Герман расстегнул футляр фотоаппарата.

— Хочешь? — спросил он, глазами указывая на памятник.

Еще бы не хотеть! Диксон, край земли, атомный ледокол и знаменитая на весь мир могила, — кому и в кою пору выпадет такое!

Герман отошел на несколько шагов и стал настраивать объектив.

Сунув руки в карманы шубы, я вплотную приблизился к памятнику, стараясь, однако, не заслонить надпись на латунной доске.

Щелкнув затвором, Герман кивнул головой: готово. Я подошел к нему и потянулся рукой к аппарату:

— Теперь ты становись.

— Я не буду, — сказал он, взводя затвор для нового кадра.

— Почему?

— Не хочу, — очень просто ответил он. — Мне только сам памятник. — И он прицелился объективом.

Чудак, терять такую возможность. Ладно, дело хозяйское.

Постояв у памятника еще с минуту, мы отправились назад. Некоторое время шли молча.

— А знаешь, сколько он прошел пешком по снегу? — вдруг спросил Герман.

— Да чуть ли не тысячу километров, — припомнил я.

— А сколько не дошел до радиостанции?

— Совсем немного, — я приостановился и прикинул на глаз расстояние до высоких радиоантенн на острове.

— Меньше двух миль, — подсказал Герман. — Около трех с половиной километров.

Около трех с половиной километров? Пстой-ка, так ведь это как раз столько, сколько предстояло нам пройти ночью от ледокола до берега, решишь мы на это.

Мне вдруг вспомнилось, как вчерашней ночью, стоя на мостике ледокола, защищенный стеклом и сталью от непогоды, я с внутренней неприязнью косился в сторону береговых огней, а капитан говорил о провожатых, о валенках и ракетах.

Еще мне вспомнилось, что десять минут назад я позировал около памятника. Руки в карманах, на лице глупая эрзац-улыбка, локоть панибратски упирается в гранитную глыбу.

— Слушай, Герман, — тихо попросил я. — Когда будешь делать снимки, ты мне тоже отпечатай просто памятник. А тот, что со мной, его куда хочешь. Хорошо?

— Хорошо, — ответил Герман и бросил на меня короткий, но внимательный взгляд.

РЕЛЬСЫ

Конечно, теперь, если случается мне ехать поездом из Дудинки в Норильск, а дорога все тундрой да тундрой, через ржавую болотину, через мхи, через каменные россыпи, гляжу я на эту дичь бескрайнюю, и гордость мне грудь распирает: осилит же человек такое! А еще люблю в тамбуре постоять, покурить, под колеса на рельсы посмотреть. Текут под колесами рельсы — два тонких светлых ручейка. И мысли в голове текут, и тоже назад, за спину. Вспоминается кое-что. Ведь к этим рельсам и я некоторое отношение имею.

Это все теперь, а в тот вечер...

Сами посудите. Четыре дня как привел человек молодую жену к себе в дом, на радостях листки с календаря обрывать позабыл, а тут вдруг является к нему на ночь глядя сам товарищ Бережной. А товарищ Бережной был у нас в Дудинке особым уполномоченным по строительству железной дороги, на воротнике синие энкаведевские петлицы носил. Мне, кажись, и безразлично, какие они там — синие или пегие, да и сам он фамилии своей был под стать: очень бережно с народом обходился. А все ж. Робость не робость, а суетливость какая-то по всему моему телу задержалась:

— Сюда, товарищ Бережной, к печке поближе. Пельмени сейчас горяченькие, чайку. Ты чего стсишь, Анна: заваривай купеческого.

От пельменей и от чая он отказался, а к теплу подсел, полушубок расстегнул, портупеей похрустывает, седые волосы гривой. Ладони к огню протянул, брови нахмурил, одышку скрывает. Анна моя посудой в углу погромыживает, на меня украдкой поглядывает. А я что? Сам в догадках теряюсь. Что я за личность такая, чтоб начальство пожилое в гору из-за меня тащилось аж за самую за угольную эстакаду? Конечно, капитан водолазного катера, единственного на весь порт, — тоже личность. Так ведь и начальство не малое, да еще с одышкой.

Наконец поднимает ко мне свое лицо, а глаза усталые, бессонные:

— Лукову протоку знаешь?

Как не знать. Про нее в то лето по всему Енисею разговоров было. И вот почему. Норильску железная дорога позарез была нужна. Там огромный комбинатиче воздвигали, а грузы с Енисея зимником на оленях да на вездеходах доставляли. Навозись, попробуй, за полтораста километров. Задыхался Норильск без дороги. Строили ее в спешном порядке, сил не жалели, люди по пояс в воде работали. К осени насыпь сделали, первые рельсы уложили. И тут обнаружилось, что запасенных рельсов на всю дорогу не хватит. Может, с доставкой замешкались, а может, просто от общей нехватки так получилось: тридцатые годы, сколько их строилось, дорог-то, по всей России! А тут как раз навигация на исходе, никакой надежды на подвоз. Отчаянное положение выходило. И вдруг кто-то вспомнил, что где-то неподалеку, тут же, на Енисее, кем-то и когда-то был сброшен груз с морских пароходов прямо в воду. Пошел вопрос за вопросом. Кем? Когда? Где? Что за

груз? Начали рыться в старых документах. И что вы думаете? Докладная записка в комитет по строительству Сибирской магистрали. 1905 год, Енисей, Лукова протока. Три немецких парохода везут грузы для этой самой магистрали. На Енисее их должны были встретить речные баржи для перегрузки: морским пароходам осадка не позволяла подниматься до Красноярска. А дело осеннее, ледостав вот-вот начнется. Речники и струхнули, не дождалась пароходов, ушли в верховья. А немцы, видя такое дело, тоже не растерялись. Зашли в Лукову протоку, часть груза, что полегче: цемент в мешках, керосин в бочках — на берег выгрузили, а рельсы давай валить прямо в воду. Свалили, а сами назад, в море.

Рельсы, шесть тысяч тонн, — вот какая штука! И не где-то, а вот они, рядышком, только успевай из воды вытаскивать. Манна с неба.

Но, с другой стороны. Дело давнишнее, старинное. Ну, сбросили, положим. А может, на другой же год и подняли; об этом в бумагах молчок. А если и не подняли, то как дело со смазкой? Может, смазка была слабая, тогда от рельсов одна ржавчина осталась. В общем, радости много, а сомнений и того больше...

Повторил мне все это вкратце товарищ Бережной, пока руки грел у огня.

— Только нам теперь не до сомнений, — говорит. — Дело делать надо. Большая протока-то?

— Большая, — отвечаю. — В длину километров восемь.

— То-то и оно, что восемь, — и еще больше нахмурился. — Значит, иголка в копне. Сам догадываешься: первая задача — точное место разыскать, а уж потом и в воду лезть. Мы тут запрос телеграфный по всей округе рассылали — не помнит ли кто из местных жителей. Неделю ответа ждали, думали — в божий свет, как

в кофеечку. А полчаса назад приходит радист, говорит —
объявился один. Вот, возьми.

Достает из нагрудного кармана листок, протягивает
мне. Разворачиваю, читаю: «Дядькин Терентий Архипо-
вич, мастер-коптильщик Усть-Енисейского рыбкомби-
ната».

— Понятно, — говорю, а сам такое про этого коп-
тильщика думаю, что тому, поди, и за сто километров
икнулось. А тут еще Аннушка моя обо всем догадалась,
дождик в глазах собирается.

— Тогда по-военному: полчаса на сборы, и аллюр
три креста. Я команду твою велел собрать, и горячее
сейчас подвезут.

Встал он, полушубок застегнул, шапку на глаза на-
двинул:

— Что толковое нащупаете — сразу назад, в Усть-
Енисейск, оттуда телеграфом прямо на мое имя. Ну
давай, прощайся со своей красавицей...

Минут через пятнадцать и я вслед за ним подался.
Вышел в сени, открыл наружную дверь, а на дворе
тьма кромешная, ветер, завируха колючая. В сенях
у меня песик жил, беспородный бедолага, кроме ласко-
вости — никаких талантов. Почуял он хозяина, запрыгал
в темноте, ластится, рвкы ищет облизать. И уж как я
тогда его житью позавидовал...

На рассвете, — холодный был рассвет, ветренный,
тучи снеговые цветом в крысиный бок, — обогнули мы
на катере Крестовский мыс и стали подходить к Усть-
Порту. Усть-Енисейский порт по-тогдашнему: оно хоть
и длинней, а привычней.

Картина с воды такая: глинистый обрыв, над обры-
вом холмистая тундра, по тундре небогатая россыпь
тесовых избышек, — все под цвет погоды. Чуть на от-

шибе огромный деревянный барак, снаружи белой известкой выкрашен — рыборазделочный цех. За цехом речка Санчуговка устьем своим парит, над паром воронье ненасытное колготится, рыбные отбросы растаскивает.

Дядькин на причале нас ожидал, торчал там один как перст по случаю раннего часа. Пока подходили, я не очень-то и глядел на него, больше на пейзажи поглядывал да на кунгасы промысловые — они уж на берегу на городках стояли, брюхатыми днищами до самого песка попровисли. Вот так бы и нашему катеру не сегодня-завтра стоять, кабы не этот...

В причальный ряж била сильная волна, бревна обледенели, будто воском облитые. Приоткрыл я переднее стекло, ветер холодный в лицо садит, слезу высекает.

— Ты поосторожней, — говорю Петру, матросу нашему: он всю дорогу в кубрике провалялся, а теперь шел на бак пассажира принимать. — А то сыграет, не дай бог, за борт, нам с тобой хоть в тундру убегай: такого, скажут, человека...

Это я со зла, конечно, тем более, что с Петром у нас не отношения были, а сплошная дипломатия. Злился он, что я ему катер не доверяю водить, считал себя знатоком реки. На мои слова он даже не оглянулся.

Теперь я волей-неволей разглядел этого Дядькина. А Дядькин, прямо сказать, не Дядькин, а скорей уж Дедкин, — лет, чай, за шестьдесят, не меньше. Брезентуха на нем засаленная, короткая, штаны ватные, узкие, сапоги рыбацкие, голенища до подколенок завернуты. Прямо мушкетер какой-то, хоть шпагу подвесь. На голове шапка из серого зайца, от ветра мех в одну сторону полег. Из-под шапки посинелое личико величиной с кулак.

— Бу-бу-бу, ясное море! — кричит и размахивает руками. Слов за ветром не разобрать, кроме ясного моря. Спустился проворно на привальный брус, передал Петру берестяной туес, потом заплечный мешок из оленьей кожи, потом выждал, когда катер волной подняло, и сам бултыхнулся прямо в руки Петру. Встретили, что называется, с распростертыми.

Я катер не успел от ряжа отвести, а уж Дядькин тут как тут, желанным гостем ломится в рубку. Рубка тесная, так он мне без всякого плечом в спину поддает. Петр его сзади сгреб за брезентуху:

— Куда ты со своей торбой? Двигаю в кубрик, дед Как рванется дед:

— Отчепись, молодой! За мной посуду пригнали: где хочу, там и обоснуюсь.

Может, он это и в шутку сказал, только я в те минуты его шуток не понимал. Но сдержался, молчу, веду катер вдоль высокого берега. Решил молчанием с ним бороться.

— Поморозили меня, ясное море, зуб на зуб не сведешь.

Под зазябшим носом развел синегубую улыбку поперек всего лица, и на всю улыбку ровно два зуба — сверху и снизу по одному в разных углах. Весельчак, с таким не зачерстеешь.

— Ишь ты, ясное море, карта...

Вот уже и до карты добрался. Налег животом на конторку, скрючился, носом прямо в бумагу ткнулся. Еще, чего доброго, и каплю уронит. Протянул я руку и вежливоенько подвинул карту к себе поближе.

Тут в рубку Григорий заглянул, водолаз наш. Красивый парень, глаза с поволокой, на плечи ватник небрежно накинут, под ватником неразлучная тельняшка, — он к нам после срочной службы из ЭПРОНа поступил.

— Пойдем, дядя, казенного чайку пошвыркаем.

Тот без лишнего упрямства:

— Чай пить — не дрова рубить. Возьми-ка вот, молодой, — протягивает Григорию свой заплечный мешок и подмигивает украдкой. Ох, думаю, подмигнул бы я тебе сейчас!

Следом и Петр явился, пришел подменить меня. Спускаюсь в кубрик, а навстречу мне запах сивушный. На тарелке посреди стола копченый чир жиром истекает; по кружкам чай дымится. А дед опять уж о чем-то треплется. Увидел меня, осекся, руку под стол запустил, тянет оттуда бутылку:

— С морозцу, старшой, а?

— Спасибо, обойдемся. — Это были мои первые слова к нему. — А тебе, Григорий, через час под воду лезть.

— Так и что?

— Ничего, к слову пришлось...

В воздухе повисла некоторая напряженность. Григорий не то чтоб насчет дисциплины был слаб, но парень с характером, цену себе выше средней загигал. А тут при нужном человеке, да еще после глотка...

— У нас тут про витамины разговор, — дед быстро припрятал бутылку и как ни в чем не бывало: — Молодой вот рассказывает, как им на службе доктор чесночную настойку выдавал, будто она против цинги остерегает. Вот и мне вспомнилось. Тоже насчет доктора. Вашего как звали?

— Волков Сергей Андреич.

— Значит, не тот. Наш Клинге был, Герман Гансович. Немец, барон. Это когда я у Вилькицкого, у Андрея Ипполитовича в экспедиции работал. Лотовым матросом на пароходе «Лейтенант Овцын». Как бы не в том еще веке происходило. Верно, в том. Доктор этот, Клинге, он нам такой прейскурант установил: принесешь ему

стопку битых тараканов, он тебе стопку спирта наливает. Две принесешь — две стопки спирту получай. Он в смысле витаминов ничего не говорил, проще дело было. С одной стороны — чистота, гигиена. А с другой — первейший корм для канареек. У него в каюте три канарейки по клеткам проживало. Уж так пели, так пели! Ты, старшой, зря рыбой не угощаешься. Специально для вас прихватил. Сам-то не могу, так только пососать: Мой харч в туесе.

Зажмурил глаза и добавил мечтательно:

— Вечером, как управимся, я вам такую закуску сворочу, ясное море!

— А уверен, что к вечеру управимся? — спрашивает Григорий.

— Мертвое дело, — отвечает дед. — Ты только под воду проворней ширяй, а больше задержке быть не с чего...

И вот тут — стыдно и противно вспоминать — захотелось мне, чтоб сорвалось все наше дело, чтоб поломалась вот эта его уверенность. А ведь подумать бы дураку в самый раз: кому от этого больше всего неприятностей будет?..

Когда якорь плюхнулся в воду, дед еще раз осмотрелся по сторонам, глянул на остров, на крутой матерый берег, потянул носом, будто принюхивался, и говорит:

— В самую точку вышли. Супонья, молодой, тут они. Да остерегись, а то какая торчком в дно вошла.

Григорий на корме готовился к спуску, Петр помогал ему. натягивать резиновую рубашку поверх толстого шерстяного свитера. Дед топтался около них, приглядывался к водолазному снаряжению. Больше всего ему понравился свитер:

— Эх, доброта! В таком и на снегу переспишь, почки не отморозишь. Сторгуюемся, молодой?

Григорий только хмыкнул в ответ на такую бессмыслицу.

Перед тем как стекло в шлеме завинтить, я напомнил Григорию:

— Найдешь — два звонка подавай. Потом выбери кусок, который поудобней к катеру лежит, вяжи к нему трос, поднять попробуем.

— Запомнил.

— Тогда — пошел.

От всей этой суеты отмякло у меня на душе. Оно и понятно. Катеру за островом стоять, ни ветра, ни волны. И работы остается на какой-нибудь час. И к Усть-Порту успеем дотемна доскочить, телеграфиста на станции застанем...

Глубина была небольшая, на тихой воде по пузырям хорошо было видно, как Григорий по дну передвигается. Вот прошел вдоль борта, вот влево повернул, дугу описывает. Мы с дедом за пузырями следим, а Петр воздушный насос гоняет.

— Чего он там? — не терпится деду. — Ты за веревку подергай, напомни ему.

Что он, в самом деле? Давал бы два звонка, а уж потом бы шел подробности высматривать.

А пузыри все дальше и дальше от катера уходят. Вот уже и шланга не хватает.

— Вон сколько их там, — с гордостью говорит дед. — Это в одну сторону, а сколько их к берегу еще понабросано.

Наконец колокол — дон, дон, дон! Три раза. Спятил наш Григорий от радости: три звонка — это сигнал для подъема. А пузыри уж назад к катеру спешат. У трапа остановились, и опять колокол три удара отмерил. Да так нетерпеливо, будто собаки там ему пятки кусают.

Подхватили мы Григория под руки, выволокли на палубу, прислонили спиной к рубке. Отвинчиваю стекло. Дышит тяжело, в одну точку уставился. Склонились мы над ним, ждем.

Отдышался Григорий, посмотрел на деда и с таким это презрением говорит:

— Да, дядя, насчет битых тараканов ты силен флюгером трепать, а вот насчет рельс...

И языком прицокнул.

— Что такое? — спрашиваю с тревогой.

— Чистейший песок на дне. Дорожки в парках посыпать.

Что, сбилось? Давай, злорадствуй над дедом. Но вместо злорадства меня настоящая оторопь взяла. Как представил себе, какое дело срывается! Через всю тундру насыпь пролегла, сотни людей работают, техника. И все это встанет, замрет на целую зиму от того, что Григорий вот таким скучным из-под воды вылез...

— Вот что, молодой, — говорит вдруг дед, а сам жесткий стал, колючий, как бутылочный осколок. — Раздавайся скорей. Давай сюда свою резину, отвинчивай котел с головы. Сам полезу. Ну, что покойником прикинулся?

— А! — отмахнулся от него Григорий. — Коптильщик...

— Коптильщик? Я вот тебя сейчас без стекла-то шваркну за борт, наглотаешься у меня.

— А может, в стороне поискать? — спрашиваю я с некоторой надеждой.

Дед и на меня с такой же свирепостью:

— Никаких больше сторон! Тут должны быть! Давно я что ль проверял? Колчака только-только прогнали.

Григорий ему с издевкой:

— Если сразу после Колчака, то куда ж им деваться: двадцать лет всего...

— Ладно, — махнул я рукой. — Раздевайся, Григорий. Постоим под берегом, отдохнем, пока Петр обед варит, потом в других местах пошаришь. Вдруг что...

— Ничего в других местах не будет! — упорствует дед. — Тут они!

Я и возражать ему не стал. Пусть чудит. Да и сил не было возражать: тут и ночь бессонная, и усталость от пустого труда — все разом навалилось, пригнуло к земле.

Подогнал я катер вплотную к берегу, ткнул его носом в подмороженную гальку. Петр якорь на берег выволок, закрепил там, потом полез в кубрик насчет обеда соображать. А я прилег в рубке на узеньком диванчике, подогнул ноги, пригрелся и задремал.

Задремал, а уснуть не успел. Вваливается в рубку дед, разгоряченный весь, аж дымится.

— Прикажи ты ему, старшой! Меня он к черту шлет, так ты ему сам. Посмотрит, какой я коптильщик. Прикажи скорей.

— Кому приказать? Что?

Первая мысль была — перехватил старик из своей бутылки.

— Я ж говорю — засыпало! Песком их затянуло. Пусть берет пешню, и пешней сквозь песок!

Я к такой догадке спокойно отнесся: слава богу, был уже урок насчет дедовской уверенности. Песком их за столько лет могло, конечно, затянуть, но сомнительно: шесть тысяч тонн как-никак. Ну, а попробовать можно. Не все ли равно Григорию — с пешней лезть в воду или без пешни.

— Ладно, — говорю. — Пообедаем, тогда уж.

Он даже с укоризной на меня посмотрел: мол, из-за обеда такое дело откладывать.

За обедом дед плеснул себе в рот несколько ложек супа, а потом сидел, затаившись, только взглядом подгоняя нас. У Григория, чувствовалось, никакой уверенности не осталось, никакого энтузиазма. А Петр, тот и вовсе хмурился: не велико удовольствие на сытый желудок насос крутить.

— Ну, смотри, дядя,—говорит Григорий, когда встали из-за стола.—В третий раз сам в воду полезешь.

— А я и в первый раз просился. Чего ж не дал?

— Без костюма полезешь.

В этот раз пузыри далеко не пошли, остановились у самого катера. И тут же из-под воды донесся железный скрежет. Дед победно глянул на меня:

— Есть! Вот тебе и коптильщик.

И вслед за его словами колокол звякнул два раза.

Через минуту Григорий был на палубе. Тяжело дыша, ответил на наши нетерпеливые взгляды:

— Насчет коптильщика беру назад, дядя... Целый Магнитогорск подводный... Только все прахом. Тяните, сами увидите...

Взялись мы за трос, потянули. Тяжело идет, аж катер накренило на один борт. И вот показался из воды конец рельса. Поди догадайся, что это рельс. Скорей на старый топляк похоже: черный, весь в песке, шершавый, толстый. Подтянули к борту, втащили конец на планшир. Стоим, смотрим на него молча, траурно.

— Лучше бы и вовсе не находить,—говорит дед. И с таким это он сокрушением сказал, что мне даже утешить его захотелось, да не умел по молодости лет.

— Поднимай, Петро, якорь,—сказал я твердо.— Пойдем, пока светло.

А сам нагнулся, отвязал трос, взял пашню, с которой Григорий под воду лазил, и в сердцах под-

дел этой пешней конец рельса. Раздался хруст, короста на рельсе разломилась и осыпалась на палубу грязными кусками. А под ней — чистая с голубым отливом сталь...

За переборкой на полных оборотах надсаживался мотор, поэтому разговор у нас шел громкий. В кубрике было жарко, Григорий даже рукава у тельняшки закатал. А дед был в старой, застиранной солдатской гимнастерке. Сидел он спиной к железной печурке, то и дело дергался, оборачивался, помешивал вилкой на шипящей сковородке. Там жарились осетровые печенки, потрескивали, исходили сладковатым чадом. Это и была та самая закуска, которую дед обещал нам, когда закончим дело. Теперь было в самый раз. На радостях я даже разрешил Петру вести катер до самого Усть-Порта.

— Готово. — Дед ловко перебросил сковородку на стол, суетливо разлил водку по стаканам. — Думал, назад придется везти потроха-то осетровые, ан миновало. Крякнем, что ли!..

— Ну, а дальше как? — Григорий подхватил на вилку кусок горячей печенки, ждал, пока остынет. — Поднимаешься ты на лодке..

— Поднимаюсь на лодке встречу течения из Казанцева в Селякино, а по реке уж сало ледяное шло. Гляжу — три парохода в протоке дымят. Гвалт оттуда какой-то, звон. Любопытно, конечно. Бог с ними, с сетями, думаю, — успеется. Подгребаю поближе, вижу — бросают что-то в воду, брызги выше трубы. Дай-ка, думаю, как следует разгляжу. Причалил к острову с речной стороны, продрался через кусты и потихоньку наблюдаю из засады. Длинное что-то швыряют, а что — пойми попробуй. Меня любопытство долго потом душило. По первому снегу специально на собаках сюда приехал, майну во льду продолбил, стал багром щупать.

Гремит багор об железо, цепляется за что-то, а не вытащить, тяжело. А зимой разузнал по слухам, что рельсы это. Рельсы так рельсы. А место на всякий случай заметил, там как раз промоина в обрыве. Авось, думаю, пригодится. Вот и пригодилось, ясное море. Ну, за большое дело, что ли?

Выпили за большое дело.

— А что, дядя, — не отстаёт Григорий. — В первый раз, как вылез я с пустыми руками, сердце-то небось того? Плакали бы твои наградные?

— Какие наградные? — дед даже стакан обратно на стол поставил. Потом догадался, обида на лице проступила. — Наградные-то? — И снова беззубой улыбкой озарился, на шутку перевел: — Как же. Бригадир обещал поденно вывести, это, почитай, чуть не треть от моего дневного заработка. Да славу ещё прибавь. Памятник, глядишь, слепят. Из хлебного мякиша. Вот эдак буду...

Голову вверх задрал, свободную руку согнул кренделем.

— Ты по-серьёзному, что ли? — нахмурился Григорий. — У нас в ЭПРОНе за такое ордена давали. Да за это!..

Потянулся рукой к одежному шкафчику, выволок оттуда свой водолазный свитер и сует его деду:

— Бери. Бери, чего жмешься? Отчитаемся, бери.

Дед ко мне с неммым вопросом. Я-то понимал, конечно, что за эту хмельную щедрость мне в первую голову отвечать. Но не то что отказал, а даже поспешно так говорю:

— Бери, бери, Терентий Архипович.

Боюсь, не от собственной ли совести спешил я откупиться этим свитером...

Расчувствовался дед. Умиляется сидит. То к груди свитер примерит, то рукава во всю ширь размахнет.

А Григорий будто решил вконец dokonать старика. Поднимает стакан, говорит:

— За большого мастера по рельсам.

Дед руками на него замахал:

— Что ты, ясное море! Какой мастер! Я и рельсы-то первый раз в жизни вижу. Ей-бо! Все не верил, что они гладкие, думал — с зубцами. Всю жизнь в этих краях верчусь, дальше Туруханска нигде не был. Скажешь тоже — мастер...

СОДЕРЖАНИЕ

Вадим Круговов. Старший мастер. Повесть	5
Николай Шумаков. Поездка	72
Николай Шумаков. Последний костер	101
Дина Николаева. «Не входите! Опасно!»	114
Анатолий Конгро. ЧП для счастья	145
Анатолий Конгро. Моя машина	160
Алексей Ларионов. Золотые райды	184
Николай Кузьмин. Житейское. Повесть	205
Владимир Насущенко. Незабудки для Томаса	257
Анатолий Мариничев. Шесть вареных картошек	271
Михаил Чулаки. Классическое троеборье. Повесть	279
Елена Кудрявцева. Зойкина тайна	344
Игорь Куберский. После отбоя	356
Игорь Куберский. Дома	365
Иван Сабило. Равновесие	376
Борис Водопьянов. Любительский снимок	400
Борис Водопьянов. Рельсы	417

„ТОЧКА ОПОРЫ“. Рассказы и повести молодых ленинградских прозаиков

Составитель Игорь Иванович Трофимкин

Редактор Б. Г. Д р у я н. Художник С. Е. К а т и н. Художник-редактор
О. И. М а с л а к о в. Технический редактор Г. В. П р е с н о в а. Коррек-
тор И. Е. Б л и н д е р

Сдано в набор 7/IV 1973 г. Подписано к печати 1/X 1973 г. М-16162.
Формат 70×108^{1/32}. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 18,9. Уч.-изд. л. 18,52.
Тираж 65 000 экз. Заказ № 181, Цена 71 коп.

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59, Ордена Трудового Красного
Знамени типография им. Володарского Лениздата, Фонтанка, 57.